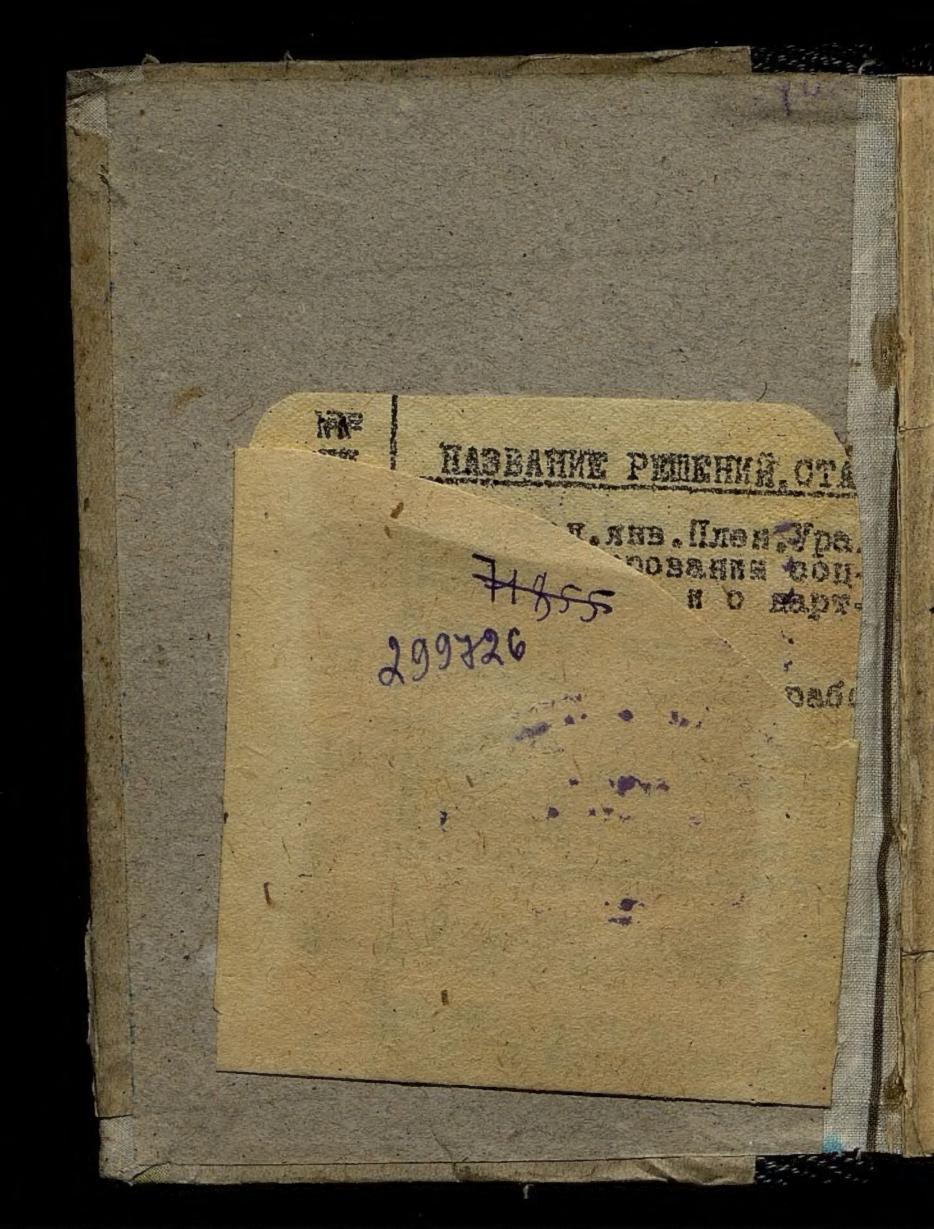
299726 17p. 1955 r. (1) P(002) 5 432 Decision Bg A. C. Tyunking.



299726 В. Г. БЪЛИН ЧАСТЬ ВТОРАЯ издание второе: 891, Z С.-ПЕТЕРБУРГЪ изданіе А. С. Суворина

& (c)p-35 (092)

1-е издан. печат. въ колич. 10,000 экз. (1-10,000) 10,000 » (10,001—20,000) 2-е



Типографія А. С. Суворина. Эртелевъ, 13



Въ гармоніи соперникъ мой Былъ шумъ лъсовъ, иль вихорь буйной, Иль иволги напъвъ живой, Иль ночью моря гулъ глухой, Иль шопотъ ръчки тихоструйной.

Взглядъ на русскую критику.—Понятіе о современной критикъ. — Изслъдованіе павоса поэта, какъ первая задача критики. — Павосъ поэзіи Пушкина вообще.—Разборъ лирическихъ произведеній Пушкина.

Прежде, нежелиприступимъ къразсмотрвнію тъхъ сочиненій Пушкина, которыя запечатлъны его самобытнымъ творчествомъ, почитаемъ нужнымъ изложить наше воззрѣніе на критику вообще. Доселв въ русской литературв существовало два способа критиковать. Первый состояль въ разборъ частныхъ достоинствъ и недостатковъ сочиненія, изъ котораго обыкновенно выписывали лучшія или худшія мъста, восхищались ими, или осуждали ихъ, а на цълое сочинение, на его духъ и идею не обращали никакого вниманія. Съ этимъ способомъ критики русскую литературу познакомили Карамзинъ и Макаровъ; первый-своимъ разборомъ сочиненій Богдановича, второй — сочиненій Дмитріева. Такой способъ критики, очевидно, по-

1

верхностенъ и мелоченъ, даже ложенъ, ибо если критикъ смотрить на частности поэтическаго произведенія безъ отношенія ихъ къ цълому, то необходимо долженъ находить дурнымъ хорошее и хорошимъ дурное, смотря по произволу своего личнаго вкуса. Подобная критика могла существовать только въ эпоху стилистики, когда на сочиненія смотръли исключительно со стороны языка и слога и восхищались удачной фразой, удачнымъ стихомъ, ловкимъ звукоподражаніемъ и т. п. Теперь такая критика была бы очень легка ибо для того, чтобъ отличить хорошіе стихи отъ слабыхъ или обыкновенныхъ, теперь не нужно слишкомъ много вкуса, а довольно навыка и литературной смътливости. Но какъ все въ міръ начинается съ начала, то и такая критика для своего времени была необходима и хороша, и въ то время не всякій могь съ успъхомъ за нее браться, а успъвали въ ней только люди съ умомъ, талантомъ и знаніемъ дъла. Съ Мерзлякова начинается новый періодъ русской критики: онъ уже хлопоталъ не объ отдъльныхъ стихахъ и мъстахъ, но разсматривалъ завязку и изложеніе цълаго сочиненія, говориль о духъ писателя, заключающемся въ общности его твореній. Это было значительнымъ шагомъ впередъ для русской критики, тъмъ болве, что Мерзляковъ критиковалъ съ жаромъ, основательностью и замъчательнымъ красноръчіемъ. Но, несмотря на то, его критика была безплодна, потому что была несвоевременна: онъ критиковалъ на основаніяхъ Батте, Блера, Лагарпа, Эшенбурга, — основаніяхъ, которыя, не болье какъ черезъ пять лътъ и въ самой Россіи сдълались анахронизмомъ. Съ двадцатыхъ годовъ критика русская начала предъявлять претензію на философію и высшіе взгляды. Она уже перестала восхищаться удачными звуко-

подражаніями, красивымъ стихомъ, или ловкимъ выражениемъ, но заговорила о народности, с требованіяхъ въка, о романтизмъ, о творчествъ и тому подобныхъ, дотолъ неслыханныхъ новостяхъ. И это было также важнымъ шагомъ впередъ для русской критики, ибо если она еще и сама темно и сбивчиво понимала свои требованія, повторяемыя ею съ чужого голоса, тъмъ не менъе она произвела ими живую реакцію исевдо-классическому направленію литературы. Сверхъ того она прорвала плотину авторитетства, которая держала литературу въ апатической неподвижности и идеи замъняла именами. Такъ, напримъръ, при всемъ умъ, дарованіяхъ, учености и образованности, которыми обладаль Мерзляковь, онь оть души считалъ Хераскова, Сумарокова и Петрова великими поэтами. Романтическая критика первая осмълилась сказать правду объ этихъ писателяхъ и столкнуть съ пьедестала ихъ глиняные кумиры, которые сейчась же и развалились отъ этого толчка; въдь глина-не мъдь и не мраморъ! Конечно, какъ псевдо-классическая критика Мерзлякова въ своей старческой неподвижности не умъла видъть такой же разницы между истиннымъ поэтомъ Державинымъ и риторомъ-поэтомъ Ломоносовымъ, между огромнымъ поэтомъ Державинымъ и прозаическими стихотворцами Сумароковымъ, Петровымъ и Херасковымъ, между самобытнымъ и даровитымъ Фонвизинымъ и между холоднымъ заимствователемъ чужеземныхъ вдохновеній-Княжнинымъ, между народнымъ и геніальнымъ баснописцемъ Крыловымъ и даровитымъ переводчикомъ и подражателемъ Лафонтена Дмитріевымъ, — такъ же точно и мниморомантическая критика не замъчала, въ запальчивости своего юношескаго одушевленія, неизмъримой разницы между Пушкинымъ и вы-

8562

шедшими по слъдамъ его блестящими и даже вовсе не блестящими талантами и талантиками, и, подобно первой, въ короткое время надълала, вмъсто огромныхъ глиняныхъ кумировъ, множество фарфоровыхъ и фаянсовыхъ статуэтокъ. Но, несмотря на то, она дала просторъ уму и фантазіи, освободивъ ихъ отъ Прокрустова ложа авторитета и стъснительныхъ условленныхъ правилъ. Жизненность романтической критики болъе всего доказывается твмъ, что она продолжалась менве десяти лвтъ и родила изъ себя другую, болъе строгую, хотя и не болве твердую и опредвленную критику. Передъ тридцатыми годами и особенно съ тридцатыхъ годовъ русская критика заговорила другимъ тономъ и другимъ языкомъ. Ея притязанія на философскія воззрѣнія сдѣлались настойчивъе; она начала цитировать, кстати и некстати, не только Жанъ-Поля Рихтера, Шиллера, Канта и Шеллинга, но даже и Платонова, заговорила объ эстетическихъ теоріяхъ и грозно возстала на Пушкина и его школу. Даже собственно-романтическая критика, та самая, которая несколько леть сряду провозглашала Пушкина «съвернымъ Байрономъ» (какъ-будто бы англійскій Байронъ родился на югъ, а не на съверъ Европы) и «представителемъ современнаго человъчества», даже и она отложилась отъ Пушкина и объявила его чуждымъ «высшихъ взглядовъ и отставшимъ отъ въка»... Несмотря на смъшную сторону этого факта, въ немъ нельзя не признать большого шага впередъ и нельзя не одобрить этой строгости и требовательности. Смъшная же сторона состоить въ неопредъленности и шаткости требованій, которыя эта критика предъявляла съ такой суровостью и профессорской важностью. Тогда ожидали отъ поэта не того, для чего быль онъ призванъ своей природой и требова-

R

Ъ

[-

И

a

B

Ъ

a

Ъ

10

a

И

ніями времени, а подтвержденія и оправданія теоріи, которую составиль себъ господинь-критикъ, -- и если творенія поэта не улеглись плотно на Прокрустовомъ ложъ теоріи критика, критикъ или вытягивалъ ихъ за ноги, или обрубалъ имъ ноги (даже и голову-смотря по обстоятельствамъ), или, наконецъ, объявлялъ, что поэть ничтожень, маль, чуждь высшихъ взглядовъ и отсталъ отъ въка. Такъ одинъ «ученый» критикъ тридцатыхъ годовъ, сравнивая Пушкина съ Байрономъ, нашелъ, что герои поэмъ Пушкина относятся къ героямъ поэмъ Байрона, какъ мелкіе бъсенята къ сатанъ, и что, ergo, Пушкинъ никуда не годится. Этому ученому критику и въ голову не входило, что Пушкинъ такъ же точно не былъ обязанъ быть Байрономъ, какъ Байронъ-Гомеромъ, и что Пушкина должно разсматривать, какъ Пушкина, а не какъ Байрона. Обманутому внъшнимъ сходствомъ формы поэмъ Байрона, этому ученому критику еще менъе входило въ голову, что между Пушкинымъ и Байрономъ не было ничего общаго въ направлении и духъ таланта и что слъдовательно туть неумъстно было какое бы то ни было сравнение. Другой критикъ, не ученый, но зато съ высшими взглядами, объявилъ Пушкину опалу за то, что тотъ отсталь отъ въка, т. е. отъ туманно-неопредъленныхъ теорій критика. Наконецъ явился вскоръ послъ того третій критикъ, изъ ученыхъ, который о какомъ бы русскомъ поэтъ ни заговориль, безпрестанно обращался къ итальянскимъ поэтамъ, съ которыми у русскихъ поэтовъ ничего общаго не было и быть не могло. Такимъ образомъ, если псевдо-классическая критика была ложна оттого, что основывалась только на старыхъ авторитетахъ, ничего не зная о явленіи и существованіи новыхъ, а мнимо-романтическая критика была слаба отъ того, что, за неимъніемъ времени, слишкомъ поверхностно, больше по наслышкъ, чъмъ изученіемъ, познакомилась съ новыми авторитетами,—то критика тридцатыхъ годовъ была неосновательна отъ избытка эклектическаго знакомства со множествомъ теорій и образцовъ.

Гдѣ же безопасный проходъ между Сциллой безсистемности и Харибдой теорій? Судите поэта безъ всякихъ теорій,—ваша критика будеть отзываться произволомъ личнаго вкуса, личнаго мнѣнія, которое важно для однихъ васъ, а для другихъ—не законъ; судите поэта по какой-нибудь теоріи,—вы разовьете и можеть быть очень хорошо, свою теорію, можеть быть очень хорошую, но не покажете намъ разбираемаго вами поэта въ его истинномъ свѣтѣ. Какой же путь должна избрать критика

нашего времени?

Гёте гдъ-то сказалъ: «Какого читателя желаю я?-такого, который бы меня, себя и цвлый міръ, забылъ и жилъ бы только въ книгъ моей». Нъкоторые нъмецкие аристархи оперлись на это выражение великаго поэта, какъ на основной краеугольный камень эстетической критики. И однакожъ односторонность Гётевой мысли очевидна. Подобное требованіе очень выгодно для всякаго поэта, не только великаго, но и маленькаго: принявъ его на въру и безусловно, критика только и дълала бы, что кланялась въ поясъ то тому, то другому поэту, ибо, такъ какъ все имъетъ свою причину и основаніе-даже эгоизмъ, дурное направленіе, самое невѣжество поэта, то, если критикъ будетъ смотрѣть на произведеніе поэта безъ всякаго отношенія къ его личности, забывь о самомъ себв и о цвломъ мірв, естественно, что творенія этого поэта-будь они только ознаменованы большей или меньшей степенью таланта—явятся непогрешительными

и достойными безусловной похвалы. При измецкой апатической терпимости ко всему, что бываеть и дълается на бъломъ свъть, при нъмецкой безличной универсальности, которая, признавая все, сама не можеть сдълаться ничъмъ, мысль, высказанная Гёте, поставляеть искусство цълью самому себъ и черезъ это самое освобождаеть его оть всякаго соотношенія съ жизнью, которая всегда выше искусства, потому что искусство есть только одно изъ безчисленныхъ проявленій жизни. Дъйствительно, ифмецкая критика, при разсматриванін произведеній искусства, всегда опирается на само искусство и на духъ художника и потому исключительно вращается въ тъсной сферъ эстетики, выходя изъ нея только для того, чтобъ обращаться изръдка къ характеристикъ личности поэта, а на исторію, общество, словомъ, на жизнь не обращаеть никакого вниманія. И оттого, жизнь давно уже оставила техъ немецкихъ поэтовъ, которые своими произведеніями угождають такой критикт! Но съ другой стороны мысль Гёте имфеть глубокій смысль, если ее принимать не безусловно, но какъ первый, необходимый актъ въ процессъ критики. Чтобъ разбирать критически писателя, прежде всего должно изучить его. Если вы съ къмънибудь горячо спорите о важномъ предметъ, для васъ ничего не можеть быть больнъе, какъ если противникъ вашъ, не давая себъ труда вслушиваться въ ващи слова и взвъщивать ваши доводы, будеть придавать имъ другое значение и слъдовательно отвъчать вамъ не на ваши, а на свои собственныя мысли, справедливости которыхъ и не думали вы поддерживать. Если вы хотите, чтобъ съ вами спорили и понимали васъ, какъ должно, то и сами должны быть добросовъстно внимательны къ своему противнику и принимать его слова и до-

казательства именно въ томъ значеніи, въ какомъ онъ обращаеть ихъ къ вамъ. Но еще добросовъстнъе и строже должно прилагаться это правило къ критикъ: разбираемый вами поэть, какъ лицо судимое, часто безотвътное, не можеть въ минуту вашего кривотолкованія остановить вась и доказать вамъ, что вы не такъ его поняли. Сверхъ того все имъетъ свою причину и свое основание, а человъкъ, по самолюбію или по пристрастію къ извъстнымъ увлекшимъ его идеямъ, любитъ всему давать свои причины и основанія, которыя потому именно и покажутся ему истинными, что они-его, а не чьи-нибудь. Этой слабости подвержены не одии только ограниченные люди и невъжды, по и умы сильные, широкіе, особенно если они не терпъливы и не хладнокровно пытливы. Иногда человъку мъщаетъ видъть вещи въ настоящемъ ихъ свъть даже то, что составляеть его истинное достоинство. Что напримъръ выше и почтеннъе въ человъкъ, какъ не способность глубокаго убъжденія?—А между темъ она то и заставляеть человека враждебно смотреть на всякую мысль, противоръчащую его убъжденію, —и часто онъ тъмъ упрямъе отвергаетъ ея истинность, чъмъ одностороннъе его убъждение, которое такъ тъсно слилось со всемъ его существомъ, что онъ не въ состояніи отдълить его отъ себя. И однакожь всякое изслъдованіе непремънно требуеть такого хладнокровія и безпристрастія, которыя возможны человъку только при условіи полнаго отрицанія своей личности на время изслъдованія. Поэтому, чтобъ произнести сужденіе о какомъ-нибудь поэтъ, тъмъ болъе о великомъ, должно сперва изучить его, а для этого должно войти въ міръ его творчества не иначе, какъ забывъ его, себя и все на свътъ. Въ этотъ міръ не должно вносить никакихъ требованій, ни-

какихъ заранъе приготовленныхъ понятій и вопросовъ, никакихъ страстей, а темъ менеепристрастій, никакихъ убъжденій, а тымь менъе-предубъжденій. Надо совершенно отказаться оть роли судьи и актера, и ограничиться только ролью посторонняго любопытнаго свидътеля и зрителя. Такъ точно, если вы вътзжаете въ чужую землю съ цтлью изучить ел нравы и обычаи, вы должны забыть на время, что вы гражданинь своей земли, и сдълаться совершеннымъ космополитомъ. Иначе обычаи этой чуждой вамъ страны будете вы оцънять на курсъ обычаевъ вашего отечества и естественно найдете въ ней хорошимъ только то, что сходно съ обычаями вашего отечества, а все противоположное или не похожее на инхъ безусловно признаете дурнымъ. Всъ народы потому только и образують своей жизнью одинь общій аккордь всемірно-исторической жизни человъчества, что каждый изъ нихъ представляетъ собой особенный звукъ въ этомъ аккордъ, ибо изъ совершенно одинаковыхъ звуковъ не можеть выйти аккордъ. Какъ самое худшее, такъ и самое лучшее въ каждомъ народъ есть то, что принадлежить только одному ему и что противоположно худшему и лучшему, или по крайней мфрф несходно съ худшимъ и лучшимъ всякаго другого народа. Общее выше частнаго, безусловное выше индивидуальнаго, разумъ выше личности, -- это истина несомнънная, противъ которой нечего сказать; но въдь общее выражается въ частномъ, безусловное-въ индивидуальномъ, а разумь-вь личности, а безь частнаго, индивидуальнаго и личнаго, общее, безусловное и разумное есть только идеальная возможность, а не живая дъйствительность. Творческая дъятельность поэта представляеть собой также особый, цъльный, замкнутый въ самомъ себъ

міръ, который держится на своихъ законахъ, имъетъ свои причины и свои основы, требующія, чтобъ ихъ прежде всего приняли за то, что онв суть на самомъ двлв, а потомъ уже судили о нихъ. Всв произведенія поэта, какъ бы ни были разнообразны и по содержанію, и по формъ, имъють общую всъмъ имъ физіономію, запечатліны только имъ свойственной особностью, ибо всв они истекли изъ одной личности, изъ единаго и пераздъльнаго я. Такимъ образомъ, приступая къ изучению поэта, прежде всего должно уловить въ многоразличін и разнообразіи его произведеній тайну его личности, т.-е. тв особности его духа, которыя принадлежать только ему одному. Это впрочемъ значить не то, чтобъ эти особности были чвмъ-то частнымъ, исключительнымъ, чуждымъ для остальныхъ людей: это значить, что все общее человъчеству никогда не является въ одномъ человъкъ, но каждый человъкъ, въ большей или меньшей мфрф, родится для того, чтобъ своей личностью осуществить одну изъ безконечно разнообразныхъ сторонъ необъемлемаго, какъ міръ и візчность духа человізческаго. Въ этой миссіи въчной инкарнаціи заключается все достоинство, вся важность личности: нбо опа есть осуществленіе, реализація, дъйствительность духа. Личность одна не можеть все обнять, и потому, будучи этимъ, она уже не есть то или это; представляя собой ничто, она уже есть исключение изъ всего. Личности безчисленны и разнообразны, какъ стороны духа человъческаго; каждая существуетъ потому, что необходима, следовательно каждая имъетъ законное право на существованіе. Поэтому ничего нізть несправедливіве, какъ мфрять чью-либо личность аршиномъ другой личности, которая всегда или противоположна, или чъмъ-нибудь разнится отъ нея. Есть въ мірѣ люди пылкіе и опрометчивые; есть люди хладнокровные и осторожные: пылкій скажеть ложь, если скажеть, что хладнокровные люди излишни въ мірѣ и что лучше было бы, еслибъ ихъ не было; точно также ложно будеть подобное сужденіе и хладнокровнаго о нылкомъ.

Итакъ, источникъ творческой дъятельности поэта есть его духъ, выражающійся въ его личности, и перваго объясненія духа и характера его произведеній должно искать въ его личности. А это возможно только при строгомъ соблюденіи требованія, которое дълаеть Гёте оть своего читателя. Всякая личность есть истина, въ большемъ или меньшемъ объемъ, а истина требуеть изследованія спокойнаго и безпристрастнаго, требуеть, чтобъ къ ея изследованію приступали съ уваженіемъ къ ней, по крайней мъръ безъ принятаго заранъе ръшенія найти ее ложью. Но, скажуть, если всякая личность есть истина, то и всякій поэть, какъ бы ни быль ничтожень, должень быть изучаемь по мысли Гёте? Ничуть не бывало! Во-первыхъ, не всякій, кто пишеть стихи, выражаеть свою личность: выражаеть ее тоть, кто родился поэтомъ; во-вторыхъ, не всякая личность, но только замвчательная, стоить изученія; въ третьихъ, не всякій человъкъ есть личность, но многіе люди, по своей безличности, похопять на плохо оттиснутую гравюру, въ которой, какъ ни бейся, не отличины дерева отъ копны съна, лошади отъ дома, а деревяннаго чурбана отъ человъка. Природа ли производить, или воспитаніе и жизнь дѣлають ихъ такими, -- это не касается до предмета нашей статьи и далеко отвлекло бы насъ, если-бъ мы вздумали объ этомъ разсуждать; намъ довольно только сказать, что есть на свътъ безличныя личности, что ихъ, къ несчастью, гораздо

больше, чемъ личныхъ, и что чемъ личность поэта глубже и сильшье, тъмъ онъ болъе поэть. Приступить съ такими важными спорами къ суду надъ маленькимъ поэтомъ-все равно, что описать жизнь какого-нибудь столоначальника вь земскомъ судъ слогомъ Плутарха, автора біографій Александра Македонскаго, Цезаря и другихъ великихъ людей древности, или, съвъ въ лодку, чтобъ покататься по болоту, поставить передъ собой компасъ и разложить морскую карту. Но темъ более должно остерегаться приступать безъ особеннаго вниманія къ изучению великаго поэта, въ творенияхъ котораго отражается великая личность. Если вы изучили ее съ строгимъ безпристрастіемъ и поняли върно, вы уже не носитесь по волъ вътра въ воздушныхъ пространствахъ своей прихотливой фантазіи, но стоите твердой погой на прочной почвъ; вы уже не требуете отъ поэта того, чего бы хотълось вамъ, но оцъняете то, что онъ самъ вамъ далъ; вы не смъщиваете съ пимъ себя или другія личности, но видите его самого такимъ, какимъ онъ есть; не навязываете ему своихъ убъжденій, или предубъжденій, но взвішиваете его иден, его понятія. Вы сроднились съ нимъ, потому что изучили его; вы полюбили его, потому что поняли. Вы знаете, почему онъ шелъ этимъ путемъ, а не другимъ; вы не объявите его ничтожнымъ, потому что въ немъ пътъ ничего общаго съ Байрономъ, или другимъ любимымъ вами поэтомъ; вы не скажете о немъ, что онъ отсталъ отъ въка, потому что не читаетъ вашего журнала и не върить вашимъ залетнымъ, но и сбивчивымъ, туманнымъ и неопредъленнымъ предчувствіямъ, которыя вы см'вло выдаете за идеи и высшіе взгляды. Нъть, вы будете судить о немъ на основаніи его личности, будете отъ него требовать только того, что могь бы онъ сделать на

основаніи уже сдълапнаго имъ. Когда вы кончите его изученіе, проникните въ сокровенный духъ его поэзіи, уловите тайну его личности,-тогда правило Гёте, что читатель поэта должень забыть читаемаго имъ поэта, самого себя, и весь міръ, вы имфете право откинуть прочь, какъ уже лишнее и пенужное. Ваша личность снова вступаеть въ свои права, и вы изъ ученика дълаетесь судьей. Вы требуете оть поэта, чтобъ онъ былъ въренъ не вами предписанному ему направлению, по своему собственному, чтобъ онъ не противоръчиль себъ самому, своей собственной натуръ, не уклонялся отъ своего призванія (ибо вы ноняли его призваніе изъ его же собственныхъ твореній, а не навязали ему его отъ себя), словомъ, вы требуете отъ него той внутренней послъдовательности, которая составляеть необходимое условіе всякой разумной дъятельности. И если вы находите, что опъ сдълалъ меньше, чъмъ бы могъ сдълать, меньше, нежели сколько самъ далъ право требовать отъ него, что онъ измѣнялъ стремленію собственнаго духа, вы смітло изречете ему свой приговоръ, и это однакожъ не помъщаеть вамъ отдать ему полную справедливость въ томъ, что составляеть его неотьемлемую заслугу. Вы отличите въ его твореніяхъ педостатки произвольные отъ недостатковъ, которые тесно соединены съ достоинствами его поэзіи и составляють ихъ оборотную сторону. При этомъ вы строго вникните въ обстоятельства, которыя, независимо оть его воли, не могли не имъть большаго или меньшаго вліянія на его д'вятельность и больше всего на духъ времени, въ которое онъ явился, на нравственное состояніе, въ которомъ онъ засталъ общество, и покажете, шелъ ли онъ наравнъ съ своимъ временемъ, былъ ли его хорегомъ, или только старался подиввать подъ его пъсни.

Обстоятельства его частной жизни только тогда войдуть въ ваше разсмотрфніе, когда онн будуть въ живой связи съ его твореніями. Есть поэты, которыхъ жизнь тесно связана съ ихъ поэзіей, и есть поэты, которыхъ важна только нравственная жизнь. Этого различія, вытекающаго изъ свойства личности, не должно терять изъ вида. Гёте такъ же нельзя мърять на мърку Байрона, какъ и Байрона нельзя мърять на мърку Гёте: это были натуры діаметрально противоположныя одна другой, и кто бы осудиль Гёте, что онъ жиль и писаль не въ такомъ духъ, какъ Байронъ, или наобороть, тотъ сказаль бы величайшую нельность. Это все равно, что отъ могучаго слона требовать быстроты и ловкости тигра, или наоборотъ; и слонъ, и тигръ, каждый по своему хорошъ и необходимъ въ цъпи природы. Натуры Гёте и Шиллера были діаметрально противоположны одна отъ другой, и однакожъ самая эта противоположность была причиной и основной взаимной дружбы и взаимнаго уваженія обонхъ великихъ поэтовъ: каждый изъ нихъ поклонялся въ другомъ тому, чего не находилъ въ себъ. Задача критики состоить совствит не въ томъ, чтобъ ръшить, почему Гёте жилъ и писалъ не такъ, какъ жилъ и писалъ Шиллеръ; но въ томъ, почему Гёте жилъ и писалъ какъ Гёте, а не какъ кто-нибудь другой...

Но какимъ же образомъ уловить тайну личности поэта въ его твореніяхъ? Что должно дѣлать для этого при изученіи произведеній его?

Изучить поэта—значить не только ознакомиться, черезъ усиленное и повторяемое чтеніе, съ его произведеніями, но и перечувствовать, пережить ихъ. Всякій истинный поэть, на какой бы ступени художественнаго достоинства ни стояль, а тъмъ болъе всякій великій поэть никогда и ничего не выдумываеть,

но облекаеть въ живыя формы обще-человъческое. И потому въ созданіяхъ поэта люди, восхищающіеся ими, всегда находять что-то давно знакомое имъ, что-то свое собственное, что они сами чувствовали или только смутно и неопредъленно предощущали, или о чемъ мыслили, но чему не могли дать яснаго образа, чему не могли найти слова, и что следовательно поэтъ умълъ только выразить. Чъмъ выше поэть, т.-е. чемь обще-человечественне содержаніе его поэзіи, тімь проще его созданія, такъ что читатель удивляется, какъ ему самому не вошло въ голову создать что-нибудь подобное: въдь это такъ просто и легко! Сочиненія, въ которыхъ люди ничего не узнаютъ своего и въ которыхъ все принадлежить поэту, не заслуживають никакого вниманія, какъ пустяки. На этой-то общности, по которой создание поэта столько же принадлежить всему человъчеству, сколько и ему самому, на этой-то общности н основывается возможность всемъ и каждому, въ комъ есть человъческое (т.-е. духовное, разумное), переживать произведенія художника, изучая ихъ. Пережить творенія поэтазначить переносить, перечувствовать въ душъ своей все богатство, всю глубину ихъ содержанія, перебольть ихъ бользнями, перестрадать ихъ скорбями. переблаженствовать ихъ радостью, ихъ торжествомъ, ихъ надеждами. Нельзя понять поэта, не будучи нъкоторое время подъ его исключительнымъ вліяніемъ, не полюбивъ смотръть его глазами, слышать его слухомъ, говорить его языкомъ. Нельзя изучить Байрона, не бывъ и которое время байронистомъ въ душъ, Гёте-гётистомъ, Шиллера-шиллеристомъ и т.д. Конечно, такое добровольное подчинение чуждому вліянію есть еще только экстатическое увлечение поэтомъ, а не спокойное, строгое и истинное его

пониманіе,—и до этого пониманія можно дойти только черезь переходь изь восторженнаго увлеченія къ хладнокровно спокойному созерцанію, но это увлеченіе поэтомъ есть первый и необходимый моменть въ процессть его изученія. И потому нельзя въ одно время изучить болтье одного поэта, нельзя на это время не считать его выше встать поэтовъ, нельзя не утратить своей способности понимать произведенія другихъ поэтовъ и восхищаться ими. Когда одна великая мысль до такой степени обойметь и наполнить собой человтька, что сдълается костью отъ костей его, плотью оть плоти его,—въ душть человтька уже нтъть мъста для

другой мысли!

Обще-человъческое безгранично только въ своей идет; но, осуществляясь, оно принимаеть извъстный характерь, извъстный колорить, такъ сказать. Оттого, хотя всв великіе поэты выражали въ своихъ созданіяхъ общечеловъческое, однакожъ творенія каждаго изъ нихъ отличаются своимъ собственнымъ характеромъ. Великъ Шекспиръ и великъ Байронъ, но ръзкая черта отличаеть творенія одного оть твореній другого. Чемь выше поэть, темь оригинальнъе міръ его творчества, и не только великіе, даже просто замъчательные поэты темъ и отличаются оть обыкновенныхъ, что ихъ поэтическая дъятельность ознаменована печатью самобытнаго и оригинальнаго характера. Въ этой характерной особности заключается тайна ихъ личности и тайна ихъ поэзіи. Уловить и опредълить сущность этой особности—значить найти ключь къ тайнъ личности и поэзін поэта. Въ чемъ же должно нскать этого ключа?

Каждое поэтическое произведение есть плодъ могучей мысли, овладъвшей поэтомъ. Еслибъ мы допустили, что эта мысль есть только ре-

зультать делтельности его разсудка мыстоили бы этимъ не только искусство, но и самую возможность искусства. Въ самомъ дълъ, что мудренаго было бы сдълаться поэтомъ, и кто бы не въ состояніи быль сдѣлаться поэтомъ по нуждѣ, по выгодѣ или по прихоти, еслибъ для этого стоило только придумать какую-нибудь мысль, да и втискать ее въ придуманную же форму? Нѣтъ, не такъ это дѣлается поэтами по натурѣ и призванію! У того, кто не поэтъ по натурѣ, пусть придуманная мысль будетъ глубока, истинна, даже свята—произведеніе всетаки выйдетъ мелочное, ложное, фальшивое, уродливое, мертвое, и никогда не убѣдить оно, а скорѣе разочаруетъ каждаго въ вырануждь, по выгодь или по прихоти, еслибь для оно, а скоръе разочаруетъ каждаго въ выраженной имъ мысли, несмотря на всю ен правдивость! Но между тъмъ такъ-то именно и понимаеть толпа искусство, этого-то именно и требуеть она отъ поэтовъ! Придумайте ей на/досугь мысль получше, да потомъ и обдълайте ее въ какой-инбудь вымыселъ, словно брильянть въ золото! Воть и дело съ концомъ! Нѣть, не такія мысли и не так овладавають поэтомъ и бывають живыми зародыщами живыхъ созданій. Искусство не допускаеть къ себъ отвлеченныхъ философскихъ, а тъмъ менъе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только идеи поэтическія; а поэтическая идея-это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это-живая страсть, это - павост. Что такое паеось?-Творчество-пе забава, и художественное произведение не плодъ досуга, или прихоти; оно стоить художнику труда; онъ самъ не знаеть, какъ западаеть въ его душу зародышъ новаго произведенія, онъ носить и вынашиваеть въ себъ зерно поэтической мысли, какъ носитъ и вынашиваеть мать младенца въ утробъ своей; процессъ творчества имъетъ аналогію съ процессомъ деторожденія ц не чуждъ

соч. в. г. вълинскаго. ч. н.

A 82

мукъ, разумъется, духовныхъ, этого физическаго акта. И потому, если поэтъ ръшится на трудъ и подвигъ творчества, значитъ, что его къ этому движетъ, стремитъ какая-то могучая сила, какая-то непобъдимая страсть. Эта сила, эта страсть-павосъ. Въ павосъ поэтъ является влюбленнымъ въ ндею, какъ въ прекрасное, живое существо, страстно проникнутымъ ей, — и опъ созерцаетъ ее не разумомъ, не разсудкомъ, не чувствомъ и не какой-либо одной способностью своей души, но всей полнотой и цълостью своего правственнаго бытія, —и потому идея является въ его произведеніи не отвлеченной мыслыю, не мертвой формой, а живымъ созданіемъ, въ которомъ живая красота формы свидътельствуеть о пребыванін въ ней божественной идеи, и въ которой нъть черты, свидътельствующей о сшивкъ или спайкъ, -- пътъ границы между идеей и формой, но та и другая является цълымъ и единымъ органическимъ созданіемъ. Идеи истекаютъ изъ разума; но живое творить и рождаеть не разумъ, а любовь. Отсюда ясно видна разница между идеей отвлеченной и поэтической: первая-плодъ ума, вторая-плодъ любви, какъ страсти. Но отчего же, скажуть, называть это паеосомъ, а не страстью?-Оттого, что слово «страсть» заключаеть въ себѣ понятіе болѣе чувственное, тогда какъ слово «паеосъ» заключаеть въ себъ понятіе болъе правственное. Въ страсти много индивидуальнаго, личнаго своекорыстнаго, темнаго; въ ней можеть быть даже низкое и подлое, потому что можно питать страсть не только къ женщинъ, но и къ женщинамъ, не только къ славъ, но и къ почестямъ, можно питать страсть къ депьгамъ, къ вину, къ гастропоміи. Въ страсти мпого чисто чувственнаго, кровнаго, нервическаго, тълеснаго, земного. Подъ «паеосомъ» разумъемъ тоже страсть,

и притомъ соединенную съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякую другую страсть; но навось всегда есть страсть, возжигаемая въ душъ человъка идеей и всегда стремящаяся къ идеъ, слъдовательно страсть чисто духовная, правственная, небесная. Павосъ простое умственное постижение иден превращаеть въ любовь къ идев, полную эпергіи и страстнаго стремленія. Въ философін идея является безплотной; черезъ паеосъ она превращается въ тъло, въ дъйствительный факть, въ живое создание. Отъ слова паносъ или namocs (pathos) происходить слово namemuческій, наиболье употребляемое въ отношенін къ драматической поэзіи, какъ къ наиболъе исполненной паеоса по своей сущности. Но мы лучше объяснимъ значение паооса указаниемъ на него въ великихъ произведеніяхъ искусства.

Паеосъ Шекспировской драмы «Ромео и Джульета» составляеть идея любви,—и потому пламенными волнами, сверкающими яркимъ свътомъ звъздъ, льются изъ усть любовниковъ восторженныя патетическія ричи... Это паоось любви, потому что въ лирическихъ монологахъ Ромео и Джульеты видно не одно только любованіе другь другомъ, но и торжественное, гордое, исполненное упоенія признаніе любви, какъ божественнаго чувства. Въ тъхъ монологахъ Ромео и Джульеты, когда ихъ любви начало угрожать несчастье, бурнымъ потокомъ изливается энергія раздраженнаго чувства, вдругъ встрътившее препятствіе своему вольному и широкому разливу.-Паоосъ «Гамлета» составляеть борьба негодованія на порокъ и преступление съ безсилиемъ вступить сь ними въ открытый и отчаянный бой, какъ того требуеть сознание долга. Гамлеть въ покойномъ королъ страстно любилъ отца и высоко уважалъ великаго человъка; -- этотъ ко-

роль вероломно, изменнически убить-и кемъ же? шутомъ и пьяницей, человъкомъ бездушнымъ и подлымъ, который укралъ у своего родного брата и корону, и жизнь, и честь его жены, Гамлетовой матери, которая, по инчтожеству своего характера, дълить съ убійцей своего царя и брата, а ея мужа, неправедно добытую власть и оскверненное прелюбодъяніемъ ложе!. Сколько причинъ для Гамлета мстить пеумолимо, страшно, за поруганное право, за гръхъ цареубійства и братоубійства, за порокъ матери, за украденную подъ полой корону, за добродътель, за величіе, за себя самого!.. Онъ знаеть, что ему должно делать, на что его вызвала судьба,-и онъ робъетъ предстоящаго подвига, бледиветь страшнаго вызова, колеблется и только говорить, вмфсто того, чтобъ дълать, въ своей позорной неръшительности. Но если слаба его воля, то душа его столько же велика, сколько и чиста. Онъ это сознаеть,и съ какой горечью, съ какой страстью высказывается его презрѣніе къ самому себѣ въ этихъ большихъ монологахъ, которые тотчасъ, какъ онъ остается одинъ и сдерживаемое имъ доселъ чувство получаеть свободу, вырываются изъ него, словно огромная ръка, скинувшая съ себя вешній ледъ и затопляющая окрестныя поля... Въ этихъ патетическихъ монологахъ высказывается весь паеосъ этой трагедіп, выступаеть наружу та внутренняя эксцентрическая сила, которая заставила поэта взяться за перо, чтобъ сложить съ души своей тяготившее ее бремя... Такихъ примъровъ можно было бы привести много, но для объясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, каждое поэтическое произведение должно быть плодомъ паеоса, должно быть проникнуто имъ. Безъ паеоса нельзя поиять, что заставило поэта взяться за перо и дало ему силу

и возможность начать и кончить иногда довольно большое сочинение. Поэтому выражения «въ этомъ произведеніи есть идея, а въ этомъ нътъ идеи», не совсъмъ точны и опредъленны. Вмѣсто этого должно говорить: «въ чемъ состоить наеось этого произведенія?» или «въ этомъ произведении есть навосъ, а въ этомъ нътъ». Это будетъ гораздо опредъленнъе и точнъе: потому что многіе ошибочно принимають за идею то, что можеть быть идеей вездъ, кромъ произведенія, гдт ее думають видть, и гдв она въ самомъ-то двлв является просто резонерствомъ кое-какъ прикрытымъ сшивными лохмотьями бъдной формы, изъ подъ которой такъ и сквозить его нагота. Павосъдругое дъло. Надо быть совершенно лишеннымъ всякаго эстетическаго такта, чтобъ увидъть паеосъ въ произведеніи холодномъ, мертвомъ, вь которомь идея съформой слиты, какъ масло съ водой, или сшиты на живую нитку бълыми стежками.

Какъ ни многочисленны, какъ ни разнообразны созданія великаго поэта, но каждое изъ нихъ живетъ своей жизнью, а потому и имъетъ свой паеосъ. Тъмъ не менъе весь міръ творчества поэта, вся полнота его поэтической пъятельности тоже имъетъ свой единый паеосъ, къ которому паеосъ каждаго отдъльнаго произведенія относится, какъ часть къ цівлому, какъ оттвнокъ, видоизмвнение главной иден, какъ одна изъ ея безчисленныхъ сторонъ. И это относится не къ однимъ одностороннимъ поэтамъ, каковъ былъ, напримъръ, Байронъ, но также и къ такимъ, которыхъ произведенія удивляють своей многосторонностью и многоразличіемъ направленій, каковъ напримъръ, Шекспиръ. И это очень естественно: всякая личность единична; у ней можеть быть много интересовъ и направленій, но всегда подъ пре-

обладающимъ вліяніемъ одного главнаго; а такъ какъ личность есть живой и непосредственный источникъ творческой дъятельности, то и всв произведенія поэта должны быть запечатлъны единымъ духомъ, проникнуты единымъ наеосомъ. И воть этотъ-то наеосъ, разлитый въ полнотъ творческой дъятельности поэта, есть ключъ къ его личности и къ его поэзіи. Первымъ дізломъ, первой задачей критики должна быть разгадка, въ чемъ состоить паеосъ произведеній поэта, котораго взялся онъ быть изъяснителемъ и оцфицикомъ. Безъ этого онъ можетъ раскрыть некоторыя частныя красоты или частные недостатки въ произведеніяхъ поэта, наговорить много хорошаго à propos къ нимъ; но значение поэта и сущность его поэзіи останутся для него такъ же тайной, какъ и для читателей, которые думали бы найти въ его критикъ ръшение этой тайны. Сверхъ того онъ рискуетъ быть или пристрастнымъ хвалителемъ, или, что одно и то же, пристрастнымъ порицателемъ поэта, приписать ему достоинства и недостатки, которыхъ въ немъ нътъ, или не замътить тъхъ, которые въ немъ есть. Но главное-онъ всегда ошибется въ общемъ выводъ своихъ изслъдованій о поэтъ. Именно такимо образомо гръшила противъ поэтовъ русская критика тридцатыхъ годовъ. Такъ, напримъръ, одинъ критикъ того времени поставиль въ величайшую вину поэзін Жуковскаго то, что она совершенно лишена народности. Еслибъ онъ понялъ, что павосъ поэзін Жуковскаго есть романтизмъ-плодъ жизни западной Европы въ средніе въка и слъдовательно элементь, котораго совершенно чужда русская народность, — онъ не сталъ бы нападать на знаменитаго поэта за то, что составляеть его величайшую заслугу.

Говоря о такомъ многостороннемъ и разро-

образномъ поэтъ, какъ Пушкинъ, нельзя не обращать вниманія на частности, нельзя не указывать въ особенности на то или другое даже изъ мелкихъ его стихотвореній, и тымъ менфе можно не говорить отдъльно о каждой изъ большихъ его пьесъ; нельзя также не дълать изъ него большихъ или меньшихъ выписокъ; но, ограничившись только этимъ, критикъ не далеко бы ушелъ. Прежде всего нуженъ взглядъ общій не на отдъльныя пьесы, а на всю поэзію Пушкина, какъ на особый и цълый міръ творчества. Этоть общій взглядь будеть, въ лабиринтъ разнообразныхъ и многочисленныхъ твореній поэта, аріадниной нитью и для критика и для его читателей; при помощи этого взгляда сдълаются понятными и всъ частности, и не будеть нужды обращать вниманія на каждую изъ нихъ, а только на главнъйшія. Разумъется, этоть общій взглядь должень быть основань на върномъ уразумъніи паноса поэта. Но какъ объяснить и опредълнть павосъ-предварительно ли это сделать, такъ, чтобы указаніями на отдъльныя пьесы только подтверждать свою мысль, или начать аналитически и изъ разбора частпостей дойти до опредъленія павоса? Мы думаемъ, что первое лучше, ибо творенія Пушкина такъ извъстны всъмъ и каждому, что можно говорить объ общемъ значеніи его поэзін, не боясь не быть понятнымъ. Притомъ же наше дъло-раскрыть передъ читателями не процессъ нашего изученія Пушкина, а оправдать результать этого изученія.

Много и многими было написано о Пушкинъ. Вст его сочиненія не составляють и сотой доли порожденныхъ ими печатныхъ толковъ. Одни споры классиковъ съ романтиками за «Руслана и Людмилу» составили бы порядочную книгу, если-бы ихъ извлечь изъ тогдащихъ журналовъ и издать вмтстъ. Но это было бы интересно

голько какъ историческій фактъ литературной образованности и литературныхъ нравовъ того времени, факть, узнавъ который, нельзя не воскликнуть:

Свъжо преданіе, а върится съ трудомъ!

И таковы вст толки нашихъ аристарховъ о Пушкинъ, и хвалебные, и порицательные; изъ нихъ ничего не извлечешь, ничъмъ не воспользуешься. Исключеніе остается только статьей Гоголя «О Пушкинъ» въ «Арабескахъ», изданныхъ въ 1835 году. Объ этой замъчательной стать в мы еще не разъ вспомянемъ въ про-

должение нашего разбора.

Пушкинъ былъ призванъ быть первымъ поэтомъ-художникомъ Руси, дать ей поэзію, какъ искусство, какъ художество, а не только какъ прекрасный языкъ чувства. Само собой разумвется, что одинъ онъ этого сдвлать не могъ. Въ первыхъ нашихъ статьяхъ мы изложили весь ходъ изящной словесности на Руси, показали начало и развитіе ея поэзін, участіе, какое принимали въ этомъ предшествовавшіе Пушкину поэты, равно какъ и ихъ заслуги. Повторимъ здісь уже сказанное нами сравненіе, что вст эти поэты относятся къ Пушкину, какъ малыя и великія рѣки—къ морю, которое наполняется ихъ водами. Поэзія Пушкина была этимъ моремъ. По смыслу нашего сравненія, море больше и важиве рвкъ; но безъ нихъ оно не могло бы образоваться. Такое сравнение не можеть быть оскорбительно для поэтовъ, предпествовавшихъ Пушкину, особенно если мы напомнимъ при этомъ, что поэтическая дъятельность Жуковскаго явилась на высшей степени своего развитія и принесла самые сочные, зрълые и прекрасные плоды свои уже при Пушкинь, а Батюшковъ погасъ для литературы въ цвътъ лътъ и силы. Чтобъ изложить нашу

мысль сколько возможно яснъе и доказательнъе, мы посвятили особую статью на разборъ не только ученическихъ стихотвореній ребецка-Пушкина, но и стихотвореній юпоши-Пушкина, носящихъ на себъ слъды вліянія предшествовавшей школы. Эти послъднія стихотворенія ттхъ, въ которыхъ онъ несравненно ниже явился самобытнымь творцомь, но въ то же время они и далеко выше образцовъ, подъ вліяніемъ которыхъ были написаны. Тогда же мы замътили, что въ первой части «Стихотвореній Александра Пушкина» (1829) пьесь, писанныхъ подъ вліянісмъ прежней школы, больше чвить во второй, а въ третьей ихъ уже нъть вовсе, но что и въ первой части почти на половину находится самобытныхъ стихотвореній Пушкина. Эта первая часть заключаеть въ себъ стихотворенія, писанныя отъ 1815 до 1823 года; они расположены по годамъ, и потому можно видеть, какъ съкажнымъ годомъ Пушкинъ являлся менъе ученикомъ и подражателемъ, хотя и превзонединимъ своихъ учителей и образцовъ, и болъе самобытнымъ поэтомъ. Вторая часть заключаеть въ себъ пьесы, писанныя оть 1825 до 1829 года, и только въ отдълъ стихотвореній 1825 года замѣтно еще нъкоторое вліяніе старой школы, а въ пьесахъ следующихъ затемъ годовъ оно уже исчезло совершенно. Читая стихотворенія Пушкина, отзывающіяся вліяніемъ прежней школы, чувствуень и видинь, что была на Руси поэзія прежде Пушкина; но, читая по выбору только самобытныя его стихотворенія, не то что не въришь, а совершенно забываешь, что была на Руси поэзія и до Пушкина: такъ оригиналенъ, новъ и свъжъ міръ его поэзіи! Туть нельзя даже сказать: то же, да не то! напротивъ, тутъ невольно воскликнешь: не то, совершенно не то! Стихъ Державина, часто

столь неуклюжій и прозаическій, нерѣдко бываеть въ поэтическомъ отношении могучъ, ярокъ, но въ отношеніи къ просодін, грамматикъ, синтаксису и особенно къ акустическимъ требованіямъ языка, онъ ниже стиха не только Дмитріева, но и Карамзина; стихъ Дмитріева н даже Озерова во всёхъ этихъ отношеніяхъ нензмфримо ниже стиха Жуковскаго и Батюшкова, —и было время, когда нельзя было не върить, что подъ перомъ этихъ двухъ поэтовъ стихъ русскій дошелъ до крайней и послъдпей степени совершенства,-и между тъмъ этоть стихъ относится къ стиху Пушкина такъ же точно, какъ стихъ Дмитріева и Озерова относился къ стиху Жуковскаго и Батюшкова.. Правда, впоследствін, т. е. при Пушкинт, стихъ Жуковскаго много усовершенствовался и въ переводъ «Шильонскаго Узника», а также отчасти и въ переводъ «Суда въ Подземельъ» походилъ на крънкую дамасскую сталь, и у самого Пушкина нечего противопоставить этому стиху; но эту стальную кръпость, эту необыкновенную жадность и тяжелоупругую энергію ему сообщиль тонъ поэмы Байрона и характеръ ся содержанія, —и Пушкинъ, если-бы онъ написалъ поэму въ такомъ тонъ и духъ, конечно, умълъ бы придать этому стиху еще повыл качества, сохранивъ главныя свойства стиха Жуковскаго, —чему можеть служить доказательствомъ его поэма «М'вдный Всадникъ». Обращаясь къ общей характеристикъ стиха Жуковскаго и Пушкина, мы снова повторяемъ, что только при отсутствін эстетическаго чутья и такта можно не видъть между ними огромной разницы... Мы не безъ умысла такъ много распространяемся о стихъ: нбо нодъ стихомъ разумъемъ первоначальную, непосредственную форму поэтической мысли, форму, которая одна прежде и больше всего другого

свидътельствуеть о дъйствительности и силъ таланта поэта. Это стихъ, который дается талантомъ и вдохновеніемъ, а трудомъ только совершенствуется:-стихъ, который, какъ тъло человъка, есть откровеніе, осуществленіе души-иден; -- стихъ, которому нельзя выучиться, нельзя подражать, подъ который всякая поддълка, какъ бы ни была она ловка и искусна, всегда будеть мертва, относясь къ нему, какъ искусно-сдъланиая восковая статуя, или автомать относится къ живому человъку. И потому стихъ Пушкина, въ самобытныхъ его пьесахъ вдругъ какъ бы сдълавшій крутой повороть или резкій разрывь въ исторіи русской поэзіи, нарушившій преданіе, явившій собой что-то небывавшее, непохожее ин на что прежнее,этоть стихъ былъ представителемъ новой, дотолъ небывалой поэзіи. И что же это за стихъ! Античная пластика и строгая простота сочетались въ немъ съ обаятельной игрой романтической риемы; все акустическое богатство, вся сила русскаго языка явилась въ немъ въ удивительной полнотъ; онъ нъженъ, сладостенъ, мягокъ, какъ ропоть волны, тягучъ и густь, какъ смола, ярокъ, какъ молнія, прозраченъ н чисть, какъ кристалль, душисть и благовонень, какъ весна, кръпокъ и могучъ; какъ ударъ меча въ рукт богатыря. Въ немъ и обольстительная, невыразимая прелесть H грація, въ немъ ослъпительный блескъ и кроткая влажность, въ немъ все богатство мелодіи и гармоніи языка и риома; въ немъ вся пъга, все упоеніе творческой мечты, поэтичеческаго выраженія. Ёслибъ мы хотѣли охарактеризовать стихъ Пушкина однимъ словомъ, мы сказали бы, что это по превосходству поэтическій, художественный, артистическій стихъ,-и этимъ разгадали бы тайну паеоса всей поэзіи Пушкина...

Читая Гомера, вы видите возможную полноту художественнаго совершенства; но она не поглощаеть всего вашего вниманія; не ей исключительно удивляетесь вы: васъ болъе всего поражаеть и занимаеть разлитое въ поэзін Гомера древне-эллинское міросозерцаніе и самый этотъ древне-эллинскій міръ. Вы на Олимиъ среди боговъ, вы въ битвахъ среди героевъ; вы очарованы этой благородной простотой, этой изящной патріархальностью героическаго въка народа, нъкогда представлявшаго въ лицъ своемъ цълое человъчество; но поэть остается у васъ какъ бы въ сторонъ, и его художество вамъ кажется чъмъ-то уже необходимо принадлежащимъ къ поэмъ, и потому вамъ какъ будто не приходить въ голову остановиться на цемъ и подивиться ему. Въ Шексппрв вась тоже останавливаеть прежде всего не художникъ, а глубокій сердцевіздець, мірообъемлющій созерцатель; художество же въ немъ какъ будто признается вами безъ всякихъ словъ и объясненій. Такъ разсуждая о великомъ математикъ, указывають на его заслуги наукъ, не говоря объ удивительной силъ его способности соображать и комбинировать до безконечности предметы. Въ поэзін Байрона прежде всего обойметь вашу душу ужасомъ удивленія колоссальная личность поэта, титаническая смълость и гордость его чувствъ и мыслей. Въ поэзін Гёте передъ вами выступаеть поэтически-созерцательный мыслитель, могучій царь и властелниъ внутренняго міра, души человъка. Въ поэзін Шиллера вы преклонитесь съ любовью и благоговъніемъ передъ трибуномъ человъчества, провозвъстникомъ гуманности, страстнымъ поклонникомъ всего высокаго и правственно прекраснаго. Въ Пушкинъ, напротивъ, прежде всего увидите художника, вооруженнаго всеми чарами поэзін,

призваннаго для искусства, какъ для искусства исполненнаго любви, интереса ко всему эстетически-прекрасному, любящаго все и потому терпимаго ко всему. Отсюда всѣ достоинства, всѣ недостатки его поэзін,—и если вы будете разсматривать его съ этой точки, то съ удвоенной полнотой насладитесь его достоинствами и оправдаете его недостатки, какъ необходимое слѣдствіе, какъ оборотную сторону его же

достоинствъ....

Призваніе Пушкина объясняется исторіей нашей литературы. Русская поэзія—пересадокъ, а не туземный плодъ. Всякая поэзія должна быть выражениемъ жизни въ общирномъ значеніи этого слова, обнимающаго собой весь міръ физическій и правственный. До этого ее можеть довести только мысль. Но. чтобъ быть выраженіемъ жизни, поэзія прежде всего должна быть поэзіей. Для некусства нъть никакого выигрыша оть произведенія, о которомъ можно сказать: умно, истинно, глубоко, но прозаично. Такое произведение похоже на женщину съ великой душой, но съ безобразнымъ лицомъ: ей можно удивляться, но полюбить ее нельзя; а между тъмъ немножко любви сдъдало бы счастливъе, чъмъ много удивленія, не только ее, но и мужчину, въ которомъ она возбудила это удивленіе. Произведенія не поэтическія безплодны во всъхъ отношеніяхъ; между тъмъ какъ произведенія на половину прозанческія бывають полезны для общества и для частныхъ людей; но они дъйствують и въ этомъ отношеніи только наполовину. Гдв помнять начало поэзіи, гдв поэзія явилась не какъ плодъ національной жизни, а какъ плодъ цивилизацін, тамъ для полнаго развитія поэзін нужно прежде всего выработать поэтическую форму, ибо, повторяемъ, поззія прежде всего должна быть поэзіей, а потомъ уже выражать собой то н

другое. Вотъпричина явленія Пушкина такимъ, какимъ опъ былъ, и воть почему опъ ничемъ другимъ быть не могъ. До него у насъ не было даже предчувствія того, что такое нскусство, художество, которое составляеть собой одну изъ абсолютныхъ сторонъ духа человъческаго. До него поэзія была только краснор вчивымъ изложеніемъ прекрасныхъ чувствъ и высокихъ мыслей, которыя не составляли ея души, но къ которымъ она относилась, какъ удобное средство для доброй цъли, какъ бълила и румяна для блъднаго лица старушки-истины. Это мертвое понятіе о пользъ поэтической формы для выраженія моральныхъ и другихъ идей нородило такъ называемую дидактическую поэзію н было выражено Мерзляковымъ въ сл'вдующихъ стихахъ, кажется, переведенныхъ имъ изъ Тассо:

Такъ врачъ болящаго младенца ко устамъ Несетъ фіалъ, сластьми упитанъ по краямъ: Счастливецъ обольщенъ, пьетъ горькое цѣ-

Обманъ ему далъ жизнь, обманъ ему спасенье!

Наша русская поэзія до Пушкина была именно позолоченной пилюлей, подслащеннымъ лекарствомъ. И потому въ ней истиная, вдохновенная и творческая поэзія только проблескивала временами въ частностяхъ, и эти проблески тонули въ массъ риторической воды. Много было сдълано для языка, для стиха, кое-что было сдълано и для поэзіи, но поэзіи, какъ поэзіи, то есть такой поэзіи, которая, выражая то или другое, развивая такое или иное міросозерцаніе, прежде всего была бы поэзіей, такой поэзіи еще не было! Пушкинъ былъ призванъ былъ живымъ откровеніемъ ел тайны па Руси. И такъ какъ его назначеніе было завоевать, усвоить навсегда русской земь

лѣ поэзію, какъ нскусство, такъ, чтобъ русская поэзія имѣла потомъ возможность быть выраженіемъ всякаго направленія, всякаго созерцанія, не боясь перестать быть поэзіей и перейти въ риомованную прозу,—то естественно, что Пушкинъ долженъ быль явиться исклю-

чительно художникомъ.

Еще разъ: до Пушкина были у насъ поэты, но не было ни одного поэта-художника; Пушкинъ былъ первымъ русскимъ поэтомъ-художникомъ. Поэтому даже самыя первыя незрълыя юношескія его произведенія, каковы: «Русланъ и Людмила», «Братья-Разбойники», «Кавказскій Плънникъ» и «Бахчисарайскій Фонтанъ», отмътили своимъ оявленіемъ новую эпоху въ исторін русской поэзін. Всв, не только образованные, даже многіе просто грамотные люди, увидъли въ нихъ не просто новыя поэтическія произведенія, но совершенно новую поэзію, которой они не знали на русскомъ языкъ не только образца, но на которую они не видали никогда даже намека. И эти поэмы читались всей грамотной Россіей; онъ ходили въ тетрадкахъ, переписывались дъвушками, охотницами до стишковъ, учениками на школьныхъ скамьяхъ, украдкой отъ учителя, сидъльцами за прилавками магазиновъ и лавокъ. И это дълалось не только въ столицахъ, но даже и въ увздныхъ захолу тьяхъ. Тогда-то поняли, что различіе стиховъ отъ прозы заключается не въ риемъ и размъръ только, но что и стихи въ свою очередь могутъ быть и поэтическіе, и прозаическіе. Это значило уразумъть поэзію, уже не какъ что-то внъшнее, по въея внутренией сущности. Явись теперь на Руси поэть, который быль бы нензмърнмо выше Пушкина, -- его появление уже не могло бы надълать столько шума, возбудить такой общій, такой страшный энтузіазмъ, потому что послѣ Пушкина поэзія—уже не невиданная, не неслыханная вещь. И по тому же самому теперь уже слишкомъ слабый успѣхъ могъ получить поэтъ, который, не уступая Пушкину въ талантѣ, даже превосходя его въ этомъ отношеніи, былъ бы, подобно ему, преимуще-

SILL

hte:

3:0

tpa-

101

:2.

obi thi

ない。

31,

1116

ственно художникомъ.

Если въ поименованныхъ нами первыхъ поэмахъ Пушкина видно такъ много этого художества, которымъ такъ ръзко отдълились онъ отъ произведеній прежнихъ школъ, то еще болъе художества въ самобытныхъ лирическихъ пьесахъ Пушкина. Поэмы, о которыхъ мы говорили, уже много потеряли для насъ своей прежней прелести; мы уже пережили и слъдовательно обогнали ихъ; но мелкія пьесы Пушкина, ознаменованныя самобытностью его творчества, и теперь такъ же обаятельно прекрасны, какъ и были во время появленія ихъ въ свъть. Это понятно: поэма требуеть той эрълости таланта, которую даеть опыть жизни. и этой эрфлости нътъ нисколько въ «Русланъ и Людмилъ», «Братьяхъ-Разбойникахъ» и «Кавказскомъ Плѣнникѣ», а въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ» замътенъ только успъхъ въ искусствъ; но юность-самое лучшее время для лирической поэзіи. Поэма требуеть знанія жизни и людей, требуеть созданія характеровь, слъдовательно своего рода драматизировки; лирическая поэзія требуеть богатства ощущеній, а когда же грудь человъка наиболъе богата ощущеніями, какъ не въ лъта юности?

Тайна Пушкинскаго стиха была заключена не въ искусствъ «сливать послушныя слова въ стройные размъры и замыкать ихъ звонкой риемой», но въ тайнъ поэзіи. Душъ Пушкина присуща была прежде всего та поэзія, которая пе въ книгахъ, а въ природъ, въ жизни,— присущно художество, печать котораго лежить

III

SIL

Щe. apt

325

Ma

15

12.

)B(thi

TA MA

BUY

111

на «полномъ твореніи славы». Разумъ-это духъ жизни, душа ея; поэзія—это улыбка жизни, ея свътлый взглядъ, нграющій всеми переливами быстро смѣняющихся ощущеній. Бывають женщины, одаренныя отъ природы ръдкой красотой, но которыхъ строго правильныя черты лица поражають какой-то сухостью, а движенія лишены граціи; такія женщины могуть быть по своему ослепительно блестящими и возбуждать удивленіе, но ихъ появленіе не заставить ничье сердце забиться оть невъдомаго волненія, ихъ красота не родить любви, а красота, не сопутствуемая харитой любви, лишена жизни, лишена поэзіи. Такъ точно и природа и жизнь возбуждали бы только холодное удивленіе, если-бъ онъ не были насквозь проникнуты поэзіей; не любовью-небеснымъ огнемъ жизни, а холодной сыростью могилы въяло бы отъ нихъ. Пусть свътила небесныя образують собой стройные міры; не тымь только возвышають они душу созерцающаго ихъ человъка, но поэзіей своего таинственнаго мерцанія, но дивной красотой живой игры своихъ блѣдно огнистыхъ лучей; въ ихъ стройномъ ходъ Пивагоръ видълъ не одну математику въ фактъ, но и слышалъ гармопію міровъ...Если-бъ солнце только гръло и свътило, оно было бы не болве, какъ огромный фонарь, огромная печка; но оно проливаеть на землю яркій, весело дрожащій, радостно играющій лучь, --и земля встръчаеть этоть лучь улыбкой, а въ этой улыбкъ-невыразимое очарование, неуловимая поэзія... Природа полна не одитхъ органическихъ силъ, --она полна и поэзін, которая наиболъе свидътельствуеть о ея жизни: въ ея въчномъ движеніи, въ колыханіи ея лъсовъ, въ трепеть серебристаго листа, на которомъ любовно играеть лучь солнца, въ ропотв ручья, въяній вътра, волнующаго золотистую жатву,

разлить для человъка таннственный блескъ и слышатся ему живые голоса, то грустные и одинокіе, какъ звуки эоловой арфы, то веселые, радостные, какъ пъснь взвивающагося подъ небеса жаворонка... Человъкъ еще болъе исполненъ поэзін. Отчего вамъ такъ хочется расцъловать этого ребенка, шумно играющаго на лугу; отчего такъ плъняють васъ и его блестящіе чистой радостью глаза, его дышащая блаженствомъ улыбка, живость и ръзвость его движеній?—Что общаго между вами, измученнымъ жизнью, опытомъ и житейскими заботами, -- вами, человъкомъ пожилымъ и мудрымъ, и между имъ, ничего непонимающимъ, почти безсознательнымъ существомъ? Зачъмъ же, торопливо бѣжа по важному дѣлу съ озабоченнымъ видомъ, вы вдругь остановились на лугу, забывъ ваши важныя дъла, и съ улыбкой умиленія смотрите на это дитя, и чело ваше разгладилось и прояснъло, забота на мигъ слетыла съ него, и улыбка счастья на мгновение освътила ваше угрюмое лицо, какъ лучъ солнца, проникнувшій сквозь щель въ мрачное подземелье и трепетно заигравшій на сыромъ его полу?.. Оттого, что видъ этого дитяти пахнулъ на вась поэзіей жизни... Воть прекрасная, молодая женщина: въ чертахъ лица ея вы не находите шикакого опредъленнаго выраженіяэто не олицетвореніе чувства, души, доброты, любви, самоотверженія, возвышенности мыслей и стремленій, словомъ, ничто не говорить вамъ въ этомъ лицѣ ни о какомъ рѣзко выпечатавшемся правственномъ качествъ: оно только прекрасно, мило, одушевлено жизнью-и больше ничего; вы не влюблены въ эту женщину и чужды желанію быть любимымь ей; вы спокойно любуетесь прелестью ея движеній, граціей ся манеръ, — н въ то же время въ ея присутствіи сердце ваше бьется какъ-то жи-

въе, и кроткая гармонія счастья мгновенно разливается въ душъ вашей... Отчего это, если не оттого, что красота сама по себъ есть качество и заслуга, и притомъ еще великая! Прекрасна и любезна истина и добродътель, но и красота также прекрасна и любезна, и одно другого стоить; одно другого замънить не можеть, но то и другое въ одинаковой степени составляеть потребность вашего духа. Воть почему древніе греки въ своемъ поэтическомъ политеизмъ обожествили не только истину, знаніе, могущество, мудрость, доблесть, справедливость, цъломудріе, но и красоту, сопровождаемую харитами любви и желанія... По ихъ религіозному созерцацію, исполненному поэзіи и жизни, богиня красоты обладала таинственнымъ поясомъ,---

Въ немъ и любовь, и желанія, въ немъ и знакомства, и просьбы.

Льстивыя рфчи, не разъ уловлявшія умъ и разумныхъ.

Чтобъ выразить всю силу неотразимато вліянія на душу и сердце человѣка поэзін Гомера, греки говорили, что опъ похитилъ поясъ Афродиты...

Пушкинъ первый изъ русскихъ поэтовъ овладълъ поясомъ Киприды. Не только стихъ, но каждое ощущение, каждое чувство, каждая мысль, каждая картина исполнены у пего невыразимой поэзіи. Онъ созерцалъ природу и дъйствительность подъ особеннымъ угломъ эрънія, и этотъ уголъ былъ исключительно поэтическій. Муза Пушкина—это дъвушка-аристократка, въ которой обольстительная красота и граціозность непосредственности сочетались съ изяществомъ тона и благородной простотой, и въ которой прекрасныя внутреннія качества развиты и еще болье возвышены виртуозностью формы, до того усвоенной ею, что эта форма

сдълалась ей второй природой.

Самобытныя мелкія стихотворенія Пушкина не восходять далъе 1819 года, и съ каждымъ следующимъ годомъ увеличиваются въ числе. Изъ нихъ прежде всего обратимъ виимание на тв маленькія пьесы, которыя и по содержанію, и по формъ отличаются характеромъ античности, и которыя съ перваго раза должны были показать въ Пушкинъ художника по превосходству. Простота и обаяніе ихъ красоты выше всякаго выраженія: это музыка въ стихахъ и скульптура въ поэзін. Пластическая рельефность выраженія, строгій классическій рисунокъ мысли, полнота и оконченность цълаго, нъжность и мягкость отдълки въ этихъ пьесахъ обнаруживають въ Пушкинъ счастливаго ученика мастеровъ древняго искусства. А между тъмъ онъ не зналъ по-гречески и вообще многосторонній, глубокій художинческій инстинкть замънялъ ему изучение древности, въ школъ которой воспитываются всъ европейские поэты. Этой поэтической натуръ ничего не стоило быть гражданиномъ всего міра и въ каждой сферъ жизни быть какъ у себя дома; жизнь и природа, гдв бы ни встретиль онъ ихъ, своболно и охотно ложились на полотив подъ его кистыо.

До Пушкина было довольно переводовъ изъ греческихъ поэтовъ, равно какъ и подражаній греческимъ поэтамъ; не говоря уже о попыткъ Кострова перевести «Иліаду» и о многочисленныхъ переводахъ и подражаніяхъ Мерэлякова, много было переведено изъ Анакреона Львовымъ; но, несмотря на все это, за исключеніемъ отрывковъ изъ переводимой Гифдичемъ «Иліады», на русскомъ языкъ не было ин одной строки, ни одного стиха, который бы можно

было принять за намекъ на древнюю поэзію. Такъ продолжалось до Батюшкова, муза котораго была въ родствъ съ музой эллинской и который превосходно перевель изсколько пьесъ изъ антологіи. Пушкинъ почти ничего не переводиль изъ греческой антологіи, но писалъ въ ея духъ такъ, что его оригинальныя пьесы можно принять за образцовые переводы съ греческаго. Это большой шагь впередъ передъ Батюшковымъ, не говоря уже о томъ, что на сторон в Пушкина большое преимущество и въ достопиствъ стиха. Посмотрите, какъ эллински, или какъ артистически (это одно и то же) разсказаль Пушкинь о своемь художественномъ призванін, почувствованномъ имъ еще въ літа отрочества; эта пьеса называется «Муза»:

Въ младенчествъ моемъ она меня любила И семиствольную џъвницу миъ вручила; Она внимала миъ съ улыбкой, и слегка По звонкимъ скважинамъ пустого тростинка Уже наигрывалъ я слабыми перстами И гимны важные, внушенные богами, И пъсни мирныя фригійскихъ пастуховъ. Съ утра до вечера въ нъмой тъни дубовъ Прилежно я внималъ урокамъ дъвы тайной; И, радуя меня наградою случайной, Откинувъ локоны отъ милаго чела, Сама изъ рукъ моихъ свиръль она брала: Тростникъ былъ оживленъ божественнымъ дыханьемъ

И сердце наполнялъ святымъ очарованьемъ.

Да, несмотря на счастливые опыты Батюшкова въ анталогическомъ родъ, такихъ стиховъ еще не бывало на Руси до Пушкина!

Нельзя не дивиться въ особенности тому, что онъ умълъ сдълать изъ шестистопнаго ямба— этого несчастнаго стиха, доведеннаго до пош-

лости русскими эпиками и трагиками добраго стараго времени. За него уже было отчаялись, какъ за стихъ неуклюжій и монотонный, а Пушкинъ воспользовался имъ, словно дорогимъ паросскимъ мраморомъ для чудныхъ изваяній, видимыхъ слухомъ... Прислушайтесь къ этимъ звукамъ,—и вамъ покажется, что вы видиме передъ собой превосходную античную статую:

Среди зеленыхъ волиъ, лобзающихъ Тавриду, На утренней заръ я видълъ Нереиду. Сокрытый межъ деревъ, едва я смълъ дохнуть; Надъ ясной влагою полубогиня грудь Младую, бълую какъ лебедь, воздымала И влагу изъ власовъ струею выжимала.

Акустическое богатство, мелодія и гармонія русскаго языка въ первый разъ явились во всемъ блескѣ въ стихахъ Пушкина. Мы не знаемъ ничего, что могло бы въ этомъ отношеніи сравниться съ этой пьеской:

Я върю, — я любимъ; для сердца нужно върнть. Нътъ, милая моя не можегъ лицемърнть; Все непритворно въ ней: желаній томный жаръ, Стыдливость робкая, харитъ безцънный даръ, Нарядовъ и ръчей пріятная небрежность И ласковыхъ именъ младенческая инэжность.

Правда, последній стихь есть не боле, какъ верный переводь стиха Андре Шенье—«Et des noms carresants la mollesse enfantine»; но если где иметь глубокій смысль выраженіе: «онъ береть свое, где ни увидить его», то, конечно, въ отношенін къ этому стиху, который Пушкинь умель сделать своимь.

Тѣмъ же античнымъ духомъ вѣетъ и въ антологическихъ пьесахъ Пушкина, писанныхъ гекзаметромъ. Между ними особенно превосходны пьесы «Трудъ» и «Чистый лоснится полъ; чаши блистають» (первая оригинальная, вторая изъ Ксепофана Колофонскаго). Мы ограничимся выпиской, тоже превосходной, но только маленькой пьесы, принадлежащей впрочемъ къ самому поздивйшему времени поэтической дъятельности Пушкина:

Юношу, горько рыдая, ревнивая двва бранила; Къ ней на плечо преклоненъ, юноша вдругъ за-

дева тотчасъ умолкла, сонъ его легкій лелѣя, И улыбаясь ему, тихія слезы лія.

Пушкинъ никогда не оставлялъ совершенно этого рода стихотвореній; но въ первую пору своей поэтической дъятельности особенно много писалъ ихъ. Это понятно: созерцание любви и наслажденій жизни въ духъ древнихъ особенно соотвътствуеть эпохъ юности каждаго человъка. Вотъ перечень всъхъ антологическихъ стихотвореній Пушкина: «Виноградъ», «О дівароза, я въ оковахъ», «Доридѣ», «Ръдъеть облаковъ летучая гряда», «Нереида», «Дорида», «Муза», «Діонея», «Діва», «Приміты», «Красавица передъ зеркаломъ», «Ночь», «Сафо», «Кобылица молодая», «Царскосельская статуя», «Отрокъ», «Риема», «Трудъ», «Чистый лоснится полъ», «Славная флейта», «Өеонъ», «Юношу, горько рыдая», «LVIII ода Анакреона», «Богъ веселый винограда», «Юноша, скромно пируй», «Мальчику» (изъ Катулла), «Узнаемъ коней ретивыхъ» (изъ Анакреона), «Леила». Последнія семь, послъ превосходной пьесы «Юношу, горько рыдая», не отличаются особеннымъ поэтическимъ достоинствомъ; но слъдующія двъ просто неудачны: «Кто на снъгахъ возрастиль Өеокритовы нъжныя розы» и «На переводъ Иліады».

Перечтите пьесы: «Домовому», «Недоконченная картина», «Возрожденіе», «Умолкну скоро я», «Земля и Море», «Алексвеву», «Ч***ву», «Зачъмъ безвременную скуку», «Люблю вашъ сумракъ неизвъстный», и еще болъе пьесы: «Простишь ли ми'в ревнивыя мечты», «Ненастный день потухъ», «Ты вянешь и молчишь», «Къ морю», —вглядитесь и вслушайтесь въ этоть стихъ, въ этоть обороть мысли, въ эту игру чувства: во всемъ найдете чистую поэзію, безукоризненное искусство, полное художество безъ малъйшей примъси прозы, какъ старое кръпкое вино безъ малъйшей примъси воды. Въ пъкоторыхъ изъ нихъ вы можете придраться къ мысли, педостаточно глубокой, къ взгляду на вещи, слишкомъ юному, или слишкомъ отзывающемуся эпохой; но со стороны поэзін выраженія н поэзін созерцанія вамъ нечего будеть осудить. Сравните и эти пьесы съ произведеніями предшествовавшихъ Пушкину школъ русской поэзіи: между ними не будеть никакой связи; вы увидите совершенный перерывъ, если не возьмете въ соображение тъхъ пьесь Пушкина, которыя мы означили именемъ переходныхъ и о которыхъ говорили подробно въ предшествовавшей статьъ. Это не значить, чтобъ въ произведеніяхъ прежнихъ школь не было ничего примъчательнаго, или чтобъ они были вовсе лишены поэзіи: напротивъ, въ нихъ много примъчательнаго, и они исполнены поэзін, по есть безконечная разница въ характеръ ихъ поэзіи и характеръ поэзіи Пушкина. Произведенія прежнихъ школъ въ отношеніи къ произведеніямъ Пушкина - то же, что пародная пъспя, исполненная души и чувства, народнымъ напъвомъ пропътая простолюдиномъ, въ отношении къ лирической пъснъ поэта-художника, положенной на музыку великимъ композиторомъ и пропътой великимъ пѣвцомъ. Сравнимъ для доказательства пьесу замъчательнъйшаго изъ прежнихъ поэтовъ, «Пъсия» съ пьесой Пушкина «Несчастный день потухъ»:

О, милый другь, теперь съ тобою радость! А я одинь—и мой печаленъ путь; Живи, вкущай невинной жизни сладость; Въ душъ не измънись; достойна счастья будь... Но не отринь, въ толиъ плъняемыхъ тобою, Ты друга прежняго, увядшаго душою; Веселье ихъ дъли—ему отрадой будь; Его, мой другъ, не позабудь.

О, милый другь, намь рокь вельль разлуку;

Дни, мъсяцы и годы пролетять,

Вотще къ тебъ простру отъ сердца руку,—
Ни голосъ твой, ни взоръ меня не усладятъ;
Но и вдали съ тобой душа моя согласна,
Любовь ни времени, ни мъсту не подвластна;
Всегда, вездъ ты мой хранитель ангелъ будь,
Меня, мой другъ, не позабудь.
О, милый другъ, пусть будетъ прахъ холодный
То сердце, гдъ любовь къ тебъ жила:
Есть лучшій міръ; тамъ мы любить свободны;
Туда душа моя ужъ все перенесла;
Туда всечастное стремитъ меня желанье;
Тамъ свидимся опять: тамъ наше воздаянье;
Сей върой сладкою полна въ разлукъ будь—
Меня, мой другъ, не позабудь.

Чувство, составляющее наоось этого стихотворенія, лишено простоты и естественности, а слідовательно и истины; оно можеть быть напущено на человіка мечтательностью и поддерживаемо долгое время упрямствомь фантазіи; но и напущенное чувство, по странному противорічно человіческой природы, такъ же можеть быть источникомъ блаженства и страданія, какъ и чувство истинное. Подъ этимъ условіемъ мы охотно допускаемъ, что приведенное нами стихотвореніе, несмотря на его сантиментальность и отсутствіе всякой страсти, есть голось души, языкь сердца, краснорвчіе чувства; но оно—не поэзія. Его форма болве краснорвчива, чвмъ поэтична; въ его выраженіи, бользненно грустномъ и расплывающемся, есть что-то прозаическое, темное, лишенное мягкости и нвжности художественной отделки. А между твмъ это одно изъ лучшихъ произведеній старой школы русской поэзіи и въ свое время производило фуроръ. Теперь сравните его съ пьесой Пушкина, въ которой выражена та же мысль разлуки съ любимымъ предметомъ:

Ненастный день потухъ; ненастной ночи мгла По небу стелется одеждою свинцовой; Какъ привидъніе, за рощею сосновой

Луна туманная взошла...
Все мрачную тоску на душу мнѣ наводить!
Далеко тамъ луна въ сіяніи восходить;
Тамъ воздухъ напоенъ вечерней теплотой;
Тамъ море движется роскошной пеленой

Подъ голубыми небесами... Вотъ время: по горъ теперь идетъ она

Къ брегамъ потопленнымъ шумящими волнами;

Тамъ, подъ завѣтными скалами,
Теперь она сидитъ печальна и одна...
Одна...никто предъ ней не плачетъ, не тоскуетъ,
Никто ея колѣнъ въ забвеньи не џѣлуетъ;
Одна... ничьимъ устамъ она не предаетъ
Нн плечъ, ни влажныхъ устъ, ни персей бѣлоснѣжныхъ.

Никто ея любви небесной не достоинъ. Не правда-ль, ты одна... ты плачешь... я спокоенъ.

Здѣсь не то: въ паеосѣ стихотворенія столь- ко жизни, страсти, истины!.. Луна, восходящая

надъ сосновой рощей, напоминаетъ поэту другую луну, которая въ это томительное для его души время восходить далеко, тамъ, гдв природа такъ роскошно прекрасна, -- и поэтъ предается невольно мечтъ о ней, которая въ эту пору одна идеть къ берегу моря и садится подъ его скалами... Не ревность, а страсть, трепещущая за свое блаженство, заставляетъ его успокаивать себя мыслью, что опа-одна, и что ему должно быть спокойнымъ... И сколько жизни, какой эпергическій порывъ страсти высказывается въ словъ: «но если», отрывисто заключающемъ пьесу! Все это такъ просто, такъ естественно, во всемъ этомъ столько глубокой страсти, столько истины чувства... А форма? Какая легкость, какая прозрачность! На каждомъ стихъ, даже отдъльно взятомъ, такъ и виденъ слъдъ художническаго ръзца, оживлявшаго мраморъ!--Какая безконечная разнина!..

Чтобъ еще болѣе показать эту разницу (а это мы считаемъ особенно важнымъ и необходимымъ по смыслу статьи нашей), сдѣлаемъ еще сравненіе. Вотъ два куплета изъ лучшихъ въ большой и прекрасной пьесѣ Жуковскаго, принадлежащей уже къ позднѣйшему времени

его поэтической дъятельности:

О, наша жизнь, гдѣ вѣрны лишь утраты, Гдѣ милому мгновенье лишь дано, Гдѣ скорбь безъ крылъ, а радости крылаты, И гдѣ навѣкъ минувшее одно... Почто-жъ мы здѣсь мечтами такъ богаты, Когда мечтамъ не сбыться суждено? Внимая гласъ надежды, намъ поющей, Не слышимъ мы шаговъ бѣды грядущей.

Здъсь радости—не наше обладанье, Пролетные плънители земли, Лишь по пути заносять къ намъ преданье О благахъ, намъ объщанныхъ вдали; Земли жилецъ безвыходный страданье; Ему на часть судьбы насъ обрекли; Блаженство намъ по слуху лишь знакомецъ;

Земная жизнь-страданія питомецъ.

«Это уже не «напущенное» чувство: нътъ, это вонль страшно потрясенной души, это голосъ растерзаннаго, истекающаго кровью сердца, это чувство истинное и глубокое; но, несмотря на то, это опять-таки болъе красноръчіе, чъмъ поэзія. Стихъ тянется какъ-то тяжело и однообразно, во всей формъ этого стихотворенія есть что-то темное и не свободное, и, несмотря на видимую простоту, въ немъ слишкомъ замътно преобладаніе метафоры. Разумьется, мы говоримъ сравнительно, а не безусловно. Кто не знаетъ пьесы Пушкина «19-го октября»? Послъ обращеній къ каждому изъ отсутствующихъ друзей своихъ, поэтъ говоритъ:

Пируйте-же, пока еще мы туть!
Увы! нашь кругь чась оть часу ръдъеть:
Кто въ гробъ спить, кто дальній сиротьеть;
Судьба глядить, мы вянемь; дни бъгуть;
Невидимо склоняясь и хладъя,
Мы близимся къ началу своему...
Кому-жь изъ насъ подъ старость день лицея
Торжествовать прійдется одному—
Несчастный другь! средь новыхь покольній
Докучный гость и лишній, и чужой,
Онъ вспомнить насъ и дни соединеній,
Закрывъ глаза дрожацією рукой...

Какая глубокая и вмъстъ съ тъмъ свътлая скорбь! Каждая мысль сама по себъ такъ исполнена поэвін, независимо отъ формы, вполнъ художественной, легкой и прозрачной, простой и чуждой всякихъ метафоръ! Этотъ пережившій

всъхъ друзей своихъ другъ, докучный, лиший и чужой гость среди новыхъ поколъній, дрожащей рукой закрывающій глаза при воспоминаніи о своихъ друзьяхъ,—это не просто поэтическіе стихи, это—поэтическая картина! Но не въ духъ Пушкина остановиться на скорбномъ чувствъ: словно торжественнымъ музыкальнымъ аккордомъ оканчивается пьеса этими полными бодраго чувства стихами:

Пускай же онъ съ отрадой хоть печальной Тогда сей день за чашей проведеть, Какъ нынъ я, затворникъ вашъ опальной, Его провелъ безъ горя и заботъ.

Пушкинъ не даетъ судьбѣ побѣды надъ собой, онъ вырываетъ у ней хоть часть отнятой у него отрады. Какъ истинный художникъ, онъ владѣлъ этимъ инстинктомъ истины, этимъ тактомъ дѣйствительности, который на «эдѣсь» указывалъ ему, какъ на источникъ и горя, и утѣшенія, и заставлялъ его искать цѣленіе въ той же существенности, гдѣ постигла его болѣзнь. И, право, въ этой силъ, опирающейся на внутреннемъ богатствѣ своей патуры, болѣе вѣры въ Промыселъ и оправданія путей его, чѣмъ во всѣхъ заоблачныхъ порываніяхъ мечтательнаго романтизма.

Намъ скажуть, можеть быть, что мы сравнили между собою только по нѣскольку куплетовъ, вырванныхъ изъ большихъ пьесъ, а не цѣлыя пьесы. Выписка вполнѣ такихъ огромныхъ пьесъ была бы неумѣстна въ журнальной статьѣ; притомъ же пьесы эти должны быть слишкомъ извѣстны каждому образованному читателю. Кто хочетъ, пусть самъ сравнитъ ихъ въ цѣломъ: онъ тогда увидитъ еще яснѣе, что и въ цѣломъ огромное преимущество на сторонѣ пьесы Пушкина, потому что,

несмотря на ея значительную величину, она вездъ ровна, вездъ выдержана и какъ будто въ одну минуту, легко и свободно, излилась изъ взволнованной души поэта, -- между тъмъ какъ поэма Жуковскаго очень неровна, потому что не чужда мъстъ растянутыхъ, холодныхъ и вялыхъ, почему ее трудно прочесть заразъ. Первая пьеса это-арія, пропътая пъвцомъ, который вполнъ владъеть своимъ голосомъ, не даеть пропасть ни одной ноткъ, не ослабъетъ ни на одно мгновение отъ начала до конца арін... Вторая пьеса это—арія, пропътая мъстами превосходно, а мъстами холодно и даже фальшиво. Мы нарочно остановились на этомъ обстоятельствъ, потому что особенная принадлежность поэзіи Пушкина и одно изъ главивнихъ преимуществъ его передъ поэтами прежнихъ школъ-полнота, оконченность, выдержанность и стройность созданій. Поэзія чувства, поэзія естественная не отличается этимъ качествомъ: въ ней всегда видно усиліе высказать чувство, и оттого стройность и соразміврность исчезаеть въ плодовитости. Въ поэзін художественной -- соразмірность, стройность, полнота и ровность бывають уже естественнымъ слъдствіемъ творческой концепцін, художественной мысли, лежащей въ основанін поэтическаго произведенія. У Пушкина никогда не бываеть ничего лишняго, ничего недостающаго, но все въ мъру, все на своемъ мъсть, конецъ гармонируеть съ началомъ, прочитавъ его пьесу, чувствуещь, что отъ нея нечего убавить и къ ней нечего прибавить. И въ этомъ, какъ и во всемъ другомъ, Пушкинъ является по преимуществу художникомъ.

Какъ истинный художникъ, Пушкинъ не нуждался въ выборъ поэтическихъ предметовъ для своихъ произведеній, но для него всъ предметы были равно исполнены поэзіи. Его «Онъ-

гинъ» напримъръ есть поэма современной, дъйствительной жизни не только со всей ея поэзіей, но и со всей ея прозой, несмотря на то, что она писана стихами. Тутъ и благодатная весна, и жаркое лъто, и гнилая дождливая осень, и морозная зима; тутъ и столица, и деревня, и жизнь столичнаго денди, и жизнь мирныхъ помъщнковъ, ведущихъ между собою незанимательный разговоръ

О сънокосъ, о винъ, О псариъ, о своей родиъ;

туть и мечтательный поэть Ленскій, и тривіальный забіяка и сплетникъ Зарвцкій; то передъ вами прекрасное лицо любящей женщины, то сонная рожа трактирнаго слуги, отворяющаго, съ метлой въ рукъ, дверь кофейной, — и всв они, каждый по своему, прекрасны и исполнены поэзіи. Пушкину не нужно было ъздить въ Италію за картинами прекрасной природы: прекрасная природа была у него подъ рукой здъсь, на Руси, на ея плоскихъ однообразныхъ степяхъ, подъ ея въчно-сърымъ небомъ, въ ея печальныхъ деревняхъ и ея богатыхъ и бъдныхъ городахъ. Что для прежнихъ поэтовъ было низко, то для Пушкина было благородно; что для нихъ была проза, то для него была поэзія. Осень для него лучше весны нли лъта, и, читая эти стихи, вы не можете не согласиться съ нимъ по крайней мъръ на то время, пока не увидите его же картины весны или лфта:

Дни поздней осени бранять обыкновенно, Но мнв она мила, читатель дорогой: Красою тихою, блистающей смиренно, Какъ нелюбимое дитя въ семьв родной, Къ себвменя влечетъ. Сказать вамъ откровенно, Изъ годовыхъ временъ я радъ лишь ей одной; Въ ней много добраго, любовникъ не тщеславной,

Умълъ я отыскать мечтою своенравной. Какъ это объяснить? Мив нравится она, Какъ въроятно вамъ чахоточная дъва Порою правится. На смерть осуждена, Въдняжка клонится безъ ропота, безъ гнъва; Улыбка на устахъ увянувшихъ видна; Могильной пропасти она не слышить зѣва, Играетъ на лицъ еще багровый цвътъ, Она жива еще сегодня-завтра пътъ. Унылая пора! очей очарованье! Пріятна миж твоя прощальная краса. Люблю я пышное природы увяданье, Въ багреџъ и въ золото одътые дъса. Въ ихъ свияхъ вътра шумъ и свъжее дыханье, И мглой волнистою покрыты небеса, И різдкій солнца лучь, и первые морозы, И отдаленныя съдой зимы угрозы.

Русская зима лучше русскаго лѣта—этой «карикатуры южныхъ зимъ»: она нохожа на самое себя, тогда какъ наше лѣто столько же похоже на лѣто, сколько декораціонныя деревья въ театрѣ похожи на настоящія деревья въ лѣсу. Пушкинъ первый понялъ это и первый выразилъ. Его зима облита блескомъ роскошной поэзіи:

Морозъ и солице; день чудесный! Еще ты дремлешь, другъ прелестный. Пора, красавица, проснись: Открой сомкнуты иѣгой взоры, На встрѣчу сѣверной Авроры, Звѣздою сѣвера явись! Вечоръ, ты помнишь, вьюга злилась, На мутномъ небѣ мгла носилась; Луна, какъ блѣдное пятно, Сквозъ тучи мрачныя желтѣла.

И ты печальная сидвла-А нынче... погляди въ окно: Подъ голубыми небесами Великолфиными коврами, Влестя на солнцв, снвгъ лежитъ; Прозрачный лесь одинь чериветь, И ель сквозь иней зеленветь, И ръчка подо льдомъ блеститъ. Вся комната янтарнымъ блескомъ Озарена. Веселымъ трескомъ Трешитъ затопленная печь. Пріятно думать у лежанки. Но знаешь: не велъть ли въ санки Кобылку бурую запречь? Скользя по утреннему снъту, Другъ милый, предадимся бъгу Нетерпъливаго коня, И навъстимъ поля пустыя, Лѣса, недавно столь густые, И берегъ милый для меня.

Поэзія Пушкина удивительно върна русской дъйствительности, изображаеть ли она русскую природу, или русскіе характеры: на этомъ основаніи общій голось нарекь его русскимь національнымъ, народнымъ поэтомъ... Намъ кажется это только наполовину върнымъ. Народный поэть-тоть, котораго весь народъ знаеть, какъ напримъръ знаеть Франція своего Беранже; національный поэть—тоть, котораго знають всв сколько-нибудь образованные классы, какъ напримъръ пъмцы знають Гёте и Шиллера. Нашъ народъ не знаеть ни одного своего поэта; онъ поетъ себъ доселъ «Не бълы то снъжки», не подозръвая даже того, что поеть стихи, а не прозу... Следовательно съ этой стороны смъшно было бы и говорить объ эпитетъ «народный» въ примъненіи къ Пушкину, или къ какому бы то ни было

поэту русскому. Слово «національный» еще общирнъе въ своемъ значеніи, чъмъ «народный». Подъ «народомъ» всегда разумъють массу народонаселенія, самый низшій и основной слой государства. Подъ «націей» разумьють весь народь, всв сословія, оть низшаго до высшаго, составляющія государственное тъло. Національный поэть выражаеть въ своихъ твореніяхъ и основную, безразличную, неуловимую для опредъленія субстанціальную стихію, которой представителемь бываеть масса народа, и опредъленное значение этой субстанціальной стихін, развившейся въ жизни образованнъйшихъ сословій націи. Національный поэть—великое дъло! Обращаясь къ Пушкину, мы скажемъ, по поводу вопроса о его національности, что онъ не могъ не отразить въ себъ географически и физіологически народной жизни, ибо быль не только русскій, но притомъ русскій, надъленный отъ природы гепіальными силами; однакожъ въ томъ, что называють народностью или національностью его поэзіи, мы больше видимъ его обыкновенно великій художническій такть. Онь въ высшей степени обладаль этимъ тактомъ дъйствительности, который составляеть одну изъ главныхъ сторонъ художника. Прочтите его чудную драматическую поэму «Русалка»: она вся насквозь проникнута истинностью русской жизни; прочтите его тоже чудную драматическую поэму «Каменный гость»: она и по природъ страны, и по нравамъ своихъ героевъ такъ и дышетъ воздухомъ Испаніи; прочтите его «Египетскія ночи»; вы будете перенесены въ самое сердце жизни издыхающаго древняго міра... Такихъ примъровъ удивительной способности Пушкина быть какъ у себя дома во многихъ и самыхъ противоположныхъ сферахъ жизни мы могли бы привести много, но довольно и этихъ

трехъ. И что же это доказываеть, если не его художническую многосторонность? Если онъ съ такой истиной рисовалъ природу и нравы даже никогда невиданныхъ имъ странъ, какъ же бы его изображенія предметовъ русскихъ не отличались върностью природъ? Чтобы изслъдовать основательные этотъ вопросъ, мы считаемъ нужнымъ сдълать довольно большую выписку изъ статьи Гоголя «Нъсколько словъ о Пушкинъ»:

«При имени Пушкина тотчасъ осфияетъ мысль о русскомъ національномъ поэтв. Въ самомъ дълъ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болъе назваться національнымъ; это право решительно принадлежитъ ему, Въ немъ, какъ будто въ лексиконъ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болве всвхъ, онъ далве раздвинулъ ему границы и болъе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и можеть быть единственное явленіе русскаго духа: это русскій человікь въ его развитін, въ какомъ онъ можетъ быть явится чрезъ двъсти лътъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистоть, въ такой очищенной красотв, въ какой отражается ландшафть на выпуклой поверхности оптическаго стекла.

«Самая его жизнь,—совершенно русская. Тоть же разгуль и раздолье, къ которому иногда позабывшись стремится русскій и которое всегда нравится свѣжей русской молодежи, отразились на его первобытныхъ годахъ вступленія въ свѣть.—Судьба, какъ нарочно, забросила его туда, гдѣ границы Россіи отличаются рѣзкой, величавой характерностью; гдѣ гладкая неизмѣримость Россіи переры-

вается подъ-облачными горами и обвъвается югомъ. Исполнискій, покрытый въчнымъ снъгомъ, Кавказъ среди знойныхъ долинъ поразиль его; онь, можно сказать, вызваль силу души его и разорвалъ последнія цепи, которыя еще тяготъли на свободныхъ мысляхъ. Его пленила вольная поэтическая жизнь дерзкихъ горџевъ, ихъ схватки, ихъ быстрые, неотразимые набъги; и съ этихъ поръ кисть его пріобръла тотъ широкій размахъ, ту быстроту и смълость, которая такъ давила и поражала только что начинавшую читать Россію. Рисуеть ли онъ боевую схватку чеченца съ казакомъслогъ его молнія; онъ такъ же блешеть, какъ сверкающія сабли и летить быстръе самой битвы. Онъ одинъ только певецъ Кавказа; онъ влюбленъ въ него всей душой и чувствами; онъ проникнуть и напитанъ его чудными окрестностями, южнымъ небомъ, долинами прекрасной Грузіи и великол'єпными крымскими ночами и садами. Можетъ быть оттого и въ своихъ твореніяхъ онъ жарче и пламеннъе тамъ, гдъ душа его коснулась юга. На нихъ онъ невольно означилъ всю силу свою, и оттого произведенія его, напитанныя Кавказомъ, волей черкесской жизни и ночами Крыма, имъли чудную магическую силу: имъ изумлялись даже тв, которые не имъли столько вкуса и развитія душевныхъ способностей, чтобы быть въ силахъ понимать его. Смелое более всего доступно, сильнъе и просторнъе раздвигаетъ душу, а особливо юности, которая все еще жаждеть одного необыкновеннаго. Ни одинъ поэть въ Россіи не имълъ такой завидной участи, какъ Пушкинъ. Ничья слава не распространилась такъ быстро. Всв кстати и некстати считали обязанностью проговорить, а иногда исковеркать какіе-нибудь ярко сверкающіе отрывки его поэмъ. Его имя уже имъло

въ себъ что-то электрическое и стоило только кому-нибудь изъ досужихъ марателей выставить его на своемъ твореніи, уже оно расходилось повсюду.

«Онъ при самомъ началъ своемъ уже былъ націоналенъ, потому что истинная національность состоить не въ описанін сарафана, но въ самомъ духв народа. Поэтъ даже можетъ быть и тогда націоналень, когда описываеть совершенно сторонній мірь, но глядить на него глазами своей націопальной стихін, глазами всего народа, когда чувствуетъ и говоритъ такъ, что соотечественникамъ его кажется будто это чувствують и говорять они сами. Если должно сказать отъхъ достоинствахъ, которыя составляють принадлежность Пушкина, отличающую его отъ другихъ поэтовъ, то они заключаются въ чрезвычайной быстротв описанія и въ необыкновенномъ искусствъ немногими чертами означить весь предметь. Его эпитетъ такъ отчетистъ и смълъ, что иногда одинъ замѣняетъ цѣлое описаніе; кисть его летаетъ. Его небольшая пьеса всегда стоитъ цалой поэмы. Врядъ ли о комъ изъ поэтовъ можно сказать, чтобы у него въ коротенькій пьесъ вмъщалось столько величія, простоты и силы, сколько у Пушкина.

«Но последнія его поэмы, писанныя имъ въ то время, когда Кавказъ скрылся отъ него со встить своимъ грознымъ величіемъ и державно возносящейся изъ-за облакъ вершиной, и онъ погрузился въ сердце Россін, въ ея обыкновенныя равнины, предался глубже изследованію жизни и нравовъ своихъ соотечественниковъ н захотълъ быть вполнт національнымъ поэтомъ, —его поэмы уже не всъхъ поразили той яркостью и ослепительной смелостью, какими дышеть у него все, гдв ни являются Эльбрусь,

горцы, Крымъ и Грузія.

«Явленіе это, кажется, не такъ трудно разръшить: будучи поражены смълостью кисти и волшебствомъ картинъ, всъ читатели его, образованные и необразованные, требовали наперерывъ, чтобы отечественныя и историческія происшествія являлись предметомъ его поэзін, позабывая, что нельзятьмиже красками, которыми рисуются горы Кавказа и его вольные обитатели, изобразить болве спокойный и гораздо менъе исполненный страстей бытъ русскій. Масса публики, представляющая въ лиџв своемъ націю, очень странна въ своихъ желаніяхъ; она кричить: «изобрази насъ такъ, какъ мы есть, въ совершенной истинъ; представь дела нашихъ предковъ въ такомъ виде, какъ они были». Но попробуй поэтъ, послушный ея велвнью, изобразить все въ совершенной истинъ и такъ, какъ было, она тотчасъ заговорить: «это вяло, это слабо, это не хорошо, это ни мало не похоже на то, что было». Масса народа похожа въ этомъ случав на женіцину, приказывающую художнику нарисовать съ себя портреть совершенно похожій, но горе ему, если онъ не умълъ скрыть всъхъ ея недостатковъ. Русская исторія только со времени последняго ея направленія при императорахъ пріобратаеть яркую живость; до того характерь народа большей частью быль безцвътень; разнообразіе страстей ему мало было извъстно. Поэть не виновать; но и въ народъ тоже весьма извинительное чувство придать большій размъръ дъламъ своихъ предковъ. Поэту оставалось два средства: или натянуть, сколько можно выше, свой слогь, дать силу безсильному, говорить съ жаромъ о томъ, что само въ себв не сохраняеть сильнаго жара, тогда толпа почитателей, толпа народа на его сторонъ, а вмъстъ съ нимъ и деньги; или быть вфрну одной истинф, быть высокимъ тамъ, гдъ высокъ предметъ,

быть ръзкимъ и смълымъ, гдъ истинио ръзкое и смелое, быть спокойнымъ и тихимъ, где не кипить происшествіе. Но въ этомъ случав прощай толпа! ея не будеть у него, развъ когда самый предметь, изображаемый имъ, уже такъ великъ и ръзокъ, что не можетъ не произвесть всеобщаго энтузіазма. Перваго средства не нзбралъ поэтъ, потому что хотълъ остаться поэтомъ и потому что у всякаго, кто только чувствуетъ въ себъ искру святого призванія, есть тонкая разборчивость, не позволяющая ему выказать свой таланть такимъ средствомъ. Никто не станеть спорить, что дикій гореџъ въ своемъ воинственномъ костюмъ, вольный какъ воля, самъ себѣ и судья, и господинъ, гораздо ярче какого-нибудь засъдателя, и несмотря на то, что онъ заръзалъ своего врага, притаясь въ ущельъ, или выжегъ цълую деревню, однако же онъ болъе поражаеть, сильнъе возбуждаетъ въ насъ участіе, нежели нашъ судья въ истертомъ фракъ, запачканномъ табакомъ, который невиннымъ образомъ, посредствомъ справокъ и выправокъ, пустилъ по міру множество всякаго рода крѣпостныхъ и свободныхъ душъ. — Но тотъ или другой — они оба явленія, принадлежащія къ нашему міру: они оба должны имъть право на наше вниманіе, хотя по естественной причинъ то, что мы ръже видимъ, всегда сильнъй поражаетъ наше воображеніе, и предпочесть необыкновенному обыкновенное есть не больше, какъ неразсчетъ поэта, неразсчетъ предъ его многочисленной публикой, а не передъ собой. Онъ ничуть не теряетъ своего достоинства, даже можетъ быть еще болье пріобрътаеть его, но только въ глазахъ немногихъ истинныхъ цвнителей. Мнв пришло на память одно происшествіе изъ моего дътства. Я всегда чувствовалъ маленькую страсть къ живописи. Меня много занималъ

писанный мною пейзажь, на первомъ планъ котораго раскидывалось сухое дерево. Я жилъ тогда въ деревив; знатоки и судьи мои были окружные соседи. Одинъ изъ нихъ, взглянувши на картину, покачалъ головой и сказалъ: хорошій живописець выбираеть дерево рослое, хорошее, на которомъ бы и листья были свъжіе, хорошо растущее, а не сухое. Въ дътствъ мнъ казалось досадно слышать такой судъ, но послъ я изъ него извлекъ мудрость: знать, что нравится и что не нравится толпъ. Сочиненія Пушкина, гдъ дышетъ у него русская природа, такъ же тихи и безпорывны, какъ русская природа. Ихъ только можетъ совершенно понимать тоть, чья душа носить въ себъ чисто русскіе элементы, кому Россія родина, чья душа такъ нъжно организована и развилась въ чувствахъ, что способна понять не блестящія съ виду русскія пъсни и русскій духъ, потому что чемъ предметь обыкновениее, темъ выше нужно быть поэту, чтобы извлечь изъ него необыкновенное, и чтобы это необыкновенное было между прочимъ совершенная истина. По справедливости ли оџвнены послвднія его поэмы? Опредълилъ-ли, понялъ-ли кто «Бориса Годунова», это высокое, глубокое произведеніе, заключенное во внутренней неприступной поэзіи, отвергнувшее всякое грубое, пестрое убранство, на которое обыкновенно заглядывается толпа?-по крайней мфрф печатно нигдъ не произнеслась имъ върная оџънка и онъ остались донынъ не тронуты».

Все это очень справедливо, особенно опредъление національнаго поэта: «Поэть даже можеть быть и тогда національнымь, когда описываеть совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ,

что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами». И, если хотите, съ этой точки эрвнія Пушкинъ болве національно-русскій ноэть, нежели кто-либо изъ его предшественниковъ; но двло въ томъ, что нельзя опредвлить, въ чемъ же состоить эта національность. Въ томъ, что Пушкниъ чувствоваль и писалъ такъ, что его соотечественникамъ казалось, будто это чувствують и говорять они сами. Прекрасно! Да какъ же чувствують и говорять они? Чвмъ отличается ихъ способъ чувствовать и говорить отъ способа другихъ націй?.. Вотъ вопросы, на которые не можеть дать отвъта настоящее, ибо Россія по преимуществу—страна будущаго...

Обращаясь снова къ нашей мысли о художественности, какъ преобладающемъ паеосѣ поэзін Пушкина, замѣтимъ еще его удивительную способность дѣлать поэтическими самые прозаическіе предметы. Что, напримѣръ, можеть быть прозаичнѣе выѣзда въ саняхъ моднаго франта въ сюртукѣ съ бобровымъ воротникомъ? Но у Пушкина это—поэтическая картина:

Ужь темно; въ санки онь садится: «Пади! пади»! раздался крикъ; Морозной пылью серебрится Его бобровый воротникъ.

Или что можеть быть прозаичные такой мысли, что-де въ городы не было мостовой и всы тонули въ грязи, но что уже въ немъ начали дылать мостовую? Страшно и подумать втискать такую мысль въ стихъ! Но Пушкинъ этого не побоялся, и у него вышла поэтическая картина въ прекрасныхъ поэтическихъ стихахъ:

Въ году недъль пять-шесть Одесса, По волъ бурнаго Зевеса,

Потоплена, запружена.
Въ густой грязи погружена,
Всѣ домы на аршинъ загрязнутъ,
Лишь на ходуляхъ пѣшеходъ
По улиџѣ дерзаетъ вбродъ;
Кареты, люди тонутъ, вязнутъ,
И въ дрожкахъ волъ, рога склоня,
Смѣняетъ хилаго коня.
Но ужъ дробитъ каменья молотъ,
И скоро звонкой мостовой
Покроется спасенный городъ,
Какъ-будто кованой броней.

Для Пушкина также не было такъ называемой низкой природы; поэтому онъ не затруднялся никакимъ сравнені мъ, никакимъ предметомъ, бралъ первый попавшійся ему подъ руку, и все у него являлось поэтическимъ, а потому прекраснымъ и благороднымъ. Какъ хорошо напримъръ это, взятое изъ низкой природы, сравненіе:

Стократь блажень, кто предань върв, Кто, хладный умь угомонивь, Поконтся въ сердечной нъгъ, Какъ пъяный путникъ на ночлегъ:

Или какъ прекрасна у него воть эта «низкая природа»:

Иныя нужны мив картины: Люблю песчаный косогорь, Передъ избушкой двв рябины, Калитку, сломанный заборъ, На небв свренькія тучи, Передъ гумномъ соломы кучи, Да прудъ подъ свнью липъ густыхъ—Раздолье утокъ молодыхъ; Теперь мила мив балалайка Да пьяный топотъ трепака

Передъ порогомъ кабака; Мой идеалъ теперь—хозяйка, Мои желанія—покой, Да щей горшокъ, да самъ большой...

Тоть еще не художникъ, котораго поэзія трепещеть и отвращаеть прозы жизни, кого могуть вдохновлять только высокіе предметы. Для истиннаго художника—гдв жизнь, тамъ и поэзія.

Таланть Пушкина не быль ограничень тъсной сферой одного какого-нибудь рода поэзін: превосходный лирикъ, онъ уже готовъ былъ сдълаться превосходнымъ драматургомъ, какъ внезапная смерть остановила его развитіе. Эпическая поэзія также была свойственнымъ его таланту родомъ поэзін. Въ послъднее время своей жизни опъ все болъе и болъе наклонялся къ драмъ и роману и по мъръ того отдалялся оть лирической поэзін. Равнымъ образомъ онъ тогда часто забывалъ стихи для прозы. Это самый естественный ходъ развитія великаго поэтическаго таланта въ наше время. Лирическая поэзія, обнимающая собой міръ ощущеній и чувствъ, съ особенной силой киплинхъ въ молодой груди, становится тесной для мысли возмужалаго человъка. Тогда она дълается его отдыхомъ, его забавой между дъломъ. Дъйствительность современнаго намъ міра полнте, глубже и шире въ романѣ и драмѣ.—О поэмахъ и драматическихъ опытахъ Пушкина мы будемъ говорить въ следующей статье, а теперь остановимся на его лирическихъ произведеніяхъ.

Пушкина ивкогда сравинвали съ Байрономъ. Мы уже не разъ замвчали, что это сравнение болве чвмъ ложно, ибо трудно найти двухъ поэтовъ, столь противоположныхъ по своей натурв, а следовательно и по паеосу своей поэзіи.

какъ Байронъ и Пушкинъ. Мнимое сходство это вышло изъ ошибочнаго понятія о личности Пушкина. Зная кипучую, разгульную, исполненную тревогь и бъдъ его юность, думали видъть въ немъ духъ гордый, неукротимый, титаническій. Основываясь на какомъ-нибудь десяткъ ходившихъ по рукамъ его стихотвореній, исполненныхъ громкихъ и смълыхъ, но тъмъ не менъе неосн вательныхъ и поверхностныхъ фразъ, думали видъть въ немъ поэтическаго трибуна. Нельзя было болъе ошибиться во мнъніи о человъкъ! Въ тридцать лътъ Пушкинъ распрощался съ тревогами своей кипучей юности не только въ стихахъ, но и на дълъ. Надъ «рукописными» своими стишками онъ потомъ самъ смвялся. Но все это въ сторону; главное дъло въ томъ, что натура Пушкина (и въ этомъ случав самое вврное свидвтельство есть его поэзія) была внутренняя, созерцательная, художническая. Пушкинъ не зналъ мукъ и блаженства, какія бывають следствіемь страстно деятельнаго (а не только созерцательнаго) увлеченія живой могучей мысли, въ жертву которой приносится и жизнь, и таланть. Онъ не принадлежаль исключительно ни къ какому ученію, ни къ какой доктринъ; въ сферъ своего поэтическаго міросозерцанія онь, какъ художникъ по преимуществу, былъ гражданинъ вселенной, и въ самой исторіи, такъ же, какъ и въ природѣ, видълъ только мотивы для своихъ поэтическихъ вдохновеній, матеріалы для своихъ творческихъ концепцій. Почему это было такъ, а не иначе, и къ достоинству или недостатку Пушкина должно это отнести? Если-бъ его натура была другая, и онъ шелъ по этому несвойственному ей пути, то безъ сомнънія это было бы въ немъ больше, чемъ недостаткомъ; но какъ онъ въ этомъ отношении былъ только въренъ своей натуръ, то за это его такъ же нельзя хвалить или порицать, какъ одного нельзя хвалить или по-

рицать за то, что у него черные, а не русые волосы, и другого за то, что у него русые, а не

черные.

Лирическія произведенія Пушкина въ особенности подтверждають нашу мысль о его личности. Чувство, лежащее въ ихъ основаніи, всегда такъ тихо и кротко, несмотря на его глубокость, и вмаста съ тамъ такъ человачно, гуманно! И оно всегда проявляется у него въ формъ, столь художнически спокойной, столь граціозной! Что составляеть содержаніе мелкихъ пьесъ Пушкина? Почти всегда любовь и дружба, какъ чувства, наиболъе обладавшія поэтомъ и бывшія непосредственнымъ источникомъ счастія и горя всей его жизни. Онъ ничего не отрицаеть, ничего не проклинаеть, на все смотрить съ любовью и благословеніемъ. Самая грусть его, несмотря на ея глубину, какъ-то необыкновенно свътла и прозрачна; она умиряеть муку души и цълить раны сердца. Общій колорить поэзін Пушкина и въ особенности лирической-внутренияя красота человъка и лельющая душу гуманность. Къ этому прибавимъ мы, что если всякое человъческое чувство уже прекрасно по тому самому, что оно человъческое (а не животное), то у Пушкина всякое чувство еще прекрасно, какъ чувствој изящное. Мы здась разумаемъ не поэтическую форму, которая у Пушкина всегда въ высшей степени прекрасна; нъть, каждое чувство, лежащее въ основанін каждаго его стихотворенія, изящно, граціозно и виртуозно само по себъ: это не просто чувство человъка, но чувство человъка-художника, человъка-артиста. Есть всегда что-то особенно благородное, кроткое, ивжное, благоуханное и граціозное во всякомъ чувствъ Пушкина. Въ этомъ отношенін, читая его творенія, можно превосходнымъ образомъ воспитать въ себъ человъка, и такое чтеніе особенно полезно

для молодыхъ людей обоего пола. Ни одинъ изъ русскихъ поэтовъ не можеть быть столько, какъ Пушкинъ, воспитателемъ юношества, образователемъ юнаго чувства. Поэзія его чужда всего фантастического, мечтательного, ложного, призрачно-идеальнаго; она вся проинкнута насквозь действительностью; она не кладеть на лицо жизни бълилъ и румянъ, по показываеть ее въ ея естественной, истипной красотъ; въ поэзіи Пушкина есть небо, но имъ всегда проникнута земля. Поэтому поэзія Пушкина не опасна юношеству, какъ поэтическая ложь, разгорячающая воображеніе, пожь, которая ставить человъка во враждебныя отношенія съ дъйствительностью при первомъ столкновеніи сь ней, и заставляеть безвременно и безплодно нстощать свои силы на гибельную съ ней борьбу. И при всемъ этомъ, кромъ высокаго художественнаго достоинства формы, такое артистическое изящество человъческаго чувства! Нужны ли доказательства въ подтверждение нашей мысли?-Почти каждое стихотвореніе Пушкина можеть служить доказательствомъ. Если-бъ мы захотъли прибъгнуть къ выпискамъ, имъ не было бы конца. Намъ стоило бы только поименовать цълый рядъ стихотвореній; но, чтобъ мысль наша имъла надъ читателемъ убъждающую силу живого впечатленія, выпишемъ здёсь пъсколько пьесъ совершенно различнаго тона и содержанія.

Ты вянешь и молчишь; печаль тебя снъдаеть; На дъвственныхъ устахъ улыбка замираетъ. Давно твоей иглой узоры и цвъты Не оживлялися. Безмолвно любишь ты Грустить. О, я знатокъ въ дъвической печали! Давно глаза мон въ душъ твоей читали. Любви не утаишь: мы любимъ, и какъ насъ, Дъвицы нъжныя, любовь волнуетъ васъ.

Счастливы юноши! Но кто, скажи, межъ ними, Красавецъ молодой съ очами голубыми, Съ кудрями черными? Краснѣешь?.. Я молчу, Но знаю, знаю все; и если захочу, То назову его. Не онъ ли вѣчно бродитъ Вкругъ дома твоего и взоръ къ окну возводитъ? Ты втайнѣ ждешь его. Идетъ, и ты бѣжишь, И долго вслѣдъ за инмъ, незримая, глядищь. Никто на праздникѣ блистательнаго мая, Межъ колесницами роскошными летая, Никто изъ юношей свободнѣй и смѣлѣй Не властвуетъ конемъ по прихоти своей.

Это сама прелесть, сама грація, полная души и нѣжности, страстная и «плѣнительная», выражаясь любимымъ эпитетомъ Пушкина! Ни у какого другого русскаго поэта не найдете вы стихотворенія, въ которомъ бы такъ счастливо сочетались изящно-гуманное чувство съ пластически изящной формой.

Когда любовію и нѣгой упоенный, Безмолвно предъ тобой колфнопреклоненный Я на тебя глядълъ и думалъ: ты моя, Ты знаешь, милая, желаль ли славы я; Ты знаешь: удаленъ отъ вътренаго свъта, Скучая суетнымъ прозваніемъ поэта, Уставъ отъ долгихъ бурь, я вовсе не внималъ Жужжанью дальнему упрековъ и похвалъ. Могли-ль меня молвы тревожить приговоры, Когда, склонивъ ко мив томительные взоры И руку на главу мив тихо наложивъ, Шептала ты: скажи, ты любишь, ты счастливъ? Другую, какъ меня, скажи, любить не будешь? Ты никогда, мой другъ, меня не позабудешь? А я стъсненное молчание хранилъ, Я наслажденіемъ весь полонъ быль, я мниль, Что нътъ грядущаго, что грозный день разлуки Не придетъ никогда... И что же? Слезы, муки,

Измѣны, клевета, все на главу мою Обрушилося вдругъ... Что я? гдѣ я? Стою, Какъ путникъ, молніей постигнутый въ пустынѣ,

И все передо мной затмилося! И нынѣ Я новымъ для меня желаніемъ томимъ: Желаю славы я, чтобъ именемъ монмъ Твой слухъ былъ пораженъ всечасно; чтобъ ты мною

Окружена была; чтобъ громкою молвою Все, все вокругъ тебя звучало обо мив, Чтобъ, гласу вврному внимая въ тишинв, Ты помнила мои послъднія моленья Въ саду во тьмъ ночной, въ минуту разлученья.

Это чувство юноши; по воть оно же—уже чувство человъка возмужалаго,—и въ немъ та же трогающая душу гуманность, та же артистическая прелесть:

Я васъ любилъ: любовь еще, быть можетъ, Въ душт моей угасла не совствиъ; Но пусть она васъ больше не тревожитъ; Я не хочу печалить васъ ничт васъ ничтъ. Я васъ любилъ безмолвно, безнадежно, То робостью, то ревностью томимъ; Я васъ любилъ талъ искренно, такъ нт нт. Какъ дай вамъ Богъ любимой быть другимъ.

Наконецъ это изящно гуманное чувство отзывается чъмъ-то благоуханно-святымъ въ испытанномъ, но не побъжденномъ жизнью поэтъ:

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу Волненіямъ любви безумно предаваться! Спокойствіе свое я строго берегу И сердџу не даю пылать и забываться. Нѣтъ, полно мнѣ любить. Но почему-жъ порой Не погружуся я въ минутное мечтанье,

Когда нечаянно пройдеть передо мной Младое, чистое, небесное созданье,— Пройдеть и скроется? Уже-ль не можно мнѣ Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ Благословлять ее на радость и на счастье, И сердџемъ ей желать всѣ блага жизни сей: Веселья, миръ души, безпечные досуги, Все—даже счастіе того, кто избранъ ей, Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги?..

Кромъ уже поименованныхъ и частью выписапныхъ нами самобытныхъ пьесъ изъ первой части, перечтите тоже следующія, которыя поименуемъ мы теперь въ хронологическомъ порядкъ: «Сожженное письмо». «Я помию чудное мгновенье», «Зимияя дорога», «Отвътъ Ө. Т***» «Ангелъ», «Соловей», «Близъ мъстъ, гдъ царствуетъ Венеція златая», «Наперсникъ», «Предчувствіе», «Цв'ьтокъ», «Не пой, красавица, при мив», «Городъ пышный, городъ бъдный», «Птичка», «Иностранкъ», «На холмахъ Грузін лежить почная тѣнь», «Не плѣняйся бранной славой», «Повдемъ, я готовъ», «Когда твои младыя лъта», «Зима, что дълать намъ въ деревнъ?», «Калмычкъ», «Что въ имени тебъ моемъ?», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Отвътъ Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Цыгане», «Мадонна», «Зимній вечеръ», «Каковъ я прежде былъ, таковъ и пынѣ я», «Анчаръ», «Подъѣзжая подъ Ижоры», «Примѣты», «Красавица» (въ альбомъ Г***), «Признаніе» (къ Александръ Иваповнъ О-й), «Желаніе», «Пажъ или пятнадцатилътній король», «Ея глаза», «Разставаніе», «Романсъ», («Предъ испанкой благородной»), «Последніе цветы», «Кто знаеть край, где небо блещеть». Здъсь не названа только «Разлука» («Дл. береговъ отчизны дальной»),—не названа для того, чтобъ сказать, что едва ли граціозногуманная муза Пушкина создавала что-нибудь

благоуханиве, чище, святве и вмвств съ твмъ изящиве этого стихотворенія и по чувству, и по

dopm's.

Какъ на послъднее доказательство преобланія въ Пушкин в художественнаго элемента надъ встми другими, какъ доказательство, что онъ, взявшись за неро, по волъ или по неволъ уже не могь не быть художникомъ даже въ свътскомъ комплиментъ, въ привътствіи, возложенномъ приличіемъ, указываемъ на пьесы: «Баратынскому изъ Бессарабін», «Примите Невскій Альманахъ», «Княгинъ З. А. Волконской», «Отвъть Катенину», «И. В. С***», «Отвъть А. И. Готовцевой», «Е. Н. У***вой», «Сътованіе», «А. Д. Баратынской», «Д. В. Давыдову» (при посылкъ исторіи Пугачевскаго бунта), «Къ женщинъ поэту», «В. С. Φ^{***} » (при полученіи поэмы его) «Въ альбомъ» («Долго сихъ листовъ завът-Hыхъ»).

Мы сказали, что чтеніе Пушкина полжно сильно дъйствовать на воспитаніе, развитіе и образованіе изящно-гуманнаго чувства въ человъкъ. Да; не во гнъвъ будь сказано нашимъ литературнымъ старовърамъ, нашимъ сухимъ моралистамъ, нашимъ черствымъ, анти-эстетическимъ резонерамъ, никто, ръшительно никто изъ русскихъ поэтовъ не стяжалъ себъ такого неоспоримаго права быть воспитателемъ и юныхъ, и возмужалыхъ, и даже старыхъ (если въ нихъ было и еще не умерло зерно эстетическаго и человъческаго чувства) читателей, какъ Пушкинъ, потому что мы не знаемъ на Руси болъе нравственнаго, при великости таланта, поэта, какъ Пушкинъ. Старовъры еще не могуть забыть-кто Ломоносова, кто Сумарокова, кто того, кто другого. Что касается до моралистовъ и резонеровъ (между которыми много найдете людей ограниченныхъ, хотя и добрыхъ и даже благонамъренныхъ, но еще

болъе фарисеевъ и тартюфовъ), -- опи, ратуя Пушкина, какъ безправственнаго противъ поэта, обыкновенно любять ссылаться или на шаловливыя въ эротическомъ родъ произведенія его юности и на поэму «Русланъ и Людмила», не чуждую многихъ поэтическихъ вольностей, или на стихотворенія-«Демонъ», «Даръ напрасный, даръ случайный». Но перваго опи не ставять же въ вину Державину-автору «Мельника» и многихъ довольно вольныхъ анакреонтическихъ стихотвореній, ибо, несмотря на нихъ, считають его въ высшей степени «нравственнымъ» поэтомъ. Равнымъ образомъ, восхищаяся «Душенькой» Богдановича, они тоже не думають находить ее «безиравственной». Чемъ же Пушкинъ виновать передъ ними?-Этого они сами не понимають, и потому оставимъ ихъ въ поков... Относительно же «Демона» мы еще будемъ говорить о томъ, что Пушкинскій демонъ не изъ самыхъ опасныхъ, и что это-скоръе чертенокъ, нежели чортъ. Прибавимъ къ этому только, что и не будучи демоническимъ поэтомъ, Пушкинъ имълъ право и не могъ не знать иногда муки сомнвнія: ибо этой муки совершенно чужды только патуры мелкія, ничтожныя, сухія и мертвыя. Пьеса «Даръ напрасный, даръ случайный» есть не что иное, какъ порождение одной изъ тъхъ тяжелыхъ минуть правственной апатін и душевнаго отчаянія, которыя неизбъжны, какъ минуты, для всякой живой и сильной натуры; но она отнюдь не есть выражение павоса Пушкинской поэзіи, а скорфе-случайное противорфчіе павосу его поэзіи. Призваніе Пушкина, характеръ и направление его поэзіи гораздо болъе выразкаются въ этомъ стихотвореніи:

Въ часы забавъ, иль праздной скуки. Вывало лиръ я моей

Ввърялъ изпъженные звуки Безумства, лени и страстей. Но и тогда струны лукавой Невольно звонъ я прерывалъ, Когда твой голосъ величавой Меня внезапно поражалъ. Я лиль потоки слезь нежданныхъ; И ранамъ совъсти моей Твоихъ ръчей благоуханныхъ Отраденъ чистый быль елей. И нынъ съ высоты духовной Мнъ руку простираешь ты, И силой кроткой и любовной Смиряешь буйныя мечты. Твоимъ огнемъ душа палима, Отвергла мракъ земныхъ суетъ, И внемлеть арфъ серафима Въ священномъ ужасъ поэтъ.

Такъ какъ поэзія Пушкина вся заключается преимущественно въ поэтическомъ созерцанін міра, и такъ какъ она безусловно признаетъ его настоящее положение, если не всегда утвшительнымъ, то всегда необходимо-разумнымъ-поэтому она отличается характеромъ болъе созерцательнымъ, нежели рефлектирующимъ, выказывается болве, какъ чувство, илн какъ созерцаніе, нежели какъ мысль. Вся насквозь проникнутая гуманностью, муза Пушкина умфетъ глубоко страдать отъ диссонансовъ и противоръчій жизни; по она смотрить на шихъ съ какимъ-то самоотрицаніемъ (resignatio), какъ бы признавая ихъ роковую неизбъжность и не нося въ душъ своей идеала лучшей дъйствительности и въры въ возможность его осуществленія. Такой взглядь на мірь вытекаль уже изъ самой натуры Пушкина; этому взгляду обязанъ Пушкинъ изящной елейностью, кротостью, глубиной и возвышен-

ностью своей поэзіи, и въ этомъ же взглядъ заключаются недостатки его поэзіи. Какъ бы то ни было, но по своему воззрѣнію Пушкинъ принадлежить къ той школъ искусства, которой пора уже миновала совершенно въ Европъ. и которая даже у насъ не можетъ произвести ни одного великаго поэта. Духъ анализа, неукротимое стремление изследования, страстное, полное вражды и любви мышленіе сдълались теперь жизнью всякой истинной поэзіи. Воть въ чемъ время опередило поэзію Пушкина и большую часть его произведеній лишило того животрепещущаго интереса, который возможень только какь удовлетворительный отвъть на тревожные, бользненные вопросы настоящаго. Эту мысль мы полнте и ясите разовьемъ въ стать в о Лермонтов в, въ которой постоянно будемъ имъть въ виду сравнение обоихъ этихъ поэтовъ.

Въ стихотвореніи «Чернь» заключается художническое profession de foi Пушкина. Онт презираеть чернь, и на ея приглашеніе—исправлять ее звуками лиры, отвъчаетъ словами, полными благородной гордости и энергическаго негодованія:

Подту мирному до васъ?
Въ развратъ каменъйте смъло:
Не оживитъ васъ лиры гласъ;
Душъ противны вы, какъ гробы.
Для вашей глупости и злобы
Имълн вы до сей поры
Бичи, темницы, топоры:
Довольно съ васъ, рабовъ безумныхъ!
Во градахъ вашихъ съ улицъ шумпыхъ
Сметаютъ соръ—полезный трудъ!
Но, позабывъ свое служенье,
Алтарь и жертвоприношеніе,

Жрецы-ль у васъ метлу беруть? Не для экитейскаго волненья, Не для корысти, не для битвъ: Мы роэкдены для вдохновенья, Для звуковъ сладкихъ и молитвъ.

Дъйствительно, смъшны и жалки ть глупцы, которые смотрять на поэзію, какъ на некусство втискивать въ размъренныя строчки съ риемами разныя нравоучительныя мысли, и требують оть поэта непремвино, чтобь онь воспввалъ имъ все любовь да дружбу и пр., и которые неспособны увидеть поэзію въ самомъ вдохновенномъ произведении, если въ немъ нъть общихъ нравоучительныхъ мъсть. Но если до истины можно доходить не тъмъ, чтобъ соглашаться съ глупцами, то и не темъ, чтобъ противоръчить имъ, —а тъмъ, чтобъ забывая о ихъ существованіи, смотръть на предметь глазами разума. Не только поэты съ ихъ «вдохновеніями, сладкими звуками и молитвами», но н сами жрецы, съ которыми Пушкинъ сравниваеть поэтовь, не имъли бы пикакого значенія, еслибъ набожная толпа не соприсутствовала алтарямъ и жертвоприношеніямъ. Толпа, въ смыслъ массы народной, есть прямая хранительница народнаго духа, непосредственный источникъ таинственной психен народной гкизни. Народъ (взятый какъ масса), духовная субстанція жизни котораго не въ состояніи порождать изъ себя великихъ поэтовъ, не стоить названія народа или націи-сь него довольно чести называться просто племенемъ. Поэть, котораго поэзія выросла не изъ почвы субстанціальной жизни своего народа, не можеть ни быть, ни называться народнымъ или національнымъ поэтомъ. Никто, кромъ людей ограниченныхъ и духовно-малолетнихъ, не обязываеть поэта воспъвать непремънно гимны

добродътели и карать сатирой порокъ; но каждый умный человькъ въ правъ требовать, чтобъ поэзія поэта или давала ему отвъты на вопросы времени, или по крайней мъръ исполнена была скорбью этихъ тяжелыхъ неразръшимыхъ вопросовъ. Кто поетъ про себя и для себя, презирая толпу, тотъ рискуеть быть единственнымъ читателемъ своихъ произведеній. И дъйствительно, Пушкинъ, какъ поэтъ, великъ тамъ, гдв онъ просто воплощаеть въ живыя прекрасныя явленія свои поэтическія созерцанія, но не тамъ, гдв хочеть быть мыслителемъ и ръшителемъ вопросовъ. Превосходно его стихотвореніе «Поэть», въ которомъ онъ развиваеть мысль, что поэть, пока не потребуеть его Аполлонъ къ священной жизни, ничтожные всыхъ ничтожныхъ дытей міра, а какъ скоро коснется его слуха божественный зовъ, душа его стряхиваеть съ себя нечистый сонъ жизни, какъ пробудившійся орелъ, -- но мысль эта теперь совершенно ложна. Наша современность кишить поэтами, которые пошлы, когда не пишуть, и становятся благородны и чисты, когда вдохновляются; по темъ не менте всъ видять въ нихъ теперь не болье, какъ великихъ людей на малыя дъла: всъ знають, что эти госнода скоро выписываются и изъ-за денегъ громкими фразами увъряютъ другихъ въ томъ, чему нъкогда сами върили, но чему теперь уже сами первые не върять. Наше время преклонить кольни только передъ художникомъ, котораго жизнь есть лучній комментарій на его творенія, а творенія—лучшее оправданіе его жизни. Гёте не принадлежалъ къ числу пошлыхъ торгашей идеями, чувствами и поэзіей; но практическій и историческій индиферентизмъ не далъ бы ему сдълаться властителемъ думъ нашего времени, несмотря на всю широту его мірообъемлющаго генія. Личность

Пушкина высока и благородна; но его взглядъ на свое художественное служение, равно какъ н недостатокъ современнаго европейскаго образованія (о чемъ мы еще будемъ говорить) тамъ не менъе были причиной постепеннаго охлажиенія восторга, который возбудили первыя его произведенія. Правда, самый неумфренный восторгъ возбудили его самыя слабыя, въ художественномъ отношеніи, пьесы; но въ нихъ видна была сильная, одушевленная субъективнымъ стремленіемъ, личность. И чемъ совершениве становился Пушкинъ, какъ художникъ, темъ болве скрывалась и исчезала его личность за чуднымъ роскошнымъ міромъ его поэтическихъ созерцаній. Публика съ одной стороны не была въ состояніи оценить художественнаго совершенства его последнихъ созданій (и это, конечно, не вина Пушкина); съ другой стороны она вправъ была искать въ поэзіи Пушкина болье нравственныхъ и философскихъ вопросовъ, нежели сколько находила ихъ (и это, конечно, была не ел вина). Между тъмъ избранный Пушкинымъ путь оправдывается его натурой и призваніемъ: онъ не палъ. а только сдълался самимъ собою, но по несчастью въ такое время, которое было очень неблагопріятно для подобнаго направленія, оть котораго выигрывало искусство и мало пріобрътало общество. Какъ бы то ни было. пельзя винить Пушкина, что опъ не могь выйти изъ заколдованнаго круга своей личности,-и со всей добросовъстностью человъка и художника написалъ свое превосходное стихотвореніе «Поэту»:

Поэть, не дорожи любовію народной!
Восторженныхь похваль пройдеть минутный шумь;
Услышишь судъглупца и сміжь толпы народной:

Но ты останься твердъ, спокоенъ и угрюмъ. Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ, Усовершенствуя плоды высокихъ думъ, Не требуя наградъ за подвигъ благородный. Онъ въ самомъ тебъ. Ты самъ свой высшій судъ; Всъхъ строже оцънить умъешь ты свой трудъ. Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художъщикъ?

Доволенъ? Такъ пускай толпа тебя бранить, И плюетъ на алтарь, гдф твой огонь горить, И въ дфтской рфзвости колеблетъ твой трепожникъ.

И Пушкинъ навсегда затворился въ этомъ гордомъ величіи непонятнаго и оскорбленнаго художника. И когда онъ писалъ свои лучшія творенія — «Скупого Рыцаря», «Египетскія Ночи», «Русалку», «Мѣднаго Всадника», «Галуба», «Каменнаго Гостя», онъ всего менѣе разсчитывалъ на восторгъ публики и потому не

торопился издавать ихъ...

Изъ мелкихъ произведеній его болве другихъ отличаются присутствіемъ глубокой и яркой мысли, и вмъстъ съ тъмъ національнаго чувства, въ истинномъ значеніи этого слова, стихотворенія, посвященныя памяти Петра Великаго. Имя Петра Великаго должно быть нравственной точкой, въ которой должны сосредоточиться всв чувства, всв убънденія, всв надежды, гордость, благоговъніе и обожаніе всьхъ русскихъ: Петръ Великій—не только творецъ бывшаго и настоящаго величія Россін, но и всегда останется путеводной звъздой русскаго народа, благодаря которой Россія будеть всегда идти своей настоящей дорогой къ высокой цъли нравственнаго, человъческаго и политическаго совершенства. И Пушкинъ нигдъ не является ни столько высокимъ, ни столько

національнымъ поэтомъ, какъ въ техъ вдохновеніяхъ, которыми обязанъ онъ великому имени творца Россіи. Эти стихотворенія достойны своего высокаго предмета. Жаль только, что ихъ слишкомъ мало. Изъ поэмъ Петръ является въ «Полтавъ» и «Мъдномъ Всадникъ»: объ нихъ мы будемъ говорить въ следующей статьв. Изъ мелкихъ стихотвореній Петру посвящены только двъ пьесы, но это перлы поэзін Пушкина. Кром'в простоты и величія въ мысляхъ, въ чувствахъ и въ выраженіи, есть что-то русское, народное въ самомъ топъ н складъ этихъ пьесъ. Кто изъ образованныхъ русскихъ (если онъ только дъйствительно русскій) не знаеть превосходной пьесы, носящей скромное и повидимому незначительное названіе «Стансовъ»? Эта пьеса драгоцінна русскому сердцу въ двухъ отношеніяхъ: въ ней, словно изваянный, является колоссальный образъ Петра; въ связи съ нимъ находимъ въ ней поэтическое пророчество, такъ чудно и вполнъ сбывавшееся, о блаженствъ нашихъ дней:

> Въ надеждъ славы и добра Гляжу впередъ я безъ боязни; Начало славныхъ дней Петра Мрачили мятежи и казни.

Но правдой онъ привлекъ сердца, Но нравы укротилъ наукой, И былъ отъ буйнаго стрѣльца Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.

Самодержавною рукой Онъ смѣло сѣялъ просвѣщенье, Не презиралъ страны родной: Онъ зналъ ея предназначенье.

То академикъ, то герой, То мореплаватель, то плотникъ,

Онъ всеобъемлющей душой На тронъ въчный былъ работникъ.

Семейнымъ сходствомъ будь же гордъ, Во всемъ будь пращуру подобенъ: Какъ онъ неутомимъ и твердъ, И памятью, какъ опъ неглобенъ.

Какое величіе и какая простота выраженія! Какъ глубоко знаменательны, какъ возвышенно благородны эти простыя житейскія слова-плотника и работника!.. Кому неизвъстна также превосходная пьеса Пушкина— «Пиръ Петра Великаго»? Это-высокое художественное произведение и въ то же времянародная пфсия. Воть передъ такой народностью въ поэзін мы готовы преклоняться; воть это-патріотизмъ, передъ которымъ мы благоговъемъ... А ужъ воля ваща, ни народности, ни патріотизма не видимъ мы ни искорки въ новъйшихъ «драматическихъ представленіяхъ» и романахъ съ хвастливыми фразами, съ квашеной капустой, кулаками и подбитыми лицами...

Никто изъ русскихъ поэтовъ не умѣлъ съ такимъ непостижимымъ искусствомъ спрыскивать живой водой своей творческой фантазіи немножко дубоватые матеріалы народныхъ нашихъ пѣсенъ. Прочтите «Жениха», «Утопленника», «Бѣсовъ» и «Зимній Вечеръ»—и вы удивитесь, увидя, какой очаровательный міръ поэзіи умѣлъ вызвать поэтъ своимъ волиебнымъ жезломъ изъ такихъ скудныхъ стихій... Эти пьесы въ тысячу разъ лучше его же такъ называемыхъ сказокъ,—этихъ уродливыхъ искаженій и безъ того уродливой поэзіи... но о нихъ рѣчь впереди. И если такихъ пьесъ, какъ «Женихъ», «Утопленникъ», «Бѣсы» и «Зимній Вечеръ» у Пушкина немного, въ этомъ конечно

виноваты ограниченность и бъдность сферы нашей народной поэзін. Но Пушкинъ умълъ извлечь изъ нея дивную поэму, наполовину фантастическую, наполовину фактически—положительную, и въ обоихъ случаяхъ удивительно поэтически върную дъйствительности русской жизни. Мы говоримъ о «Русалкъ», о которой впрочемъ ръчь также впереди.

Къ особеннымъ чертамъ Пушкинской поэзіи. ръзко отдъляющимъ ее отъ прежней школы. принадлежить его художническая добросовъстность. Пушкинъ ничего не преувеличиваеть, инчего не украшаеть, ничьмъ не эффектируеть, никогда не взводить на себя великолъпныхъ, но не испытанныхъ имъ чувствъ, и вездъ является такимъ, каковъ былъ действительно. Такъ, напримъръ, онъ узнаеть о смерти той, любовь къ которой заставила его лиру издать столько гармоническихъ стоновъ: какой прекрасный случай изобразить свое отчаяніе, написать картину страшной скорби, невыносимой муки!.. Но сердце наше—въчная тайна для насъ самихъ... и вотъ какъ подъйствовала на Пушкина роковая въсть:

Подъ небомъ голубымъ страны своей родной Она томилась, увядала...

Увяла наконецъ, и върно надо мной Младая тънь уже летала;

Но недоступпая черта межъ нами есть.

Напрасно чувство возбуждаль я; Изъ равнодушныхь усть я слышаль смерти въсть.

И равнодушно ей внималь я:
Такъ вотъ кого любиль я пламенной душой
Съ такимъ тяжелымъ напряженьемъ,
Съ такимъ безумствомъ и мученьемъ!

Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы! въ душѣ моей Для бѣдной легковѣрной тѣни, Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней Не нахожу ни слезъ, ни тѣни.

Да, непостижнию сердце человъческое, и можеть быть тоть же самый предметь внушиль впослъдствін Пушкину его дивную «Разлуку» («Для береговъ отчизны дальной»)... Въ отношенін къ художинческой добросовъстностн Пушкина, такова же его превосходная пьеса «Воспоминаціе»: въ ней онъ не рисуется въ мантіи сатанинскаго величія, какъ это дівлають часто мелкодушные талантики, но просто, какъ человъкъ, оплакиваетъ свои заблужденія. И этимъ доказывается не то, чтобъ у него было больше другихъ заблужденій, не то, что, какъ душа мощная и благородная, онъ глубоко страдаль оть нихъ и свободно сознавался въ нихъ передъ судомъ своей совъсти... Та же художническая добросовъстность видна даже въ его картинахъ природы, которыми особенно любять щеголять мелкіе таланты, изукрашивая ихъ небывалыми красками и изъ русской природы смѣло дѣлая пародію на итальянскую. Въ доказательство приводимъ одну изъ самыхъ превосходивишихъ и, въроятно по этой причинъ, наименъе замъченныхъ и оцъненныхъ пьесъ Пушкина—«Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузой, Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной музой, Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной, Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой. Что-жь ты нахмурился? Нельзя ли блажь оставить

И пъсенкою насъ веселой позабавить?

Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогой,

За ними черноземъ, равнины скатъ отлогой, Надъ ними серыхъ тучъ густая полоса. Где-жъ нивы светлыя? где темные леса? Где речка? На деоре у низкаго забора Два бедныхъ деревџа стоятъ въ отраду взора. Два только деревџа, и то изъ нихъ одно Дождливой осенью совсемъ обнажено, А листья на другомъ размокли и, желтея, Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея. И только. На дворе живой собаки нетъ. Вотъ, правда, мужичокъ: за нимъ две бабы вслелъ.

Безъ щапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка

И кличетъ издали лѣниваго попенка, Чтобъ тотъ отџа позвалъ, да џерковь отворилъ: Скоръй, ждать некогда, давно-бъ ужъ схоронилъ!

Кстати объ изображаемой Пушкинымъ природъ. Онъ созерцалъ ее удивительно върно и живо, но не углублялся въ ея тайный языкъ. Оттого опъ рисуеть ее, но не мыслить о ней. И это служить новымъ доказательствомъ того, что паеосъ его поэзіи быль чисто артистическій, художническій, и того, что его поэзія должна сильно дъйствовать на воспитаніе и образование чувства въ человъкъ. Если съ къмъ изъ великихъ европейскихъ поэтовъ Пушкинъ имфетъ ифкоторое сходство, такъ болъе всего съ Гёте, и онъ еще болъе нежели Гёте можеть дъйствовать на развитіе и обравованіе чувства. Это съ одной стороны его преимущество передъ Гёте и доказательство, что онъ больше нежели Гёте въренъ художническому своему элементу; а съ другой стороны въ этомъ же самомъ неизмѣримое превосходство Гёте передъ Пушкинымъ: ибо Гёте—весь мысль, и онъ не просто изображалъ природу, а заставляль ее раскрывать передъ нимъ ея завътныя и сокровенныя тайны. Отсюда явилось у Гёте его пантеистическое созерцаніе природы и—

Была ему звъздная книга ясна И съ нимъ говорила морская волна.

Для Гёте природа была раскрытая книга идей; для Пушкина она была полная невыразимаго, по безмолвнаго очарованія живая картина. Образцомъ Пушкинскаго созерпанія природы могуть служить пьесы: «Туча» и «Обваль». Несмотря на всю разницу въ содержаніи этихъ

пьесь, объ онъ-живопись въ поэзіи...

Мы уже говорили о разпообразіи поэзіи Пушкина, о его удивительной способности легко и свободно переноситься въ самыя противоположпыя сферы жизни. Въ этомъ отпошеніи, независимо отъ мыслительной глубины содержанія, Пушкипъ напоминаетъ Шекспира. Это доказыдають даже мелкія его пьесы, какъ и поэмы, и драматические опыты. Взглянемъ въ этомъ отношеній на первыя. Превосходивний пьесы въ антологическомъ родъ, запечатлънныя духомъ древне-эллинской музы, подражанія Корану, вполнъ передающія духъ исламизма и красоты арабской поэзіи—блестящій алмазъ въ поэтическомъ вънцъ Пушкина! «Въ крови горить огонь желанья», «Вертоградъ моей сестры», «Пророкъ» и большое стихотвореніе, родъ поэмы, исполненной глубокаго смысла и названной «Отрывкомъ», представляють красоты восточной поэзіи другого характера и высшаго рода, и принадлежать къ величайшимъ произведеніямъ Пушкинскаго геніяпротея. Мы говорили уже о «Женихъ», «Утоп-

ленникъ», «Бъсахъ» и «Зимнемъ вечеръ», пьесахъ, образующихъ собой отдъльный міръ русско-народной поэзін въ художественной формф, «Пфени Западныхъ Славянъ» болфе чемъ что-пибудь доказывають непостижимын поэтическій такть Пушкина и гибкость его таланта. Извъстно происхождение этихъ пъсепъ и продълка даровитаго француза Мериме, вздумавшаго посм'вяться надъ колоритомъ мъстности. Не знаемъ, каковы вышли на французскомъ языкъ эти поддъльныя пъсни, обманувшія Пушкина; но у Пушкина онв дышать всей роскошью мъстнаго колорита и многія изъ пихъ превосходны, несмотря на однообразіе,—неизбѣжное впрочемъ свойство всѣхъ народныхъ произведеній.--«Подражаніе Данту» можно счесть за отрывочные переводы изъ «Божественной Комедіи» и они дають о ней лучшее и върнъйшее понятіе, чъмъ всъ досель сдъланные по-русски переводы въ стихахъ и прозъ. «Начало поэмы» («Стамбулъ глуры нынф славять») какъ будто написано туркомъ нашего времени... Какое разнообразіе! Какое богатство! Какъ виденъ въ этомъ талантъ по превосходству артистическій, художественный! И то ли еще увидимъ въ этомъ отношении въ большихъ пьесахъ Пушкина!

Сдълаемъ теперь общій взглядъ на всѣ мелкія стихотворенія и поговоримь о иткоторыхъ въ частности. О стихотвореніяхъ, заключающихся въ первой части, мы говорили почти обо всъхъ. При началъ поэтическаго поприща Пушкина живо интересовала современная исторія, направленіе, которому онъ скоро совершенно измѣнилъ. Онъ воспѣлъ смерть Наполеона; въ превосходной пьесъ своей «Къ морю» онъ принесъ достойную дать памяти Байрона, охарактеризовавъ его личность этими

немногими, но сильными чертами:

Твой образь быль на немь означень, Онь духомь создань быль твоимь: Какь ты, могушь, глубокь и мрачень, Какь ты, ничьмь неукротимь...

Андре Шенье былъ отчасти учителемъ Пушкина въ древней классической поэзіи, и въ элегін, означенной именемъ французскаго поэта, Пушкинъ многими прекрасными стихами върно воспроизвель его образъ. Въ превосходной пьесъ «19 октября» мы знакомимся съ самимъ Пушкинымъ, какъ съ человъкомъ, для того, чтобъ любить его, какъ человъка. Вся эта пьеса посвящена имъ воспоминанию объ отсутствующихъ друзьяхъ. Многія черты въ ней принадлежать уже къ прошеднему времени: такъ напримъръ, теперь, когда уже вывелись восторженные юноши-поэты, въ родф Ленскаго (въ «Онъгинъ»), никто не говоритъ «о Шиллерѣ, о славѣ, о любви,» но пьеса отъ этого тымь дороже для нась, какь живой па-

мятникъ прошлаго.

«Сцена изъ Фауста» есть не переводъ изъ великой поэмы Гёте, а собственное сочинение Пушкина въ духѣ Гёте. Превосходная пьеса, но паеосъ ея не совствить Гётевскій. Прекрасная маленькая пьеска: «Воронъ къ ворону летить» есть передълка на русскій ладъ баллады Вальтеръ-Скотта. Пьесы, составляющія третью часть, болже проникнуты грустью, но не элегической; это даже не грусть, а скоръе важная дума испытаннаго жизнью и глубоко вемотрившагося въ нее таланта. Чувство гуманности во многихъ пьесахъ этой части доходить до какого-то внутренняго просвътлънія. Таковы въ особенности пьесы: «Когда твои младыя лъта» и «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Заключение послъдней превосходно: есть что-то похожее на пантенстическое міросозерцаніе

Гёте въ послѣднемъ куплетѣ; томимый грустнымъ предчувствіемъ близкаго конца, поэть говоритъ, что ему хотѣлось бы заснуть навѣки въ родномъ краѣ, хотя для безчувственнаготѣла вездѣ равно истлѣвать—

И пусть у гробового входа Младая будетъ жизнь играть, И равнодушная природа Красою въчною сіять!

Изъ этого, какъ изъ многихъ, особенно большихъ, пьесъ Пушкина, видно, что онъ поставлялъ выходъ изъ диссонансовъ жизни и примиреніе съ трагическими законами судьбы не въ заоблачныхъ мечтаніяхъ, а въ опирающейся

въ самое себя силъ духа...

Въ третьей же части находится превосходное стихотвореніе «Къ Вельможъ». Это-полная, дивными красками написанная картина русскаго XVIII въка. Нъкоторые крикливые глупцы, не понявъ этого стихотворенія, осмъливались въ своихъ полемическихъ выходкахъ бросать тань на характерь великаго поэта, думая видъть лесть тамъ, гдъ должно видъть только въ высшей степени художественное постижение и изображение цълой эпохи въ лицъ одного изъ замъчательнъйшихъ ея представителей. Стихи этой пьесы—само совершенство, и вообще вся пьеса-одно изъ лучшихъ созданій Пушкина; поэть съ дивной вірностью изобразивъ то время, еще болъе оттъняеть его черезъ контрасть съ нашимъ:

Все измінилось. Ты виділь вихорь бури, Паденіе всего, союзь ума и фурій, Свободой грозною воздвигнутый законь, Подъ гильотиною Версаль и Тріанонь, И мрачнымь ужасомь сміненныя забавы,

Преобразился міръ при громахъ новой славы Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Воль-

Превратности судебъ разительный примъръ, Не успоконвшись и въ гробовомъ жилищъ, Донынъ странствуетъ съ кладбища на клад-

бище. Варонъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ, Энџиклопедіи скептическій причетъ, И колкій Бомарше, и твой безносый Касти, Всъ, всъ уже прошли. Ихъ мнънья, толки,

Страсти Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя Все новое кипитъ, былое истребя. Свидътелями бывъ вчерашняго паденья, Едва опомнились младыя поколънья. Жестокихъ опытовъ сбирая поздній плодъ, Они торопятся съ расходомъ свесть приходъ. Имъ некогда шутить, объдать у Темиры, Иль спорить о стихахъ. Звукъ новой, чудной

Звукъ лиры Байрона развлечь едва ихъ могъ.

Вообще третья часть заключаеть въ себъ лучшія мелкія пьесы Пушкина, не говоря уже о двухъ превосходнъйшихъ драматическихъ очеркахъ-«Моцарть и Сальери» и «Пиръ во время чумы». Въ самомъ стихъ виденъ большой успъхъ. И между тъмъ аристархами того времени эта часть была принята очень дурно. «Кавказъ», «Обвалъ», «Монастырь на Казбекъ», «На холмахъ Грузіи лежить ночная мгла», «Не плъняйся бранной славою», «Когда твои младыя лъта», «Зима», «Что дълать намъ въ деревнѣ», «Зимнее Утро», «Калмычкѣ», «Что въ имени тебъ моемъ», «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ», «Въ часы забавъ, иль праздной скуки», «Къ Вельможъ», «Поэту», «Отвъть Анониму», «Пью за здравіе Мери», «Бъсы», «Трудъ».

Цыгано», «Мадонна», «Эхо», «Клеветникамъ Россін», «Бородинская годовщина», «Узникъ», Зимпій вечеръ», «Даръ напрасный, даръ случайный», «Каковъ я прежде былъ, таковъ и нынъ я», «Апчаръ», «Примъты»: во всъхъ этихъ пьесахъ критиканы 1832 года увидъли несомивиные признаки паденія Пушкина!.. То-то

были люди со вкусомъ!...

Четвертая часть преимущественно занята русскими сказками и «Пъснями Западныхъ Славянъ»; мелкихъ пьесъ немного, но онъ всъ превосходны. «Гусаръ», «Будрысъ и его Сыновья», «Воевода»---мастерскіе переводы изъ Мицкевича; «Красавица», двѣ пьесы «подражаній древнимъ» и «Элегія» («Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье») принадлежать къ лучшимъ произведеніямъ Пушкина. Кромъ того въ четвертой части напечатанъ «Разговоръ кингопродавца съ поэтомъ», явившійся въ первый разъ въ видъ предисловія къ первой главъ «Евгенія Онъгина». Этотъ «Разговоръ» отзывается первой эпохой политической дъятельности Пушкина и не совстмъ кстати попалъ въ четвертую часть его сочиненій.

Къ поздивишимъ сочиненіямъ Пушкина, которыя бы должны были составить пятую часть его мелкихъ стихотвореній, принадлежать: «Туча», «Аквилонъ», «Пиръ Петра Великаго», «Полководецъ» (одно изъ превосходнъйшихъ созданій Пушкина). «Покровъ, упитапный язвительною кровью» (изъ А. Шенье). Въ ІХ-й томъ изданныхъ по смерти его сочиненій вошли некоторыя изъстарыхъ, не попавшихъ по педосмотру въ первые тома, и нъкоторыя нзъ новыхъ произведеній, которыхъ авторъ не хотълъ печатать, а нъкоторыя и изъ дъйствительно послъднихъ его произведеній. Во всякомъ случав лучшія изъ нихъ: «Памятникъ», «Разлука», «Не дай мив Богь сойти съ ума», «Три ключа», «Пажъ, или пятнадцатилътній

король», «Подражаніе италіанскому», «Подражаніе арабскому» («Отрокъ милый, отрокъ ивжный»), «М. А. Г.», «Лицейская Годовщина», «Къ Гивдичу» («Съ Гомеромъ долго ты бесвдоваль одинъ»), «Разставаніе», «Романсъ», «Ночью во время безсопницы», «Заклинаніе», «Капризъ» Подражаніе Данту», «Отрывокъ», «Послідніе цвіты», «Кто знаеть край, гдіз небо блещеть», «Осень», «Начало поэмы», «Герой», «Молитва», Опять на родинів», да еще пропущенныя вовсе: «Ніть, ніть, не должень я, не сміть, не могу» и «Признаніе» (Л. И. О—й).

До какого состоянія внутренняго просвѣтленія возвысился духъ Пушкина въ послѣднее время, могуть служить фактомъ двѣ маленькія

ньески-«Элегія» и «Три Ключа»:

Везумныхъ лѣтъ угасшее веселье Миѣ тяжело, какъ смутное похмѣлье; Но, какъ вино, печаль минувшихъ дней Въ моей душѣ, чѣмъ старѣ, тѣмъ сильнѣй. Мой путь унылъ. Сулитъ миѣ трудъ и горе Грядущаго волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать! Я жить хочу, чтобъ мыслить и страдать, И, въдаю, мнъ будутъ наслажденья Межъ горестей, заботъ и треволненья: Порой опять гармоніей упьюсь, Надъ вымысломъ слезами обольюсь,

II, можеть быть, на мой закать печальной Блеснеть любовь улыбкою прощальной.

Въ степи мірской, печальной и безбрежной, Таинственно пробились три ключа: Ключъ юности—ключъ быстрый и мятежной, Кипить, бъжить, сверкая и журча; Кастальскій ключъ волною вдохновенья Въ степи мірской изгнанниковъ поить; Послъдній ключъ—холодный ключъ забвенья, Онъ слаще всъхъ жаръ сердца утолить.

Заключимъ нашъ обзоръ мелкихъ лирическихъ пьесъ Пушкина мивніемъ о нихъ Гоголя,—мивніемъ, въкоторомъ, конечно, сказано больше и лучше, нежели сколько и какъ сказали мы въ ивлой статьв нашей:

«Въ мелкихъ своихъ сочиненіяхъ-этой прелестной антологіи—Пушкинъ разностороненъ необыкновенио и является еще общириве, виднъе, нежели въ поэмахъ. Нъкоторыя изъ этихъ мелкихъ сочиненій такъ ръзко ослъпительны что ихъ способенъ понимать всякій, но зато большая часть изъ нихъ, и притомъ самыхъ лучшихъ, кажется обыкновенной для многочисленной толпы. Чтобъ быть способну понимать ихъ, нужно имъть слишкомъ тонкое обоняніе; нужень вкусь выше того, который можеть понимать только одив слишкомъ резкіл и крупныя черты. Для этого нужно быть въ ивкоторомъ отношеніи сибаритомъ, который уже давно пресытился грубыми и тяжелыми яствами, который всть птичку не болве наперстка и услаждается такимъ блюдомъ, котораго вкусъ кажется совсемъ неопределеннымъ. страннымъ, безъ всякой пріятности привыкшему глотать издалія крапостного повара. Это собраніе его мелкихъ стихотвореній рядъ самыхъ ослепительныхъ картинъ. Это тотъ ясный мірь, который такъ дышеть чертами, знакомыми однимъ древнимъ, въ которомъ природа выражается такъ же живо, какъ въ струв какой-нибудь серебряной раки, въ которомъ быстро и ярко мелькають ослъпительныя плечи, или бълыя руки, или алебастровая шея, обсыпанная ночью темныхъ кудрей, или прозрачныя гроздья винограда, или мирты и древесная сънь, созданная для жизни. Туть все: и наслаждение, и простота, и мгновенная высокость мысли, вдругь объемлющая священнымъ холодомъ вдохновенія читателя. Здёсь нёть

краснорвчія, увлекающаго OTOTO. каскада только многословіемъ, въ которомъ каждая фраза потому только сильна, что соединяется съ другими и оглушаеть паденіемъ всей массы, по если отдълить ее, она становится слабой и безсильной. Здёсь нёть краснорычія, здёсь одна поэзія: никакого наружнаго блеска, все просто, все исполнено внутренняго блеска, который раскрывается не вдругь; все лаконизмъ, какимъ всегда бываетъ чистая поэзія. Словъ немного, по они такъ точны, что обозначаютъ все. Въ каждомъ словъ бездна пространства: каждое слово необъятно, какъ поэтъ. Отсюда происходить то, что эти мелкія сочиненія перечитываешь несколько разъ, тогда какъ достоинства этого не имфетъ сочинение, въ которомъ слишкомъ просвъчиваеть одна главная идея.

«Мнъ всегда было странно слышать сужденія объ нихъ многихъ, слывущихъ знатоками и литераторами, которымъ я болве довврялъ, покамъстъ еще не слышалъ ихъ толковъ объ. этомъ предметъ. Эти мелкія сочиненія можно назвать пробнымъ камнемъ, на которомъ можно нспытать вкусь и эстетическое чувство разбирающаго его критика. Непостижимое дъло! Казалось, какъ бы имъ не быть доступнымъ всъмъ! Они такъ просто-возвышенны, такъ ярки, такъ пламенны, такъ сладострастны и вмъстъ такъ дътски-чисты. Какъ бы не понимать ихъ! Но, увы! это неотразимая истина: чемь боле поэть. становится поэтомъ, чемъ более изображаеть онь чувства, знакомыя поэтамь; темь заметнъе уменьшается кругъ обступившей его толны н наконецъ такъ становится тесенъ, что онъ: можеть перечесть по пальнамь встхъ своихъистинныхъ цвнителей».

VI.

Поэмы: «Русланъ и Людмила», «Кавказскій плённикъ», Бахчисарайскій Фонтанъ», «Братьн-Разбойники».

Нельзя ни съ чамъ сравнить восторга и негодованія, возбужденцыхъ первой поэмой Пушкина-«Русланъ и Людмила». Слишкомъ немногимъ геніальнымъ твореніямъ удавалось производить столько шуму, сколько произвела эта дътская и нисколько не геніальная поэма. Поборники новаго увидъли въ ней колоссальное произведение, и долго послъ того величали они Пушкина забавнымъ титломъ «пѣвца Руслана и Людмилы». Представители другой крайности, слъпые поклонники старины, почтенные колпаки, были оскорблены и приведены въ ярость появленіемъ «Руслана и Людмилы». Они увидъли въ ней все, чего въ ней нътъ-чуть не безбожіе, и не увидъли въ ней пичего изъ того, что именно есть въ ней, то-есть хорошихъ, звучныхъ стиховъ, ума, эстетическаго вкуса и, мъстами, проблесковъ поэзіи. Перелистуйте, отъ скуки, журналы 1820 г., и вы съ трудомъ повърите, что все это писалось н читалось не болъе, какъ какихъ-нибудь 24 года назадъ... И это относится не къ одивмъ порицательнымъ, но и къ хвалительнымъ

статьямъ, которыми наводнились журналы того времени вслъдствіе появленія «Руслана Людмилы». Впрочемъ подобное явленіе столько же понятно, сколько естественно н обыкновенно. Люди, которымъ не дано способности углубляться въ сущность вещей, раздъляются на старовъровъ и на верхоглядовъ. Первые стоять за старое и слъдують мудрому правилу: «все старое хорошо, потому что оностарое, а все новое дурно, потому что ононовое»; вторые стоять за новое и следують мудрому правилу: «все повое хорошо, потому что оно-новое, а все старое дурно, потому. что оно-старое». Несмотря на всю противоположность этихъ двухъ партій, онъ очень похожи одна на другую, потому что источникъ ихъ возартнія, при всемъ своемъ различіи. одинъ и тотъ же: это-нравственная слепота, препятствующая видеть сущность предмета. Старовъры, какъ люди всегда дряхлые, если не годами, то душой, управляются привычкой, которая замъняеть имъ размышленіе и избавляеть ихъ оть всякой умственной работы. Привыкнувъ съ молодости слышать, что такой-то писатель великъ, они не заботятся узнать, почему онъ великъ и точно ли онъ великъ, и готовы считать безбожникомъ всякаго. кто осмълился бы усумниться въ величіи этого писателя. Такимъ-то образомъ до появленія Пушкина у нашихъ словесниковъ слыли за великихъ писателей Кантемиръ, Ломоносовъ, Сумароковъ, Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Богдановичъ, — и въ ихъ глазахъ Державинъ потому же самому быль великъ, по чему и Сумароковъ съ Херасковымъ, то есть по неоспоримому праву давности, а совстмъ не потому, чтобъ они умъли чувствовать и постигать красоты его поэзіи. У кого есть эстетическій вкусь и кто способень находить красоты въ Держа-

винъ, тотъ уже не можеть восхищаться Сумароковымъ, Херасковымъ или Петровымъ,-а словесники, о которыхъ мы говоримъ, равно благоговъли передъ Сумароковымъ и Херасковымь, какъ и передъ Державинымъ; Ломоносова же считали одни наравиъ съ Державинымъ, другіе ставили выше Цержавина, а третьи оставались въ недоумъніи, кому изъ нихъ отдать пальму первенства. Ясный знакъ. что всеми этими мненіями управляла привычка, одна привычка и больше ничего... Каково же было дожить этимъ старымъ дътямъ привычки до такого страшнаго поруганія, когда общій голось публики нарекь знаменитымг поэтомъ какого-то Александра Пушкина. который, по метрическимъ книгамъ, жилъ на свъть не болье двадцати одного года! Къ вяшшему соблазну, реченный Пушкинь осмълился писать такъ, какъ до него никто не писалъ на Руси, возымълъ неслыханную дерзость, или паче отъявленное буйство-идти своимъ собственнымъ путемъ, не взявъ себъ за образецъ ни одного изъ законодателей парнасскихъ. великихъ поэтовъ иностранныхъ и россійскихъ, каковы: Гомеръ, Пиндаръ, Виргилій, Горацій, Овидій, Тассъ, Мильтонъ, Корнель, Расинъ, Буало, Ломоносовъ, Сумароковъ. Державинъ, Петровъ, Херасковъ, Дмитріевъ и проч. А извъстно и въдомо было въ тъ времена каждому, даже и не учившемуся въ семинаріи, что таланть безъ подражанія геніямъ, утвержденнымъ давностью, гибнеть втуне жертвой собственнаго своевольства. Самъ Жуковскій, хотя онь и крвпко насолиль словесникамъ своими балладами и своимъ романтизмомъ, самъ Жуковскій держался Шиллера: а Батюшковъ именно потому и былъ отличнымъ поэтомъ, что подражалъ Парни и Милльвуа, которые, вмаста взятые, не годились ему въ

парнасскіе камердинеры... По всёмъ этимъ резонамъ долой Пушкина! Или оиз, или мы; а вмёстё съ инмъ намъ тёсно на землё!.. И это продолжалось не менёе десяти лётъ сряду. Однакожъ Пушкинъ устоялъ, и теперь развѣ только какія-пибудь литературныя аномаліи, которыхъ одно имя возбуждаетъ смёхъ, вопіютъ еще нерёдко противъ законности правъ Пушкина на титло великаго поэта; но они противоноставляютъ ему уже не Сумарокова съ Херасковымъ, а своихъ собственныхъ, нарочно для этого случая испеченныхъ геніевъ, которые

... немножечко деруть, Зато ужъ въ ротъ хмѣльного не беруть, И всѣ съ прекраснымъ поведеньемъ.

Такъ всегда время побъждаетъ предразсудки юдей, и на ихъ развалинахъ возстановляеть нобъдопосное знамя истины; но тъмъ не менъе для будущаго времени всегда остается та же работа. Въ продолжение почти пятнадцати лътъ всъ привыкли къ имени Пушкина и къ его славъ, а потому всъ и повърили наконецъ, что Пушкинъ-великій поэть. Но оть этого дъло не исправилось для будущихъ поэтовъ, н ихъ всегда будутъ принимать не съ одними кликами восторга, но и съ свистками, и съ каменьями, до техъ поръ, пока не привыкнутъ къ ихъ именамъ и ихъ славъ. Развъ теперь не то же самое сбывается на нашихъ глазахъ съ Гоголемъ и Лермонтовымъ, что было съ Пушкинымъ? Есть люди, которые, по какомуто внутрениему безсознательному побужденію, съ жадностью читаютъ каждое новое произведеніе Гоголя и чуть не наизусть знають всь прежнія его сочиненія, а между твих приходять въ непритворное негодованіе, если при нихъ Гоголя называють великимъ поэтомъ...

Подождите еще нѣсколько—привыкнуть, и тогда — горе человѣку, который сдѣлаеть хотя бы дѣльное замѣчаніе не въ пользу Гоголя... Такова ужъ натура этихъ людей! Они кланяются только побѣдителю и признають власть

только того, кого боятся...

Но не лучше старовъровъ и верхогляды, которые рукоплещуть только торжеству настоящей минуты и не хотять знать о заслугъ, которую сами же прославляли за нѣсколько дней передъ тъмъ. Для нихъ хорошо только новое, и въ литературъ они видять только моду. Новый водевиль, пустой и ничтожный, какъ всв водевили, для нихъ важиве и «Бориса Годунова» Пушкина, и «Горя отъ ума» Грибоъдова, и «Ревизора» Гоголя. Они совствить не то, что люди движенія, которые въ своей крайности, восторгаясь новымъ литературнымъ явленіемъ. отрицають всякую заслугу со стороны прежнихъ писателей. Нътъ, верхогляды совсъмъ не фанатики: они не отрицають важности старыхъ писателей и старыхъ сочиненій, а просто не хотять ихъ знать; старо же для нихъ все, что появилось, хотя за день до какой-нибудь пошлости, заиявшей ихъ сегодня. Каждый изъ нихъ знаетъ по именамъ всъхъ замъчательныхъ русскихъ поэтовъ, но ни одинъ изъ нихъ не читалъ ни Ломоносова, ни Державина, ни Карамзина, ин Дмитріева, ин Озерова. Они читають только современное, новое, хотя бы оно состояло изъ сущихъ пустяковъ.

Мы не говоримъ здѣсь о тѣхъ приверженцахъ старины, которые отстаивають старое противъ новаго по привязанности къ школѣ, къ принципамъ, въ которыхъ воспитались. Въ людяхъ этого разряда много смѣшного и жалкаго, но много и достойнаго любви и уваженія. Это не дѣти привычки, о которыхъ мы говорили выше; это—дѣти извѣстной доктрины.

извъстнаго ученія, извъстной мысли. Равнымъ образомъ и противоположные имъ поклонники новаго, какъ новой мысли, новаго созерцанія, новаго духа, заслуживають любовь и уваженіе, несмотря на ихъ крайности и смъщныя, одностороннія убъжденія. Фанатизмъ не есть истина, но безъ фанатизма нътъ стремленія къ истинъ. Фанатизмъ—бользиь, но въдь бользиь есть принадлежность только живого, а не мертваго: камень или трупъ не знають бользии...

Причиной энтузіазма, возбужденнаго «Русланомъ и Людмилой», было конечно и предчувствіе новаго міра творчества, который открывалъ Пушкинъ всеми своими первыми произведеніями, но еще болъе это было просто обольщение невиданной дотолъ новинкой. Какъ бы то ни было, но нельзя не понять и не одобрить такого восторга: русская литература не представляла инчего подобнаго «Руслану и Людмилѣ». Въ этой поэмъ все было ново: и стихи, и поэзія, и шутка, и сказочный характеръ вмістъ съ серьезными картинами. Но бъщенаго негодованія, возбужденнаго сказкой Пушкина, нельзя было бы совстви понять, если бы мы не знали о существовании старовъровъ, дътей привычки. На что озлились они? На нъсколько вольныя картины въ эротическомъ духѣ!--Но они давно уже знакомы были съ инми черезъ Державина и въ особенности черезъ Богдановича... Притомъ же они инкогда не ставили этихъ вольностей въ вниу напримъръ Аріосту. Парии, несмотря на то, что вольности въ «Русланъ и Людмилъ»-сама скромность, само цъломудріе въ сравненін съ вольностями этихъ писателей. Это были писатели старые: къ ихъ славъ давно уже всъ привыкли, и потому имъ было позволено то, о чемъ не позволялось и думать молодому поэту. Забавиње всего, что

«Душенька» Богдановича была признаваема старовърами за произведение классическое, тоесть тако, которое уже выдержало пробу времени и высокое достоинство котораго уже не подвержено инкакому сомнънію. Судя по этому, имъ-то бы и надобио было особенио восхититься поэмой Пушкина, которая во встхъ отношеніяхъ была нензмъримо выше «Душеньки» Богдановича. Стихъ Богдановича прозаиченъ, вяль, водянь, языкь обветшалый и сверхь того до нельзя искаженный такъ называвшимися тогда «пінтическими вольностями»: поэзін почти нисколько; картины бледны, сухи. Словомъ, несмотря на всю незначительность «Руслана и .Подмилы», какъ художественнаго произведенія, смішно было бы доказывать нензміримое превосходство этой поэмы передъ «Душенькой». Сверхъ того она навъяна была на Пушкина Аріостомъ, и русскаго въ ней кромѣ именъ нътъ ничего; романтизма, столь ненавистнаго тогдашнимъ словесникамъ, въ ней тоже нъть ии искорки; романтизмъ даже осмъянъ въ ней, и очень мило и остроумно, въ забавной выходкъ противъ «Двънадцати Спящихъ Дъвъ». Короче: поэма Пушкина должна была составить торжество псевдо-классической партіи того времени. Но не туть-то было! При второмъ изданін «Руслана и Людмилы», вышедшемь въ 1828 году, припечатано нъсколько ругательныхъ статей на эту поэму, написаниныхъ въ 1820 г.; перечтите ихъ-и вы не повърите глазамъ своимъ! Пля образчика такихъ критикъ выписываемъ отрывокъ одной изъ нихъ, напечатанной въ «Въстникъ Европы» 1820 года по случаю помъщеннаго въ «Сынъ Отечества» отрывка изъ «Руслана и Людмилы» еще до появленія этой поэмы вполнъ:

«Теперь прошу обратить ваше вниманіе на новый ужасный предметь, который, какъ у Камоэнса Мысъ бурь, выходить изъ нѣдръ морскихъ и показывается посреди Океана Россійской словесности. Пожалуйста, напечатайте же мое письмо: быть можеть люди, которые грозять нашему терпѣнію новымъ бѣдствіемъ, опомнятся, разсмѣются—и остановять намѣреніе сдѣлаться изобрѣтателями новаго рода русскихъ сочиненій.

«Дъло вотъ въ чемъ: Вамъ извъстно, что мы отъ предковъ получили небольшое бълное наслъдство литературы, т. е. сказки и пъсни народныя. Что объ нихъ сказать? Если мы бережемъ старинныя монеты даже самыя безобразныя, то не должны ли тщательно хранить и остатки словесности нашихъ предковъ? Везъ всякаго сомнѣнія! Мы любимъ вспоминать все относящееся къ нашему младенчеству, къ тому счастливому времени дътства, когда какая-нибудь пъсня или сказка служила намъ невинной забавой и составляла все богатство познаній? Видите сами, что я не прочь отъ собиранія и изысканія русскихъ сказокъ и пъсенъ; но когда узналъ я, что наши словесники приняли старинныя пъсни совстви съ другой стороны, громко закричали о величіи, плавности, силъ, красотахъ, богатствъ нашихъ старинныхъ пъсенъ, начали переводить ихъ на нъмецкій языкъ, и наконець такъ влюбились въ сказки и пъсни, что въ стихотвореніяхъ ХІХ вѣка заблистали Ерусланы и Бовы на новый манеръ, то я вамъ слуга покорный!

«Чего добраго ждать отъ повторенія болѣе жалкихъ, нежели смѣшныхъ лепетаній?.. чего ждать, когда наши поэты начинаютъ пародировать Киршу Данилова?

«Возможно ли просвъщенному, или хоть немного сведущему человеку терпеть, когда ему предлагаютъ новую поэму, написанную въ подражаніе Еруслану Лазаревичу? Извольте же заглянуть въ 15 и 16 №№ Сына Отечества. Тамъ неизвъстный пінть на образчико выставляеть намъ отрывокъ изъ поэмы своей Людмила и Русланъ (не Ерусланъ ли?). Не знаю, что будеть содержать џълая поэма, но образчикъ хоть кого выведеть изъ терпфнія. Пінть оживляеть мужина само со ноготь, а борода съ локоть, придаеть еще ему безконечные усы («С. Отеч.», стр. 121), показываеть намъ ведьму, шапочку-невидимку и проч. Но вотъ, что всего драгоцвинве: Русланъ навзжаеть въ полв на побитую рать, видить богатырскую голову, подъ которой лежитъ мечъ-кладенецъ; голова съ нимъ разглагольствуеть, сражается... Живо помню, какъчвсе это, бывало, я слущаль оть няньки моей: теперь на старости сподобился вновь то же услышать отъ поэтовъ нынфшияго времени... Для большей точности, или чтобы лучше выразить всю прелесть стариннаго нашего пъснопвнія, поэть и въ выраженіяхъ уподобился Ерусланову разсказчику, напримфръ:

... Шутите вы со мною, Всъхъ удавлю васъ бородою!.. Каково?

. . . Обътхалъ голову кругомъ И сталь предз носомз молчаливо. Щекотить ноздри копіемъ...

Картина, достойная Кирши Данилова! Далѣе чихнула голова, за ней и эхо чихаетъ... Вотъ что говоритъ рыцарь:

Я вду, вду, не свищу, А какъ навду, не спущу...

Потомъ рыцарь ударяетъ голову въ шежу тяжелой рукавицей... Но увольте меня отъ подобраго описанія, и позвольте спросить: если бы въ Московское Благородное Собраніе какънибудь втерся (предполагаю невозможное возможнымъ) гость съ бородою, въ армякъ, въ лаптяхъ и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: здорово, ребята! Неужели бы стали такимъ проказникомъ любоваться! Бога ради, позвольте мнъ, старику, сказать публикъ, посредствомъ вашего журнала, чтобы она каждый разъ жмурила глаза при появленіи подобныхъ странностей. Зачемь допускать, чтобы плоскія шутки старины снова появлялись между нами? Шутка грубая, не одобряемая вкусомъ просвъщеннымъ, отвратительна, а не мало не смѣшна и не забавна. Dixi.

Житель Бутырской слободы.

Итакъ, ясно, что «бутырскаго» критика оскорбиль прежде всего сказочный характерь поэмы «неизвъстнаго піиты», т. е. Пушкина. Но какой же, если не сказочный характеръ Аріостова «Orlando furioso»? Правда, рыцарскій сказочный міръ заключаеть въ себѣ несравненно больше поэзіи и занимательности, чтыть бъдный міръ русскихъ сказокъ; но что касается до сказочныхъ нелѣпостей, столь оскорбившихъ вкусъ бутырскаго критика, --- нхъ довольно въ поэмъ Аріоста, —и онъ, право, стоять «мужичка самъ съ ноготь, а борода съ локоть», или головы богатыря. Но, видите ли, Аріость писатель классическій, котораго слава уже утверждена была слишкомъ двумя столътіями: стало быть, къ нему и къ его славъ уже привыкли... Вольно же было Пушкину сочинить новую поэму, которой не было еще и года отъ роду, какъ ее ужъ въ пухъ разругали... При тоть же Аріоста самъ Вольтерь объявиль «ве-

личайшимъ изъ новъйшихъ поэтовъ»: стало быть, послъ такого авторитета, какъ авторитеть Вольтера, смъло можно было хвалить Аріоста, не боясь попасться впросакъ. В'ядь литературные авторитеты, подобно Корану, на то и существують, чтобъ люди могли быть умны безъ ума, свъдущи безъ ученія, знающи безъ труда и размышленія и безошибочно правы безъ помощи здраваго смысла. Вотъ другое дъло, если-бъ кто изъ признанныхъ авторитетовъ, напримфръ Ломоносовъ или Поповскій, могли объявить свое мибніе въ пользу «Руслана и Людмилы», тогда всъ единодушно признали бы эту сказку геніальнымъ произведеніемъ! хорошая порука-важное дізло, и чужой умь-всегда спасеніе для тъхь, у кого нать своего... Что бутырскій критикь нашель пошлыми не только выраженія «удавить бородой, стать передъ носомъ, щекотать ноздри копіемъ» и «вду, не свищу, а навду, не спущу», но и «умирающій лучъ солнца», это опять происходило отъ привычки къ облизаннымъ прозаическимъ общимъ мъстамъ предшествовавшей Пушкину поэзіи, и оть непривычки къ благородной простоть и близости къ натуръ. Все привычка! Одинъ бутырскій критикъ до того ожесточился противъ «Руслана и Людмилы», что риемы «языкомъ» и «копіемъ» назвалъ мужицкими... Видите ли: строго придирались даже къ версификаціи Пушкина, они, эти безусловные поклонники встхъ русскихъ поэтовъ до Пушкина, которые изо всъхъ силъ и со всевозможнымъ усердіемъ уродовали рускій языкъ незаконными устченіями, насиліемъ грамматики и разными «пінтическими вольностями. Каковъ бы ни былъ стихъ въ «Русланъ и Людмилѣ», но въ сравненіи со стихомъ «Душеньки» Богдановича, сказокъ Дмитріева, «Странствователя и Домосъда» Батюшкова и

даже «Двѣнадцати Спящихъ Цѣвъ» Жуковскаго, онъ — само изящество, сама ноэзія, Оскорблениая привычка этого не замъчала, а если замъчала, то для того только, чтобъ, по излишней привязчивости, ставить молодому поэту въ непростительную вину то, что считала чуть не достоинствомь въ старыхъ. Какъ человъкъ съ огромнымъ талантомъ, эту привязчивость возбудиль въ себъ и Грибоъдовъ. При «Въстникъ Европы» одинъ бутырскій критикъ состояль въ должности явнаго зоила всъхъ новыхъ яркихъ талантовъ; поэтому «Горе отъ ума» возбудило всю желчь его. Такъ, между прочимъ, было сказано по поводу отрывка изъ «Горе оть ума», помъщеннаго въ альманахъ «Талія»: «Смъемъ надъяться, что всь, читавшіе отрывокъ, позволять намъ оть лица встхъ просить Грибоъдова издать всю комедію». Бутырскій критикъ «Вфстника Европы», указавъ на эти слова, восклицаеть: «Напротивь, лучше попросить автора не издавать ея, пока не перемънитъ главнаго характера и не исправить слога».

Мы указываемъ на всъ эти диковинки, разумфется, не для того, чтобъ доказать ихъ чудовищную нелъпость: нгра не стоила бы свъчъ. да и смъшно было бы снова созывать къ суду людей и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всъхъ инстанціяхъ здраваго смысла н вкуса. Нать, мы хотали только охарактеризпровать время и правы, которые засталъ Пушкинъ на Руси при своемъ появленіи на поэтическое поприще, а вмъстъ съ тъмъ и показать, какую роль чудовище-привычка играеть тамъ, гдъ бы должны были играть роль только умъ н вкусъ. Оставимъ же въ сторонъ эти допотопныя ископаемыя древности, заключающіяся въ затвердълыхъ пластахъ «Въстника Евроны», и обратимся къ «Руслану и Людмилѣ».

Бутырскіе критики, какъ мы видъли, особенно оскорбились въ «Русланъ и Людмилъ» тымь, что показалось имь вь этой поэмы колоритомъ мъстности и современности въ отнощеніи къ ея содержанію. Но именно этого-то совсемъ и неть въ сказке Пушкина: она столько же русская, сколько нъмецкая или китайская. Кирша Даниловъ не виновать въ ней ни душой, ни тъломъ, ибо въ самой худшей изъ собранныхъ имъ русскихъ пъсенъ больще рус скаго духа, чъмъ во всей поэмъ Пушкина, хотя онь въ своемъ поэтическомъ прологѣ къ ней и сказаль: «Тамь русскій духь, тамь Русью нахнетъ». Въроятно Пушкинъ не зналъ сборника Кирши Данилова въ то время, когда писалъ «Руслана и Людмилу»; иначе онъ не могь бы не увлечься духомъ народно-русской поэзіи, п тогда его поэма имъла бы по крайней мъръ достоинство сказки въ русско-народномъ духъ, и притомъ написанной прекрасными стихами. Но въ ней русскаго одни только имена, да н то не всв. И этого руссизма нъть такъ же н въ содержаніи, какъ и въ выраженіи поэмы Пушкина. Очевидно, что она-плодъ чуждаго вліянія и скоръе пародія на Аріоста, чъмъ подражаніе ему, потому что надфлать нівмецких в рыцарей изъ русскихъ богатырей и витязейзначить исказить равно и нъмецкую, и русскую действительность. Намъ такъ мало осталось памятниковъ отъ до-историческихъ временъ Руси, что Владиміръ Красное-Солнышко столько же для насъ мноъ, сколько Владиміръ, просвътитель Руси, историческое лицо; а сказки Кирши Данилова, въ которыхъ является действующимъ лицомъ языческій Владиміръ, явно сложены въ поздивнитя времена. И потому Пушкинъ отъ преданія только и воспользовался, что словомъ «Солнце», приложеннымъ къ имени Владиміра. Пожива небогатая! Во

всемъ остальномъ его Владиміръ-Солнце—пародія на какого-нибудь Карла Великаго. Таковы же и Русланъ, и Рогдай, и Фарлафъ: дъйствительность ихъ, историческая и поэтическая, такой же точно пробы, какъ и дъйствительность Финна, Наины, богатырской головы и Черномора. Пушкинъ съ особенной радостью ухватился было за такъ называемаго «въщаго Баяна», понявъ слово «баянъ» какъ нарицательное и равнозначительное словамъ: «скальдъ. бардъ, менестрель, трубадуръ, миннезингеръ». Въ этомъ онъ раздълялъ заблуждение всъхъ нашихъ словесниковъ, которые, нашедъ въ «Словъ о Полку Игоревъ» въщаго баяна, соловья стараго времени, который «аще кому хотяше песнь творите, то растекашется мыслію по древу, сфрымъ волкомъ по землъ, сизымъ орломъ подъ облаки», — заключили изъ этого, что Гомеры древней Руси назывались баянами. Что въ древней Руси были свои пъсельники, сказочники, балагуры и прибауточники такъ же, какъ и теперь въ простомъ народъ бываютъ подобные, въ этомъ нътъ сомивнія; но по смыслу текста «Слова» ясно видно, что имя Баяна есть собственное, а отнюдь не нарицательное. Да и Баянъ «Слова» такъ неопредъленъ п загадоченъ, что на немъ нельзя построить даже иостроумныхъдогадокъ, на которыя такъщедры досужіе антикваріи, а темъ менте можно заключить изъ него что-нибудь достовтрное. И потому весь баянъ Пушкина—ни болъе, ни менъе, какъ риторическая фраза. О прологъ къ «Руслану и Людмилъ» дъйствительно можно сказать: «Туть русскій духь, туть Русью пахнеть»; по этоть прологь явился только при второмъ изданіи поэмы, то есть черезъ восемь лътъ-послъ перваго ел изданія, стало быть тогда, какъ Пушкинъ уже настоящимъ образомъ вникъ въ духъ народной русской поэзіи.

Первые семнадцать стиховъ, которыми начннается «Русланъ и Людмила», отъ стиха «Дъла давно минувшихъ дней» до стиха: «Низко кланялись гостямь», действительно «пахнуть Русью»; но ими начинается и ими же и оканчивается русскій духа всей этой поэмы; больше въ ней его слыхомъ не слыхать, видомъ не видать. Мы даже подозръваемъ, что не были-ль эти семнадцать счастливыхъ стиховъ поволомъ къ присочинению къ нимъ всей поэмы... Какъ бы то ни было, только поэма эта-шалость сильнаго, еще незрълаго таланта, который, кипя жаждой двятельности, схватился безъ разбора за первый предметь, мысль о которомъ какъ-то промелькнула перепъ нимъ въ веселый часъ. Весь тонъ поэмы-шуточный. Поэть не принимаеть никакого участія въ созданныхъ его фантазіей лицахъ. Онъ просто чертиль арабески и потышался ихъ забавной странностью. Оттого, какъ самъ Пушкинъ справедливо замъчалъ впослъдствін, она холодна. Въ самомъ дълъ, въ ней много граціи, игривости, остроумія; есть живость, движеніе и еще больше блеска, но очень мало жара. Въ эпизодъ о Финнъ проглядываеть чувство; оно вспыхиваеть на минуту въ воззваніи Руслана къ усъянному костьми полю, но это воззваніе оканчивается нъсколько риторически. остальное холодно.

Вообще «Русланъ и Людмила» для двадцатыхъ годовъ имъла то же самое значеніе, какое «Душенька» Богдановича для семидесятыхъ годовъ. Разумъется, великъ перевъсъ на сторонъ поэмы Пушкина и въ отношеніи къ превосходству времени и къ превосходству таланта. Но наше время далеко впереди объихъ этихъ эпохъ русской литературы,—и потому если «Душеньку» теперь нътъ пикакой возможпости прочесть отъ начала до конца по доброй

волъ, а не по нуждъ, которая можеть заставить прочесть и «Телемахиду», то «Руслана и Людмилу» можно только перелистывать отъ нечего дълать, но уже нельзя читать, какъ чтонибудь дъльное. Ея литературно-историческое значеніе гораздо важиве значенія художественнаго. По своему содержанию и отдълкъ она принадлежить къ числу переходныхъ пьесъ Пушкина, которыхъ характеръ составляетъ подновленный классицизмъ: въ нихъ Пушкинъ является улучшеннымъ, усовершенствованнымъ Батюшковымъ. Въ «Русланъ и Людмилъ», какъ мы уже сказали выше, нъть ни признака романтизма; даже ощутителенъ недостатокъ поэзіи, несмотря на все изящество выраженія и всю прелесть стиха, неслыханныя до того времени. Скажемъ больше: даже со стороны формы, какъ ни много она выше обветшалыхъ формъ прежней поэзіи, есть звенья, соединяющія «Руслана и Людмилу» съ прежней школой поэзіи: мы разумъемъ здъсь употребленіе словъ «брада, глава» и произвольное употребление усвченныхъ прилагательныхъ, которыхъ въ поэмъ Пушкина найдется больше десятка. Словомъ, если-бъ не недостатокъ самомыслительности и не избытокъ привычки, такъ называемые классики того времени должны были бы торжествовать, какъ свою побъду надъ такъ называвшимися тогда романтиками, появленіе «Руслана и Людмилы»,—на Пушкинъ сосредоточить всъ надежды своей партіи, а истиннаго представителя романтизма, слъдовательно самаго опаснаго ихъ врага, видъть въ Жуковскомъ. Въ самомъ дълъ, нъкоторые изъ нихъ были какъ-будто близки къ этому взгляду. Въ «Въстникъ Европы» 1824 года одинъ классикъ разсердился за то, что Верстовскій, положившій на музыку «Черную Шаль» Пушкина, назваль ее кантатой.

«Почему (говорить бутырскій классикъ) Верстовскій возвель простую пісню на степень кантаты? Такого ли содержанія бывають кантаты собственно такъ называемыя? Такими ли видимъ ихъ у Драйдена, у Жанъ-Баптиста Руссо и у другихъ поэтовъ знаменитыхъ? (Хороши знаменитости-Драйдень и Жань Баптисть Руссо!). Истощивъ средства свои на страсти, бунтующія въ душь безвъстнаго человъка, что употребить онъ, когда нужно будетъ силою музыки возвысить значительность словъ въ техъ кантатахъ, где историческія или минологическія во многихъ отношеніяхъ известныя и для всехъ просвещенныхъ людей занимательныя лица страдають или торжествуютъ?-Въ пъснъ Пушкина представляется намъ какой-то молдаванинъ, убившій какуюто любимую имъ красавицу, которую соблазнилъ какой-то армянинъ. Достойно ли это того, чтобъ искусный композиторъ изыскивалъ средства потрясать сердна слушателей, чтобъ для пъсни тратилъ сокровища музыки? Не значить ли это воздвигнуть огромный пьедесталь для маленькой красивой куклы, хотя бы она была сдълана на Севрской фабрикъ? Угадываю причины, побудившія Верстовскаго къ сему подвигу, и знаю напередъ одинъ изъ отвътовъ: «А. Пушкинъ принадлежитъ къ числу первоклассныхъ поэтовъ нашихъ». Что касается до стихотворства, я самъ отдаю ему совершенную справедливость; стихи его отмінно гладки, плавны, чисты; не знаю, кого изъ нашихъ сравнивать съ нимъ въ некусствъ стопосложенія; скажу болье: Пушкинг не охотникт щеголять эпитетами, не бросается ни въ сантиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; она жива и стремителень въ разсказъ; употребляеть слова въ надлежсащемо ихо смысль; наблюдаето умную соразмърность во раздълении мыслей: все это составляеть внъшнюю (?) красоту его стихотвореній. Гдѣ жъ однако тѣ качества, которыя, по словамъ Горація, составляють поэта? гдѣ mens divinior? гдѣ os magna sonaturum? (№ 1,

стр. 70 и 71).

Замъчаете ли, что нашъ бутырскій критикъ видълъ кое-что въ Пушкинъ, и если не увидълъ всего, ему номъщала привычка. Пушкинъ не любилъ щеголять эпитетами, не бросался ни въ сентиментальность, ни въ таинственность, ни въ надутость, ни въ пустословіе; онъ живъ и стремителенъ въ разсказъ, употребляеть слова въ надлежащемъ ихъ смыслъ, наблюдаетъ умную соразмърность въ раздъленіи мыслей: все это дъйствительно составляло неотъемлемыя качества Пушкинской поэзіи, и качества великія; но-видите ли-по мнѣнію бутырскаго классика, это не больше, какъ вившияя (?) красота стихотворенія Пушкина, потому-что гдъ же въ нихъ mens divinior (божественное безуміе, изступленіе, восторгъ), гдъ os magna sonaturum? А что такое разумълн подъ этимъ наши псевдо-классическіе критики? Воть что:

... Кто завъсу мнъ въчности расторгъ? Я вижу молній блескъ! Я слышу съ гория свъта И то, и то!..

Прочтите всю превосходную сатиру Дмитріева «Чужой Толкъ»—и вы еще лучие поймете, что наши классики разумъли подъ mens divinior. Хотя многія изъ первыхъ произведеній Пушкина (какъ напримъръ «Черная Шаль», «Наполеонъ«, «Андрей Шенье») не чужды декламаціи и риторической напряженности, но для нашихъ классиковъ этого было мало; они не могли увидъть въ Пушкинъ mens divinior,—

такъ привыкли они къ напыщенной шумихъ одопъній своего времени! Посмотрите, изъ чего хлопотали бъдияжки: изъ названій, изъ словъ-«ода, кантата, пъсня» и т. п. Мы сами слышали однажды, какъ глава классическихъ критиковъ, почтенный, умный и даровитый Мерзляковъ сказалъ съ каоедры: «Пушкинъ пишетъ хорошо, но, Бога ради, не называйте его сочиненій поэмами!» Подъ словомъ «поэма» классики привыкли видъть что-то чрезвычайно важное. Съ «кантатами» ихъ познакомили Драйденъ и Жанъ-Баптистъ Руссо: стало-быть, то уже не кантата, что не было рабской копіей съ какой-нибудь кантаты этихъ двухъ риторовъ-стихотворцевъ. И какимъ образомъ страсти безењетнаго человена могли быть предметомъ такого высокаго рода поэзін, какъ кантата?-съ нихъ было бы заглаза довольно и нъжной пъсенки въ родъ: «Стонетъ сизый голубочекъ»: въдь въ залы входять только господа, а слуги остаются въ передней! Въ то время высокій и священный сань человика не признавался ни за что, и человъкъ считался ниже не только титулярнаго совътника, но н простого канцеляриста. Какъ же можно было видъть равнодушно, что талантливый композиторъ тратить сокровища музыки на чувство какого-то армянина...

А между тъмъ бутырскіе классики были близки и къ тому, чтобы увидъть въ Жуковскомъ истиннаго своего врага, какъ это можно

замътить изъ слъдующихъ строкъ:

«Вудучи однимъ изъ почитателей (но не слъпыхъ и раболъпныхъ) таланта нашего отличнаго стихотворца, В. А. Жуковскаго, я такъ же, какъ и прочіе мои соотечественники, восхицался многими прекрасными его произведеніями. Такъ, м. г. м., и я, хотя не имъю чести быть орлиной породы, смълъ прямо смотръть на солнце, любовался блескомъ его и согръвался живительной его теплотой до тахъ поръ, пока западные, чужеземные туманы и мраки не обложили его и не заслонили свъть его отъ слабыхъ глазъ моихъ, слабыхъ потому, что не могуть видъть свъта сквозь мракъ и туманъ. Говоря языкомъ общепонятнымъ, я съ восхишеніемъ читалъ и перечитывалъ «Пфвиа во станъ русскихъ воиновъ», переводъ Греевой элегіи. «Людмилу», «Свътлану», «Эолову арфу», многія мъста изъ «Двънадцати Спящихъ Дъвъ» н разныя другія стихотворенія Жуковскаго. Но съ нъкотораго времени, когда имя его стало появляться подъ стихотвореніями, въ которыхъ все немецкое, кроме буквъ и словъ,--восторгь и удивление во мит уступили мъсто сожальнію о томъ, что стихотворець съ такими превосходными дарованіями оставиль красоты и приличія языка: оставиль тв средства, которыми онъ усыновилъ русскимъ «Людмилу», «Ахилла» и столько другихъ произведеній словесности чужестранной ... оставилъ, и для чего же? Чтобы ввести въ нашъ языкъ обороты, блестки ума и безпонятную выспренность нынвинихъ стихотворцевъ-мистиковъ! Если первыя баллады Жуковскаго породили толпу подражателей, которые только жалкимъ образомъ его передразнивали, не умъя подражать красотамъ, разсыпаннымъ щедрой рукой въ прежнихъ его произведеніяхъ, то мудрено ли, что теперь люди съ превосходными дарованіями нли вовсе и безъ дарованій съ жадностью подражають въ немъ тому, что находять по своимъ силамъ?.. Истинный талантъ долженъ принадлежать своему отечеству; человъкъ, одаренный такимъ талантомъ, если избираетъ поприщемъ своимъ словесность, долженъ возвысить славу природнаго языка своего, раскрыть его сокровища и обогатить оборотами и выраженіями ему свойственными; геній имфеть даже право вводить новые, по не иноплеменные, и никогда не выпускать изъ виду свойства и приличія языка отечественнаго». («В. Е.» 1821, т. СХVІІ,

cmp. 19-21).

Но и туть, ясно, привычка помѣшала увидѣть дѣло такъ, какъ оно было: бутырскій классикъ не видалъ романтизма въ самыхъ ультра-романтическихъ пьесахъ Жуковскаго, каковы: «Людмила», «Свѣтлана», «Эолова Арфа», «Двѣнадцать Спящихъ Дѣвъ», но увидѣлъ его въ позднѣйшнхъ, лучшихъ и по содержанію и по формѣ, произведеніяхъ Жуковскаго. Подлинно, въ младенческое время литературы и

старцы поневолъ бывають дътьми...

Восторги, возбужденные «Русланомъ и Людмилой», равно какъ и необыкновенный успъхъ этой поэмы, несмотря на всю дътскость ея постоинствъ, гораздо естествениве и понятиве. чъмъ яростные нападки на нее бутырскихъ классиковъ. Не говоря уже о томъ, что всякая удачная новость ослъпляеть глаза, въ «Руслаив и Людмиль» русская поэзія дыйствительно сдълала огромный шагь впередъ, особенно со стороны технической. Всв восхищались ея прекраснымъ языкомъ, стихами, всегда легкими и звучными, а иногда и истинно-поэтическими, граціозной шуткой, разсказомъ плавнымъ, увлекательнымъ, живымъ и быстрымъ, всей этой игривой затвиливостью, шаловливостью и причудливостью арабесковъ въ характерахъ и событіяхъ, и никому не приходило въ голову требовать отъ этой поэмы народности, къ которой обязывалось ея заглавіе и самое содержаніе, естественности, поэтической мысли, вполнъ художественной отдълки. Образца для нея не было на русскомъ языкъ, а если и были прежде попытки въ этомъ родъ, но такія инчтожныя, что сравненіе съ пими

не могло бы сбавить цёны съ «Руслана и Людмилы». У кого изъ прежнихъ поэтовъ можно было найти стихи, подобные напримеръ этимъ:

И воть невъсту молодую Ведуть на брачную постель; Огни погасли... и ночную Лампаду зажигаеть Лель. Свершились милыя надежды, Любви готовятся дары; Падуть ревнивыя одежды На џареградскіе ковры... Вы слышите-ль влюбленный шопоть И поџълуевъ сладкій звукъ, И прерываюційся ропоть Послъдней робости?..

Или:

Но прежде юношу ведутъ Къ великолъпной русской банъ. Ужь волны дымныя текуть Въ ея серебряные чаны, И брызжуть хладные фонтаны; Разостланъ роскошью коверъ-На немъ усталый ханъ ложится; Прозрачный парь надъ нимъ клубится; Потупя неги полный взоръ, Прелестныя, полунагія, Въ заботъ нъжной и нъмой, Вкругъ хана дъвы иолодыя Тъснятся ръзвою толпой. Надъ рыцаремъ иная машетъ Вътвями молодыхъ березъ, И жаръ отъ нихъ душистый пашеть; Другая сокомъ вешнихъ розъ Усталы члены прохлаждаеть, И въ ароматахъ потопляетъ Темнокудрявые власы.

Восторгомъ витязь упоенной Уже забылъ Людмилы плвиной Недавно милыя красы; Томится сладостнымъ желаньемъ; Бродяцій взоръ его блестить, И, полный страстнымъ ожиданьемъ; Онъ таетъ сердцемъ, онъ горитъ.

Конечно, теперь смѣшно заблужденіе людей того времени, которые въ «Русланѣ и Людмиль» думали видѣть поэтическое возсозданіе народно-русскаго сказочнаго міра; но въ двадцатыхъ годахъ, право, немудрено было, въ первый разъ читая такіе стихи, до того увлечься ими, чтобъ въ описаніи какой-то небывалой, фантастической бани увидѣть «великолѣпную русскую» баню. Кому неизвѣстно великолѣпіе нашихъ бань, гдѣ въ такомъ употребленіи «сокъ весеннихъ розъ», а «вѣтви молодыхъ березъ» прозаически называются вѣниками?

Эпилогъ къ «Руслану и Людмилъ» исполненъ элегической поэзін; но, какъ и прологъ къ этой же поэмъ, онъ, если не ошибаемся, былъ написанъ послъ нея: при ней же явился только во второмъ ея изданіи, въ 1828 году.

Потому ли что изумительные успѣхи Пушкина и быстрый ходъ его распространяющейся славы слишкомъ озадачили бутырскихъ критиковъ и классиковъ, или потому—что они уже сами начали привыкать къ поэзіи Пушкина,—только противъ «Кавказскаго Плѣнника» уже почти совсѣмъ не было воплей, и, напротивъ, ему раздавались вездѣ только хвалебные гимны. Даже въ «Вѣстникѣ Европы» 1823 года была помѣщена похвальная критика этой поэмѣ (вышедшей въ 1822 году). Эта критика особенно замѣчательна, и въ свое время весьма прославились тѣмъ, что ея сочинитель, при всемъ своемъ стараніи и усердіи, никакъ не могъ до-

гадаться, что сдълалось съ черкешенкой и что означають эти прекрасные поэтическіе стихи:

Вдругь волны глухо зашумъли И слышенъ отдаленный стонъ. На дикій брегь выходить онъ, Глядить назадъ... брега яснюли И опъненные бълъли; Но нъть черкешенки младой Ни у бреговъ, ни подъ горой... Все мертво... на брегахъ уснувшихъ Лишь вътра слышенъ легкій звукъ, И при лунь въ волнахъ плеснувшихъ Струистый исчезаетъ кругъ...

Такова была тогда привычка къ прозаичности прежней поэзін, что слишкомъ поэтическій, и по тому уже самому слишкомъ ясный обороть, назывался темнымъ и неопредъленнымъ. Да, Пушкину предстоялъ подвигъ—воспитать и развить въ русскомъ обществъ чувство изящнаго, способность понимать художество, и опъ вполнъ совершилъ этотъ великій подвигъ!

«Кавказскій Плѣнникъ» былъ принять публикой еще съ большимъ восторгомъ, чъмъ «Русланъ и Людмила», и, надо сказать, эта маленькая поэма вполнъ достойна была того пріема, которымъ ее встрътили. Въ ней Пушкинъ явился вполнъ самимъ собой и вмъстъ съ тъмъ вполнъ представителемъ своей эпохи: «Кавказскій Плънникъ» насквозь проникнуть ел паеосомъ. Впрочемъ, паоосъ этой поэмы—двойственный: поэть быль явно увлечень двумя предметами-поэтической жизнью дикихъ и вольныхъ горцевъ, и потомъ-элегическимъ идеаломъ души, разочарованной жизнью. Изображение того и другого слилось у него въ одну роскошнопоэтическую картину. Грандіозный образъ Кавказа съ его воинственными жителями въ пер-

вый разъ былъ воспроизведенъ русской поэзіей, —и только въ поэмѣ Пушкина въ первый разъ русское общество познакомилось съ Кавказомъ, давно уже знакомымъ Россіи по оружію. Мы говоримъ «въ первый разъ»: ибо какихъ-нибудь двухъ строфъ, довольно прозанческихъ, посвященныхъ Державипымъ изображенію Кавказа, и отрывка изъ посланія Жуковскаго къ Воейкову, посвященнаго тоже довольно прозаическому описанію (въ стихахъ) Кавказа, слишкомъ недостаточно для того, чтобъ получить какое-нибудь, хотя скольконибудь приблизительное понятіе объ этой поэтической сторонъ. Мы въримъ, что Пушкинъ съ добрымъ намфреніемъ выписалъ въ примфчаніяхъ къ своей поэмѣ стихи Державина п Жуковскаго, и съ полной искренностью, отъ чистаго сердца, хвалить ихъ; но тъмъ не менъе онъ оказалъ имъ черезъ это слишкомъ плохую услугу: ибо послъ его исполненныхъ творческой жизни картинъ Кавказа, никто не повърить, чтобъ въ тъхъ выпискахъ шло дъло о томъ же предметъ,.. Мы не будемъ выписывать изъ поэмы Пушкина картинъ Кавказа и горцевъ: кто не знаетъ ихъ наизусть? Скажемъ только, что, несмотря на всю незрълость таланта, которая такъ часто проглядываеть въ «Кавказскомъ Плънникъ», несмотря на слишкомъ юношеское одушевленіе зрълищемъ горъ н жизнью ихъ обитателей, — многія картины Кавказа въ этой поэмъ и теперь еще не потеряли своей поэтической ценности. Принимаясь за «Кавказскаго Плънника» съ гордымъ намъреніемъ слегка перелистывать его, вы незам'ятно увлекаетесь имъ, перечитываете его до конца и говорите; «все это юно, незрѣло, и однакожъ такъ хорошо!» Какое же дъйствіе должны были произвести на русскую публику эти живыя, яркія, великольшно-роскошныя картины Кавказа при пераомъ появленіи въ свъть поэмы! Съ тъхъ поръ, съ легкой руки Пушкина, Кав-казъ сдълался для русскихъ завътной страной не только широкой, раздольной воли, но и неисчернаемой поэзіи, страной кипучей жизни и смълыхъ мечтаній! Муза Пушкина какъ бы освятила давно уже на дълъ существовавшее родство Россіи съ этимъ краемъ, куплечнымъ драгоцънной кровью сыновъ ея и подвигами ея героевъ. И Кавказъ—эта колыбель поэзіи Пушкина—сдълалась потомъ и колыбелью поэ-

віи Лермонтова...

Какъ истинный поэть, Пушкинъ не могь описаній Кавказа вм'єстить въ свою поэму, какъ эпизодъ кстати: это было бы слишкомъ дидактически, а слъдовательно и прозаически, и потому онъ тесно связаль свои живыя картины Кавказа съ дъйствіемъ поэмы. Онъ рисуеть ихъ не отъ себя, но передаеть ихъ, какъ впечатлънія и наблюденія плънника—героя поэмы, и оттого онъ дышать особенной жизнью, какъ будто самъ читатель видитъ ихъ собственными глазами на самомъ мъстъ. Кто былъ на Кавказъ, тотъ не могъ не удивляться върности картинъ Пушкина: взгляните хотя съ возвышенностей, при которыхъ стоить Пятигорскъ, на отдаленную цъпь горъ, ш вы невольно повторите мысленно эти стихи, о которыхъ вамъ можеть быть не случалось вспоминать цълые годы:

Великолъпныя картины! Престолы въчные сиъговъ, Очамъ казались ихъ вершины Недвижной цъпью облаковъ, И въ ихъ кругу колоссъ двуглавый; Въ вънцъ блистая ледяномъ, Эльбрусъ огромный, величавый, Бълълъ на небъ голубомъ.

Описаній дикой воли, разбойническаго героизма и домашней жизни горцевъ-дышать чертами ярко върными. Но черкешенка, связывающая собой объ половины поэмы, есть лицо совершенно идеальное и только внъшнимъ образомъ върное дъйствительности. Въ изображеніи черкешенки особенно выказалась вся незрѣлость, вся юность таланта Пушкина въ то время. Самое положение, въ которое поставиль поэть два главныя лица своей поэмы, черкешенку и плъншика, -- это положение, наиболъе плънившее публику, отзывается мелодрамой и можеть быть по тому самому такъ сильно увлекло самого молодого поэта. Нотакова сила истиннаго таланта!-при всей театральности положенія, на которомъ завязанъ узель поэмы, при всей его безцвътности въ отношеніи къ дъйствительности—въ ръчахъ черкешенки и плѣнника столько элегической истины чувства, столько сердечности, столько страсти и страданія, что ничъмъ нельзя оградиться оть ихъ обаятельнаго увлеченія, при самомъ ясномъ сознаніи въ то же время, что на всемъ этомъ лежить печать какой-то дътскости. Съ особенной силой дъйствуеть на душу читателя сцена освобожденія плінника черкешенкой, и эти стихи-

> Пилу дрожащей взявъ рукой, Къ его ногамъ она склонилась: Визэкит эксельзо подъ пилой, Слеза невольная скатилась— И пъпь распалась и гремитъ.

Чувство свободы борется въ этой сценъ съ грустью по судьбъ черкешенки: вы понимаете, что исполненный этого чувства свободы плънникъ не могъ не предложить своей освободительницъ того, въ чемъ прежде такъ основа-

тельно и благородно отказываль ей; но вы понимаете также, что это только порывь, и что черкешенка, наученная страданіемь, не могла увлечься этимь порывомь. И, несмотря на всю грусть вашу о погибшей красавиць, мученическая смерть которой нарисована такъ поэтически, вы чувствуете, что грудь ваша дышеть свободные по мырь того, какъ плынику вътуманы начинають сверкать русскіе штыки, а до его слуха доходять оклики сторожевыхъ казановь.

Но что же такое этоть плънникъ? - Это вторая половина двойственнаго содержанія и двойственнаго паеоса поэмы; этому лицу поэма обязана своимъ успъхомъ не меньше, если не больше, чъмъ яркимъ краскамъ Кавказа. Плѣнникъ это—«герой того времени». Тогдашніе критики справедливо находили въ этомъ лицъ и неопредъленность, и противоръчивость съ самимъ собой, которыя дълали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плънника и возбудилъ собой такой восторгъ въ публикъ. Молодые люди особенно были восхищены имъ, потому что каждый видъль въ немь болъе или менъе свое собственное отражение. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предіпествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнъйшей дъятельности, это кипъніе крови при душевномъ холодъ, это чувство пресыщенія, послѣдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смънившее собой голодъ и жажду, эта жажда дъятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездъйствіи и апатической лівни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это-черты «героевъ нашего времени» со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ

только первый указаль на нихъ, потому что они уже начали показываться еще до него. а при немъ ихъ было уже много. Они не случайное, но необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцвътовъ не поэзія Пушкина или чья бы то ни было, но общество. Это оттого, что общество живеть и развивается, какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда-и старости. Поэзія русская до Пушкина была отголоскомъ, выраженіемъ младенчества русскаго общества. И потому это была поэзія до наивности невинная: она гремъла одами на иллюминаціи, писала нъжные стишки къ милымъ и была совершенно счастлива этими идиллическими занятіями. Дъйствительностью ея была мечта, а потому ея дъйствительность была самая аркадская, въ которой невинное блеяние барашковъ, воркование голубковъ, поцълуи пастушковъ и пастушекъ и сладкія слезы чувствительныхъ душъ прерывались только не менѣе невинными возгласами «пою» или «о ты, священна добродътель!» и т. п. Даже романтизмъ того времени быль такъ наивно-невиненъ, нскаль эффектовь на кладбищахь и пересказываль съ восторгомъ старыя бабы сказки о мертвецахъ, оборотняхъ, въдьмахъ, колдуньяхъ, о дъвъ, за ропоть на судьбу заживо увезенной мертвымъ женихомъ въ могилу, и тому подобные невинные пустяки. Въ трагедіи тогдашняя поэзія очень пристойно выплясывала чинный менуэть, делая изъ Донского какого-то крикуна въ римской тогъ. Въ комедіи она пресл'єдовала именно т'є пороки и недостатки общества, которыхъ въ обществъ не было и не дотрогивалась именно до тахъ, которыми оно было полно, такъ что комедін Фонвизина являются въ этомъ отношеніи какими-то исключеніями изъ общаго правила. Въ сатиръ тоглашияя поэзія нападала скоръе на пороки древне-греческаго и римскаго, или старо-французскаго общества, чъмъ русскаго. Невинность была всесовершенивишая, а оттого, разумъется, эта поэзія была и нравственной въ высшей степени. Общество пило, ъло, веселилось. По разсказамъ нашихъ стариковъ, тогда не по нынъшнему умъли веселиться, и передъ неутомимыми плясунами тогдашняго времени самые задорные нынашніе танцорыпросто старики, которые похороннымъ маршемъ выступають тамъ, гдф бы надо было вывертывать ногами и выстукивать каблуками такъ, чтобъ полъ трещалъ и окна дрожали. Быть безусловно счастливымъ, это-привилегія младенчества. Младенецъ играеть жизнью-плешется въ ея свътлой волнъ и безотчетно любуется брызгами, которые производять его ръзвыя движенія; онъ всемъ восхищается, все находить лучшимъ, нежели оно есть на самомъ дълъ, —и если ему скоро надоъдаеть одна игрушка, то такъ же скоро плъняеть его другая. Не таковъ уже возрасть отрочества-переходъ отъ дътства къ юношеству. Правда, и туть человъкъ все еще играетъ въ игрушки, но уже не тъ игрушки; мъняя ихъ одна на другую, онъ уже сравниваеть ихъ съ своимъ идеаломъ, и ему грустно, когда онъ не находить осуществленія своего неопредъленнаго желанія, въ которомъ самъ себъ не можеть дать отчета. Лишеніе игрушки—для него горе, ибо оно есть уже утрата надежды, потеря сердца. Съ юношествомъ эта жизнь сердца и ума вспыхиваеть полнымъ пламенемъ, и страсти вступають въ борьбу съ сомнъніемъ. Туть много радостей, но столько же, если не больше, и горя: ибо полное счастье только въ непосредственности бытія; отрочество есть начало пробужденія, а юпость—полное пробужденіе сознанія, корень котораго всегда горекъ; сладкіе же плоды его—для будущихъ покольній, какъ богатое и выстраданное насльдіе отъ

предковъ потомкамъ...

«Кавказскій Плѣнникъ» Пушкина засталь общество въ періодъ его отрочества и почти на переходъ изъ отрочества въ юношество. Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества. И Пушкинъ быль самь этимъ плънникомъ, но только на ту пору, пока писалъ его. Осуществить въ творческомъ произведении идеаль, мучивший поэта. какъ его собственный недугъ, -- для поэта значить навсегда освободиться оть него. Это же лицо является и въ слъдующихъ поэмахъ Пущкина, но уже не такимъ, какъ въ «Кавказскомъ Плънникъ»: слъдя за нимъ, вы безпрестанно застаете его въ новомъ моментъ развитія, и видите, что оно движется, идеть впередъ, двлается сознательнъе, а потому и интереснъе для васъ. Темъ-то Пушкинъ, какъ великій поэть, и отличался отъ толпы своихъ подражателей, что, не измъняя сущности своего направленія, всегда кръпко держась дъйствительности, которой быль органомъ, всегда говориль новое, между темь какъ его подражатели и теперь еще хриплыми голосами допрвають свои старыя и всемь надожещія прсни. Въ этомъ отношении «Кавказский Пленникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извъстное время, и подъ этимъ условіемъ она всегда будеть казаться прекрасной. Если-бъ въ наше время даровитый поэть написалъ поэму въ духъ и тонъ «Кавказскаго Плънника»,—она была бы безусловно ничтожныйшимъ произведеніемъ, хотя бы въ художественномъ отношении и далеко превосходила

Пушкинскаго «Кавказскаго Плѣнника», который въ сравненіи съ ней все бы остался

такъ же хорошъ, какъ и безъ нея.

Лучшая критика, какая когда-либо была написана на «Кавказскаго Плънника», принадлежить самому же Пушкину. Въ стать его «Путешествіе въ Арзерумъ» находятся слѣдующія слова, написанныя имъ черезъ семь лізть послів изданія «Кавказскаго Плѣнника»: «Здѣсь нашелъ я измаранный списокъ «Кавказскаго Плънника» и, признаюсь, перечелъ его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, молодо, неполно; но многое угадано и выражено върно». Не знаемъ, къ какому времени относится слъдующее суждение Пушкина о «Кавказскомъ Пленникъ», но оно очень интересно, какъ факть, доказывающій, какъ смело умель Пушкинъ смотръть на свои произведенія: «Кавказскій Плиникъ»—первый неудачный опыть характера, съ которымъ я насилу сладилъ; онъ былъ принятъ лучше всего, что я написалъ, благодаря изкоторымъ элегическимъ и описательнымъ стихамъ. Но зато Н. и А. Р., и ямы вдоволь надъ нимъ посмъялись». Слова: «характерь, съ которымъ я насилу сладилъ» особенно замъчательны: они показывають, что поэть силился изобразить вить себя (объектировать) настоящее состояние своего духа, и потому самому не могь вполнъ этого сдълать.

Въ художественномъ отношеніи «Кавказскій пленникъ» принадлежить къ числу техъ произведеній Пушкина, въ которыхъ онъ являлся еще ученикомъ, а не мастеромъ поэзіи. Стихи прекрасны, исполнены жизни, движенія, много поэзіи; но еще нетъ художества. Содержаніе всегда бываетъ соответственно формъ, и наобороть; педостатки одного тесно связаны съ недостатками другой, и наобороть. Въ отделкъ стиховъ «Кавказскаго Пленника» замътно еще, хотя и меньше, чъмъ въ «Руслант и Людмилт», вліяніе старой школы. Встръчаются неточныя выраженія, какъ напримъръ въ стихъ: «Удары шашекъ ихъ *же*стоких δ », или « $\Gamma \partial n$ обияль грозное страданье»; попадаются слова: глава, младой, власы. Вступленіе нъсколько тяжеловато, какъ и въ «Бахчисарайскомъ Фонтанъ»; но слабыхъ стиховъ вообще мало, а оборотовъ прозаическихъ почти совсемь неть; поэзія выраженія почти везде необыкновенно богата. Какъ факть для сравненія поэзін Пушкина вообще съ предшествовавшей ему поэзіей, укажемъ на то, какъ поэтически выражено въ «Кавказскомъ Плънникъ» самое прозаическое понятіе, какъ черкешенка учила плънника языку ея родины:

Съ неясной рѣчію сливаеть Очей и знаковъ разговоръ; Поетъ ему и пѣсни горъ, И пѣсни Грузіи счастливой, И памяти нетерпъливой Передаетъ языкъ чужой.

Нѣкоторыя выраженія исполнены мысли, и многія мѣста отличаются поразительной вѣрностью дѣйствительности времени, котораго пѣвцомъ и выразителемъ былъ поэтъ. Примѣръ того и другого представляють эти прекрасные стихи:

Людей и свёть извёдаль онь, Узналь невёрной жизни цёну, Въ сердцахь друзей нашедь измёну, Въ мечтахъ любви—безумный сонъ! Наскуча жертвой быть привычной Давно презрённой суеты И непріязни двуязычной, И простодушной клеветы,—

Отступникъ свъта, другъ природы, Покинулъ онъ родной предълъ И въ край далекій полетълъ Съ веселымъ признакомъ свободы.

этихъ немногихъ стихахъ слишкомъ много сказано. Это краткая, но ръзко-характеристическая картина пробудившагося сознанія общества въ лицъ одного изъ его представителей. Проснулось сознаніе, -- и все, что люди почитають хорошимь по привычкъ, тяжело пало на душу человъка, и онъ въ явной враждъ съ окружающей его дъйствительностью, въ борьбъ съ самимъ собой; недовольный ничъмъ, во всемъ видя призраки, онъ летить вдаль за новымъ призракомъ, за новымъ разочарованіемъ... Сколько мысли въ выраженін: «быть жертвой простодушной клеветы»? Вѣдь клевета не всегда бываеть дѣйствіемъ злобы: чаще всего она бываеть плодомъ невиннаго желанія разсвяться занимательнымъ разговоромъ, а иногда и плодомъ доброжелательства и участія столь же искренняго, сколько и неловкаго. И все это поэть умълъ выразить однимъ смълымъ эпитетомъ! Такихъ эпитетовъ у Пушкина много, и только у него одного впервые начали являться такіе эпитеты!

По мивнію Пушкина, «Бахчисарайскій Фонтанъ» слабве «Кавказскаго Плвиника»; съ этимъ пельзя вполив согласиться. Въ «Бахчисарайскомъ фонтанв» (вышедшемъ въ 1824 году), замвтенъ значительный шагъ впередъ со стороны формы: стихъ лучше, поэзія роскониве, благоуханиве. Въ основъ этой поэмы лежить мысль до того огромная, что она могла бы быть подъ-силу только вполив развившемуся и возмужавшему таланту; очень естественно, что Пушкинъ не совладалъ съ

нею и можеть быть оттого-то и быль къ ней уже слишкомъ строгъ. Въ дикомъ татаринъ, пресыщенномъ гаремной любовью, вдругъ вспыхиваеть болъе человъческое и высокое чувство къ женщинъ, которая чужда всего, что составляеть прелесть владыки и что можеть пленять вкусь азіатскаго варвара. Въ Маріи-все европейское, романическое: этодъва среднихъ въковъ, существо кроткое, скромное, дътски-благочестивое. И чувство, невольно внушенное ею Гирею, есть чувство романтическое, рыцарское, которое перевернуло вверхъ дномъ татарскую натуру деспотаразбойника. Самъ не понимая, какъ, почему, и для чего, онъ уважаеть святыню этой беззащитной красоты, опъ-варваръ, для котораго взаимность женщины никогда не была необходимымъ условіемъ истипнаго наслажденія,-онъ ведетъ себя въ отношеніи къ ней почти такъ, какъ паладинъ среднихъ въковъ:

Гирей несчастную щадить: Ея унынье, слезы, стоны Тревожать хана краткій сонь, И для нея смягчаеть онъ Гарема строгіе законы. Угрюмый сторожь ханскихь жень Ни днемъ, ни ночью къ ней не входитъ, Рукой заботливой не онъ На ложе сна ее возводить, Не смфеть устремиться къ ней Обидный взоръ его очей; Она въ купальнъ потаенной Одна съ невольницей своей; Самъ ханъ боится дъвы плънной Печальный возмущать покой; Гарема въ дальнемъ отдъленьи Позволено ей жить одной: И мнится, въ томъ уединеньи Сокрылся нъкто неземной.

Большаго отъ татарина нельзя и требовать. Но Марія была убита ревнивой Заремой. Нѣтъ и Заремы:

Гарема стражами нъмыми
Въ пучину водъ опущена.
Въ ту ночь, какъ умерла княжна,
Свершилось и ея страданье.
Какая бъ ни была вина,
Ужасно было наказанье!...

Смертью Маріи не кончились для хана муки пераздъленной любви:

Дворенъ угрюмый опустыль, Его Гирей опять оставиль; Съ толпой татаръ въ чужой предыль Онъ злой набыть опять направиль; Онъ снова въ буряхъ боевыхъ Несется мрачный, кровожадный; Но въ сердив хана чувствъ иныхъ Таился пламень безотрадный. Онъ часто въ сычахъ роковыхъ Подъемлетъ саблю и съ размаха Недвижимъ остается вдругъ, Глядитъ съ безуміемъ вокругъ, Блыдныетъ, будто полный страха, И что-то шепчетъ и порой Горючи слезы льетъ рыкой.

Видите ли: Марія взяла всю жизнь Гирея; встрѣча съ нею была для него минутой перерожденія, и если онъ отъ новаго, невѣдомаго ему чувства, вдохнутаго ею, еще не сдѣлался человъкомъ, то уже эсивотное въ немъ умерло и онъ пересталъ быть татариномъ сотте il faut. Итакъ, мысль поэмы—перерожденіе (если пе просвѣтлѣніе) дикой души черезъ высокое

чувство любви. Мысль великая и глубокая! Но молодой поэть не справился съ нею, и характеръ его поэмы въ ея самыхъ патетическихъ мъстахъ является мелодраматическимъ. Хотя самъ Пушкинъ находилъ, что «сцена Заремы съ Маріей имветь драматическое достоинство», темъ не мене ясно, что въ этомъ праматизмъ проглядываеть мелодраматизмъ. Въ монологъ Заремы есть эта аффектація, это театральное изступление страсти, въ которыя всегда внадають молодые поэты и которыя всегда восхищають молодыхь людей. Если хотите, эта сцена обнаружила тогда сильные драматические элементы въ тадантъ молодого поэта, но не болве, какъ элементы, развитія которыхъ следовало ожидать въ будущемъ. Такъ въ эффектной картинъ молодого художника опытный взглядь знатока видить несомнъниный залогь будущаго великаго живописца, несмотря на то, что картина сама по себъ немногаго стоить; такъ молодой даровитый трагическій актерь не можеть скрыть крикомъ и ръзкостью своихъ жестовъ избытка огня и страсти, которые кипять въ его душв, но для выраженія которыхъ опъ не выработаль еще простой и естественной манеры. И потому мы гораздо больше согласны съ Пушкинымъ касательно его мнѣнія насчеть стиховъ: «Онъ часто въ съчахъ роковыхъ» и пр. Воть что говорить онь о нихь: «А. Р. хохоталь надь следующими стихами (NB мы выписали ихъ выше)... Молодые писатели вообще не умфють изображать физическія движенія страстей. Ихъ герои всегда содрогаются, хохочуть дико, скрежещуть зубами, и проч. Все это смѣшно, какъ мелодрама».

Несмотря на то, въ поэмъ много частностей, обаятельно прекрасныхъ. Портреты Заремы и Маріи (особенно Маріи) прелестны,

хотя въ нихъ и проглядываеть наивность нъсколько юношескаго одушевленія. Но лучшая сторона поэмы-это описаніе, или, лучше сказать, живыя картины магометанскаго Крыма: онъ и теперь чрезвычайно увлекательны. Въ нихъ нъть этого элемента высокости, который такъ проглядываетъ въ «Кавказскомъ Плфнникъ» въ картинахъ дикаго и грандіознаго Кавказа. Но онв непобъдимо очаровывають этой краткой и роскошной поэзіей, которыми запечатлъна соблазнительно-прекрасная природа Тавриды: краски нашего поэта всегда върны мъстности. Картина гарема, дътскія шаловливыя забавы ленивой и уныло-однообразной жизни одалискъ, татарская пъсня-все это и теперь еще такъ живо, такъ свъжо, такъ обаятельно! Что за роскошь поэзіи, напримъръ, въ этихъ стихахъ:

Настала ночь; покрылись тынью Тавриды сладостной поля; Вдали подъ тихой лавровъ сёнью Я слышу пынье соловья; За хоромъ звыздъ луна восходить; Она съ безоблачныхъ небесъ На долы, на холмы, на лысь Сіянье томное наводить. Покрыты былой пеленой, Какъ тыни легкія мелькая, По улицамъ Бахчисарая, Изъ дома въ домъ, одна къ другой, Простыхъ татаръ спышатъ супруги Дылить вечерніе досуги!

Описаніе евнуха, прислушивающагося подозрительнымъ слухомъ къ мальйшему шороху, какъ-то чудно сливается съ картиной этой фантастически-прекрасной природы, и музыкальность стиховь, сладострастіе созвучій нѣжать и лельють очарованное ухо читателя:

> Но все вокругь него молчить; Одни фонтаны сладкозвучны Изъ мраморной темницы бьють, И съ милой розой неразлучны Во мракъ соловын поютъ...

Здесь даже неправильныя устченія не портять стиховь. И какой истинно-лирической выходкой, исполненной павоса, замыкаются эти роскошно-сладострастныя картины волшебной природы Востока:

Какъ милы темныя красы
Ночей роскошнаго Востока!
Какъ сладко льются ихъ часы
Для обожателей пророка!
Какая нъга въ ихъ домахъ,
Въ очаровательныхъ садахъ,
Въ тиши гаремовъ безопасныхъ,
Гдъ подъ вліяніемъ луны
Все полно тайнъ и тишины,
И вдохновеній сладострастныхъ!

При этой роскоши и невыразимой сладости поэзіи, которыми такъ полонъ «Бахчисарайскій Фонтанъ», въ немъ плѣняетъ еще эта легкая, свѣтлая грусть, эта поэтическая задумчивость, навѣянная на поэта чудно-прозрачными и благоуханными ночами Востока, и поэтической мечтой, которую возбудило въ немъ предапіе о таинственномъ фонтанѣ во дворцѣ Гиреевъ. Описаніе этого фонтана дынетъ глубокимъ чувствомъ:

Есть надпись: фдкими годами Еще не сгладилась она. За чуждыми ся чертами Журчить во мраморт вода И каплеть хладными слезами, Не умолкая никогда. Такъ плачеть мать во дни печали О сынт, падшемъ на войнт. Младыя дтвы въ той странт Преданье старины узнали, И мрачный памятникъ онт Фонтаномъ слезъ именовали.

Слѣдующіе стихи (до конца) составляють превосходнъйшій музыкальный финаль поэмы; словно гезите, они сосредоточивають въ себъ всю силу впечатлѣнія, которое должно оставить въ душть читателя чтеніе цѣлой поэмы: въ нихъ и роскошь поэтическихъ красокъ, и легкая, свѣтлая, отрадно сладостная грусть, какъ бы навѣянная немолчнымъ журчаніемъ «Фонтана Слезъ» и представлявшая разгоряченной фантазіи поэта таинственный образъ мелькавшей летучей тѣнью женщины... Гармонія послѣднихъ двадцати стиховъ упоительна:

Поклонникъ музъ, поклонникъ мира, Забывъ и славу, и любовь, О, скоро васъ увижу вновь, Брега веселые Салгира! Приду на склонъ приморскихъ горъ, Воспоминаній тайныхъ полный, И вновь таврическія волны Обрадують мой жадный взорь. Волшебный край, очей отрада! Все живо тамъ: холмы, лъса, Янтарь и яхонть винограда, Долинъ пріютная краса, И струй, и тополей прохлада-Все чувство путника манить, Когда, въ часъ утра безмятежной, Въ горахъ дорогою прибрежной,

Привычный конь его бѣжитъ, И зеленѣющая влага Предъ нимъ и блещетъ, и шумитъ Вокругъ утесовъ Аю-дага...

Вообще «Бахчисарайскій Фонтанъ» — роскошно поэтическая мечта юноши, и отпечатокъ юности лежитъ равно и на недостаткахъ его и на достоинствахъ. Во всякомъ случаѣ, это—прекрасный, благоухающій цвѣтокъ, которымъ можно любоваться безотчетно и безтребовательно, какъ всѣми юношескими произведеніями, въ которыхъ полнота силъ замѣняеть строгую обдуманность концепціи, и роскошь щедрой рукой разбросанныхъ красокъ—

строгую отчетливость выполненія.

Теперь намъ предстоить говорить о поэмъ, которая была поворотнымъ кругомъ уже созрѣвшаго таланта Пушкина на путь истинно художественной дъятельности: это-«Цыганы». Въ «Русланъ и Людмилъ» Пушкинъ является даровитымь и шаловливымь ученикомь, который во время класса, украдкой отъ учителя, чертить затыпливые арабески, плоды его причудливой и ръзвой фантазіи; въ «Кавказскомъ Плънникъ» и «Бахчисарайскомъ Фонтанъ» это-молодой поэть, еще неопытными пальцами пробующій извлекать изъ музыкальнаго инструмента самобытные звуки, плоды первыхъ, горячихъ вдохновеній; но въ «Цыганахъ» онъуже художникъ, глубоко вглядывающійся въ жизнь и мощно владъющій своимъ талантомъ. «Цыганами» открывается средиля эпоха его поэтической двятельности, къ которой мы причисляемъ еще «Евгенія Опъгина» (первыя шесть главъ), «Полтаву», «Графа Нулина» такъ же какъ съ «Бориса Годунова» начинается последняя, высшая эпоха его вполне возмужавшей художнической деятельности, къ которой мы причисляемъ и всѣ поэмы, послѣ его смерти напечатанныя. Въ слъдующей статьѣ мы разсмотримъ «Цыганъ», «Полтаву», «Евгенія Онѣгина» и «Графа Нулина», а эту статью заключимъ взглядомъ на «Братьевъ Разбойниковъ», маленькую поэмку, которую по многимъ отношеніямъ считаемъ престран-

нымъ явленіемъ.

На первомъ изданін «Цыганъ», вышедшемъ въ 1827 году, выставлено въ заглавін: «писано въ 1824 году»; то же самое выставлено и въ заглавіи вышеднихъ въ 1827 же году «Братьевъ-Разбойниковъ», которые первоначально альманахѣ одномъ были напечатаны ВЪ 1825 года. Стало-быть, объ эти поэмы написапы Пушкинымъ въ одинъ годъ. Это странно, потому что ихъ разделяеть неизмеримое пространство: ««Цыганы»—произведение великаго поэта, а «Братья-Разбойники»—не болѣе, какъ ученическій опыть. Въ нихъ все ложно, все натянуто, все мелодрама, и ни въ чемъ нътъ истины, отчего эта поэма очень удобна для пародій. Будь она написана въ одно время съ «Русланомъ и Людмилой»—она была бы удивительнымъ фактомъ огромности таланта Пушкина, ибо въ ней стихи бойки, ръзки и размашисты, разсказъ живой и стремительный. Но какъ произведение, современное «Цыганамъ», эта поэма-неразгаданная вещь. Ея разбойпики очень похожи на Иниллеровскихъ удальцовъ третьяго разряда изъ шайки Карла Моора, хотя по вившности событія и видно, что оно могло случиться только въ Россіи. Языкъ разсказывающаго повъсть своей жизни разбойника слишкомъ высокъ для мужика, а понятія слишкомъ низки для человъка изъ образованнаго сословія; отсюда и выходить декламація, проговоренная звучными и сильными стихами. Грезы больного разбойника и монологи, обращаемые имъ въ бреду къ брату, — рѣшительная мелодрама. Поэмка бѣдна даже поэзіей, которой такъ богато все, что ни выходило изъ-подъпера Пушкина, даже «Русланъ и Людмила». Есть въ «Братьяхъ-Разбойникахъ» даже плохіе стихи и прозаическіе обороты, какъ напримёръ: «Межъ ними зрится и бѣглецъ», «Насъ другъ ко другу приковали».

VII.

Поэмы: «Цыганы», «Полтава», «Графъ Нулинъ».

«Цыганы» были приняты съ общими похвалами, но въ этихъ похвалахъ было что-то робкое, нервшительное. Въ новой поэмъ Пушкина подозрѣвали что-то великое, но не умѣли нонять, въ чемъ оно заключалось, и какъ обыкновенно водится въ такихъ случаяхъ, расплывались въ восклицаніяхъ и не жалѣли знаковъ удивленія. Такъ поступили журналисты; публика была прямодушиве и добросовъстиве. Мы хорошо помнимъ это время, помнимъ, какъ многіе были непріятно разочарованы «Цыганами» и говорили, что «Кавказскій Пленникъ» н «Бахчисарайскій Фонтанъ» гораздо выше новой поэмы. Это значило, что поэть вдругь переросъ свою публику и однимъ орлинымъ взмахомъ очутился на высотъ, недоступной для большинства. Въ то время, какъ онъ уже самъ безпощадно см'вялся надъ первыми своими поэмами, его добродушные поклонники еще бредили плъншикомъ, черкешенкой Заремой, Маріей, Гиреемъ, братьями-разбойниками, и только по какой-то робости похваливали «Цыганъ», или боясь окомпрометировать себя, какъ образованныхъ судей изящнаго, или дътски восхищаясь пъснью Земфиры и сценой убійства. Явный знакъ, что Пушкинъ уже пе-

ресталь быть выразителемь нравственной настроенности современнаго ему общества, и что отсель онь явился уже воспитателемъ будущихъ поколъній. Но покольнія возникають и образуются не днями, а годами, и потому Пушкину не суждено было дождаться воспитанныхъ его духомъ поколѣній— своихъ истинныхъ судей. «Цыганы» произвели какое-то колебаніе въ быстро-возраставшей до того времени славъ Пушкина; но послъ «Цыганъ» каждый новый успъхъ Пушкина быль новымъ его паденіемъ, -- и «Полтава», послѣднія и лучшія главы «Онъгина», «Борисъ Годуновъ» были приняты публикой холодно, а ивкоторыми журналистами съ ожесточеніемъ и съ оскорбительными криками безусловнаго неодобренія.

Перелистуйте журналы того времени и прочтите, что писано было въ нихъ о «Цыганахъ»: вы удивитесь, какъ можно было такъ мало сказать о столь многомъ! Тутъ найдете только о Байронѣ, о цыганскомъ племени, о небезгръшности ремесла—водить медвъдя, объ успъшномъ развитіи таланта пъвца «Руслана и Людмилы», удивленіе къ дъйствительно удивительнымъ частностямъ поэмы, нападки на будто бы греческій стихъ: «И отъ судебъ защиты нътъ», осужденіе будто бы вялаго стиха: «И съ камня на траву свалился»—и многое въ этомъ родѣ; но ни слова, ни намека на идею поэмы.

А между тъмъ ноэма заключаеть въ себъ глубокую идею, которая большинствомъ была совсъмъ не понята, а немногими людьми, радушно привътствовавшими поэму, была понята ложно, — что особенно и расположило ихъ въ пользу новаго произведенія Пушкина. И послъднее очень естественно: изъ всего хода поэмы видно, что самъ Пушкинъ думалъ сказать не то, что сказалъ въ самомъ дълъ. Это

особенно доказываеть, что непосредственно творческій элементь въ Пушкинъ быль несравненно сильнъе мыслительнаго сознательнаго элемента, такъ что ошибки последняго, канъ бы безъ въдома самого поэта, поправлялись первымъ, и внутренняя логика, разумность глубокаго поэтическаго созерцанія сама собой торжествовала надъ неправильностью рефлексій поэта. Повторяемъ: «Цыганы» слудоказательствомъ неопровержимымъ жатъ справедливости нашего мнвнія. Идея «Цыгань» вся сосредоточена въ геров этой поэмы-Алеко. А что хотълъ Пушкинъ выразить этимъ лицомъ? — Не трудно ответить; всякій, даже съ перваго, поверхностнаго взгляда на поэму, увидить, что въ Алеко Пушкинъ хотълъ показать образець человъка, который до того проникнуть сознаніемъ человіческаго достоинства, что въ общественномъ устройствъ видитъ одно только унижение и позоръ этого достоинства, и потому, проклявъ общество, равнодушный къ жизни Алеко въ дикой цыганской волъ ищеть того, чего не могло дать ему образованное общество, окованное предразсудками и приличіями, добровольно закабалившее себя на унизительное служение идолу золота. Воть что хотъль Пушкинъ изобразить въ лицъ своего Алеко; по успълъ ли онъ въ этомъ, то ли именно изобразилъ онъ?-Правда, ноэть настаиваеть на этой мысли, и видя, что поступокъ Алеко съ Земфирой явно ей противоръчить, сваливаеть всю вину на «роковыя страсти; живущія подъ разодранными шатрами»; и на «судьбы, отъ которыхъ нигдъ нъть защиты». Но весь ходъ поэмы, ея развязка и особенно играющее въ ней важную роль лицо стараго цыгана неоспоримо показывають, что желая и думая изъ этой поэмы создать апоееозу Алеко, какъ поборника правъ человъческаго достоинства, поэть вмѣсто этого сдѣлалъ страшную сатиру на него и на подобныхъ ему людей, изрекъ надъ нимъ судъ неумолимо трагическій и вмѣстѣ съ тѣмъ горько ироническій.

Кому ни случалось встрачать въ общества людей, которые изо встхъ силъ быотся прослыть такъ называемыми «либералами» и каторые достигають не болье, какъ незавиднаго прозвища жалкихъ крикуновъ? Эти люди всегда поражають наблюдателя самымъ простодушнымъ, самымъ комическимъ противоръчіемъ своихъ словъ съ поступками. Много можно было бы сказать объ этихъ люцяхъ характеристическаго, чъмъ такъ ръзко отличаются они отъ всъхъ другихъ людей; но мы предпочитаемъ воспользоваться здёсь чужой, уже готовой характеристикой, которая соединяеть въ себъ два драгоцънныя качества-краткость и полноту: мы говоримъ объ этихъ удачныхъ стихахъ покойнаго Дениса Давыцова:

А глядишь—нашъ Мирабо Стараго Гаврилу, За измятое жабо, Хлещетъ въ усъ да въ рыло; А глядишь—нашъ Лафаэтъ, Брутъ или Фабриџій Мужичковъ подъ прессъ кладетъ Вмѣстѣ съ свекловиџей.

Такіе люди, конечно, смѣшны и съ нихъ довольно легонькаго водевиля или сатирической пѣсенки, ловко сложенной Давыдовымъ; но поэмы они не стоятъ. Никакъ пельзя сказать, чтобъ Алеко Пушкина былъ изъ этихъ людей, но и нельзя также сказать, чтобъ онъ не былъ имъ сродни. Великая мысль является въ дѣйствительности двойственно—комически и трагически, смотря по личнымъ качествамъ лю-

дей, въ которыхъ она выражается. Дурная страсть въ человъкъ инчтожномъ или забавна, какъ глупость, или отвратительна, какъ мерзость; дурная страсть въ человъкъ съ характеромъ и умомъ ужасна: первая наказывается хохотомъ или презръніемъ, смъщаннымъ съ омерзвніемъ; вторая служить для людей трагическимъ урокомъ, потрясающимъ душу. Воть почему для первой довольно легонькаго водевиля, или сатирической пъсеньки, много уже, если комедія; для второй нужна сатира Барбье и ея не погнушается даже трагедія Шекспира. Глупецъ, который корчить изъ себя Мирабо, есть не что иное, какъ маленькій эгоизмъ, который не любить для себя тъхъ самыхъ ственительныхъ формъ, которыми любить душить другихъ. Дайте этому эгоизму огромный объемъ, придайте къ нему большой умъ, сильныя страсти, способность глубоко понимать и чувствовать всякую истипу, пока она не противорвчить ему,-и передъ вами весь Алеко,-такой, какимъ создалъ его Пушкинъ. Не страсти погубили Алеко. «Страсти» -- слишкомъ неопредъленное слово, пока вы не назовете ихъ по именамъ: Алеко погубила одна страсть, и эта страсть—эгоизмъ! Проследите за Алеко вь развитіи цълой поэмы, и вы увидите, что мы правы.

Приведя встръченнаго за холмомъ, подлъ цыганскаго табора, Алеко, Земфира говоритъ

своему отцу между прочимъ:

Онъ хочетъ быть, какъ мы, цыганомъ; Его преследуетъ законъ.

Въ этихъ словахъ Алеко является еще только таинственнымъ, загадочнымъ лицомъ, не болье; для безпристрастной наблюдательности онъ еще не можетъ показаться ни преступни-

комъ вслъдствіе эгоизма, ни жертвой несправедливаго гоненія, и только мелкій либерализмъ, въ своей поверхности, готовъ сразу принять его за мученика идеи. Но вотъ таборъ снялся; Алеко уныло смотрить на опустълое поле и не смъстъ растолковать себъ тайной причины своей грусти. Онъ наконецъ воленъ, какъ Божья птичка, солнце весело блещеть надъ его головой; о чемъ же его тоска? Поэтъ пророчить ему, что страсти, нъкогда такъ свиръпо игравшія имъ, только на время присмиръли въ его намученной груди и что скоро онъ снова проснутся... Опять страсти! но какія же? А вотъ увидимъ...

Можеть быть Алеко только внішнимь образомь, по чувству досады, разорваль связи съ образованнымь обществомь, и ему тяжка исполненная лишеній дикая воля біднаго бродящаго племени, ибо, какъ мудро замітиль ему ста-

рый цыганъ:

..... Не всегда мила свобода Тому, кто къ нъгъ пріученъ.

Ивть! черноокая Земфира заставила его полюбить эту жизнь, въ которой

Все скудно, дико, все нестройно; Но все такъ живо—не спокойно, Такъ чуждо мертвыхъ нашихъ нъгъ. Такъ чуждо этой жизни праздной, Какъ пъснь рабовъ однообразной.

И когда Земфира спросила его, не жалѣеть ли онъ о томъ, что навсегда бросилъ,—Алеко отвъчаеть:

О чемъ жалѣть? Когда-бъ ты знала, Когда бы ты воображала Неволю душныхъ городовъ! Тамъ люди въ кучахъ, за оградой Не дышатъ утренней прохладой, Ни вешнимъ запахомъ луговъ, Любви стыдятся, мысли гонятъ, Торгуютъ волею своей, Главы предъ идолами клонятъ И просятъ денегъ да цъпей. Что бросилъ я? Измѣнъ волненье, Предразсужденій приговоръ, Толпы безумное гоненье Или блистательный позоръ.

Накой энергическій, полный мощнаго негодованія голось! какая пламенная, вся проникнутая благороднымъ навосомъ рѣчь! Съ какой неотразимой силой увлекаеть душу это пророчески обвинительное, страшнымъ судомъ гремящее слово! Прислушиваясь къ нему, не можемъ не върить, чтобъ человъкъ, обладающій такой силой жечь огнемъ устъ своихъ, не былъ существомъ высшаго разряда, существомъ, исполненнымъ свътлаго разума и пламенной любви къ истипъ, глубокой скорби объ униженіи человъчества... Вы видите въ немъ героя убъжденія, мученика высшихъ, недоступныхъ толиъ откровеній... Какъ высоко стоитъ онъ надъ этой презрѣнной толпой, которую такъ нещадно поражаеть громомъ своего благородпаго негодованія!... Но здівсь-то и скрывается великій урокъ для оцінки истиннаго достоинства; здъсь-то и можно видъть, какъ легко быть героемъ на счетъ чужихъ пороковъ, заблужденій и слабостей, и какъ мудрено быть героемъ на свой собственный счеть, -- какъ всякаго должно судить не по однимъ словамъ его, но если по словамъ, то не иначе, какъ подтвержденнымъ дълами. Изръчь энергическое, полное благороднаго негодованія, проклятіе не только на какое-пибудь общество или какой-нибудь

народъ, но и на целое человечество, гораздо легче, нежели самому поступить справелливо въ собственномъ своемъ делъ. И потому изрекать анаоему такъ же не всякій имфеть право, какъ и изрекать благословеніе; это могуть только пріявшіе свыше власть и посвященіе. Какъ поучать другихъ имъеть право только знающій самь то, чему берется поучать, такт и предписывать другимъ пути практической мудрости и справедливости можетътолькототъ. кто самъ уже твердой стопой привыкъ ходить по этимъ путямъ. Слово само по себъ-не болѣе, какъ звукъ пустой: оно важно только, какъ выражение мысли; а мысль сама по себъ-не болъе, какъ призракъ чего-то разумнаго и прекраснаго: она важна лишь, какъ идеальная сущность дъйствительности. Все, что не подходить подъ мфрку практическаго примфненія, -- ложно и пусто. Воть почему необходимо должно обращать внимание не только на то, дъйствительно ли истипно сказанное, но и на то, къмъ опо сказано. По этой же причинъ въ устахъ призванныхъ и посвященныхъ иногда и старыя истины получають новую форму и новую силу убъжденія, какъ будто бы онъ были сказаны въ первый разъ; а въ устахъ людей, самовольно принимающихъ на себя обязанность учителей, иногда и новыя, оригинально выраженныя мысли пропадають безь действія, какъ будто истертыя общія мъста...

Обратимся къ Алеко. Наконецъ доходитъ дъло и до страстей, появление которыхъ поэтъ такъ значительно, такимъ угрожающимъ образомъ предсказывалъ. Сердцемъ Алеко одолъ-

ваеть ревность.

Эта страсть свойственна или людямъ по самой натуръ эгоистическимъ, или людямъ неразвитымъ нравственно. Считать ревность необходимой припадлежностью любви—непро-

стительное заблужденіе. Человікь иравстивенно развитой любить спокойно, увітренно, потому что уважаеть предметь любви своей (любовь безь уваженія для него невозможна). Положимь, что онь замізчаеть къ себі охлажденіе со стороны любимаго предмета, какая бы ни была причина этого охлажденія изъ исчисленныхъ поэтомь:

> Кто устоить противъ разлуки, Соблазна новой красоты, Противъ усталости и скуки, Иль своенравія мечты?

Это охлаждение заставить его страдать, потому что любящее сердце не можеть не страдать при потеръ любимаго сердца; но онъ не будеть ревновать. Ревность, безъ достаточнаго основанія, есть бользиь людей ничтожныхъ, которые не уважають ни самихъ себя, ни свонхъ правъ на привязанность любимаго ими предмета; въ ней высказывается мелкая тиранія существа, стоящаго на степени животнаго эгоизма. Такая ревность невозможна для человъка правственно-развитого; но такимъ же точно образомъ невозможна для него и ревность на достаточномъ основаніи: ибо такая ревность непремънно предполагаеть мученія подозрительности, оскорбленія и жажды мщенія. Подозрительность совершенно излишняя для того, кто можеть спросить другого о предметь подозрънія съ такимъже яснымъ взоромъ, сь какимъ и самъ отвътить на подобный вопросъ. Если отъ него будуть скрываться, то любовь его перейдеть въ презръніе, которое, если не избавить его оть страданія, то дасть этому страданію другой характеръ и сократить его продолжительность; если же ему скажуть, что его болъе не любять, тогда муки подо-

зрвнія тымь не менье могуть имыть смысль. Чувство оскорбленія для такого человъка также невозможно, ибо онъ знаеть, что прихоть сердца, а не его недостатки причиной потери любимаго сердца, и что это сердце, переставъ любить его, не только перестало его уважать, но еще сострадаеть, какъ другь, его горю и винить себя, не будучи въ сущности виновато. Что касается до жажды мщенія—въ этомъ случав, она была бы понятна только какъ выражение самаго животнаго, самаго грубаго и невъжественнаго эгоизма, который невозможенъ для человъка правственно-развитого. И за что туть мстить?—За то, что полюбившее васъ сердне уже не бъется любовью къ вамъ! Но развъ любовь зависить оть воли человъка и покоряется ей? И развъ не случается, что сердце, охладъвшее къ вамъ, не терзается сознаніемъ этого охлажденія словно тяжкой виной, страшнымъ преступленіемъ? Но не помогуть ему ни слезы, ни стоны, ни самообвиненія, и тщетны будуть всв усилія его заставить себя любить васъ попрежнему... Такъ чего же вы хотите отъ любимаго вами, но уже не любящаго васъ предмета, если сами сознаете, что его охлажденіе къ вамъ теперь такъ же произошло не оть его воли, какъ не отъ нея произошла прежде его любовь къ вамъ? Хотите ли, чтобъ этоть предметь, скрывая насильственно свое къ вамъ охлажденіе, обманываль вась, ради вашего счастья, притворной любовью?—Но такое желаніе со стороны вашей могло бы выйти только изъ самаго грубаго, животнаго эгоизма: ибо если вы человъкъ, существо нравственноразвитое, то вы должны думать и заботиться гораздо больше о счасть в связаннаго съ вами отношеніями любви предмета, чімь о своемь собственномъ. И притомъ надо быть слишкомъ пошлымъ человъкомъ, чтобы допустить обмануть и успокоить себя принужденной любовью, и надо быть слишкомъ подлымъ человѣкомъ, чтобъ, понимая такую любовь, какъ она есть, удовлетворяться ею: это значило бы принести чужое счастье въ жертву своему собственному-и какому счастью!.. Когда любовь съ которой-нибудь стороны кончилась, вмфств жить нельзя: ибо тоть не понимаеть любви и ея требованій и за любовь принимаеть грубую, животную чувственность, кто способенъ пользоваться ея правами отъ предмета, хотя бы и любимаго, но ужене любящаго. Такая «любовь» бываеть только въ бракахъ, потому что бракъ есть обязательство, и можеть быть оно такъ тамъ и нужно; но въ любви такія отношенія суть оскорбление и профанація не только любви, но и человъческаго достоинства. Всъ такіе случан невозможны для человъка нравственно-

развитого. Есть много родовъ образованія и развитія, и каждое изъ нихъ важно само по себъ, но всъхъ ихъ выше должно стоять образование нравственное. Одно образование дълаетъ васъ человъкомъ ученымъ, другое - человъкомъ свътскимъ, третье-административнымъ, военнымъ, политическимъ и т. д.; по нравственное образование дълаеть васъ просто человъкомъ, т.-е. существомъ, отражающимъ на себъ отблескъ божественности, и потому высоко стоящимъ надъ міромъ животныхъ. Хорошо быть ученымъ, поэтомъ, воиномъ, законодателемъ и проч., но худо не быть при этомъ человъкомъ; быть же человъкомъ-значить имъть полное и законное право на существование и не будучи ничамъ другимъ, какъ только человъкомъ. Въ чемъ же состоить правственное образование, нравственное развитіе? Такъ какъ человъкъ не только существуеть; но еще и мыслить, то всякій предметь, въ отношенін къ нему, суще-

ствуеть, не только практически, но и теоретически, и человъкъ только тогда вполнъ владветь предметомъ, когда схватываеть его съ этихъ объихъ сторонъ. Но одно практическое обладаніе предметомъ еще значить что-нибудь, тогда какъ одно теоретическое ровно ничего не значить. И потому теоретическая правственность, открывающаяся въ однихъ системахъ и словахъ, но не говорящая за себя, какъ дъло, какъ фактъ. выходящая только изъ созерцаній ума, но не имъющая глубокихъ корней въ почвъ сердца, такая нравственность стоить безнравственности и должна называться китайской или фарисейской. Истинная нравственность прозябаеть и растеть изъ сердца, при плодотворномъ содъйствін свътлыхъ лучей разума. Ея мърило—не слова, а практическая дъятельность. Въ сферъ теорій и созерцаній быть героемъ добродътели въ тысячу разъ легче, нежели въ дъйствительности выслужить чинъ коллежскаго регистратора, или пообъдавъ почувствовать себя сытымь. Такъ какъ сфера нравственности есть по преимуществу сфера практическая, а практическая сфера образуется преимущественно изъ взаимныхъ отношеній людей другь къ другу, — то здъсь-то, въ этихъ отношеніяхъ, и больше нигдъ, должно искать примътъ нравственнаго, или безнравственнаго человъка, а не въ томъ, какъ человъкъ разсуждаетъ о нравственности, или какой системы, какого ученія и какой категоріи нравственности онъ держится. Слова, какъ бы ни были красноръчивы, хотя бы произносились страстнымъ голосомъ и сопровождались не только порывистыми жестами, но при случав и горячими слезами, -- слова сами по себъ все-таки стоять не больше всякой другой болтовни: здъсь, какъ и вездъ, дъло-въ дълъ. Одинъ изъ высочайшихъ и священнъйшихъ принциповъ истинной правственности заключается въ религіозномъ уваженій къ человъческому достоинству во всякомъ человъкъ, безъ различія лица, прежде всего за то, что онъ-человъкъ, и потомъ уже за его личныя достоинства, по той мъръ, въ какой онъ ихъ имъетъ, —въ живомъ симпатическомъ сознаніи своего братетва со всемь, кто называется человъкомъ. Воть что разумъли мы подъ словомъ «нравственно-развитой человъкъ», говоря о томъ, какимъ образомь показаль бы себя такой человъкъ въ отношенін къ любимой имъ особъ, когда она почему бы то ни было разлюбить его. Естественно, что никогда не высказывается такъ ръзкоопредъленно нравственность или безправственпость человъка, какъ въ тъхъ случаяхъ, гдъ онъ судить своего ближняго по отношению къ самому себъ и гдъ въ эти отношенія вмъщиваются страсти, ибо въ такихъ случаяхъ ему предстоить быть къ самому себъ строгимъ безъ эффектовъ, безпристрастнымъ безъ гордости, справедливымъ безъ униженія, между тъмъ какъ въ такихъ именно обстоятельствахъ человъкъ, по чувству эгоизма, и увлекается крайностями, т. е. или бываеть къ себъ пристрастно снисходительнымъ, обвиняя во всемъ своего ближняго, или, что бываеть ръже, изъ самаго безпристрастія своего и своей къ себъ строгости дълаеть эффектную мелодраму. Поэтому наше приложение идеи нравственности къ дълу любви очень удобно для ръшенія вопроса, потому что любовь, какъ одна изъ сильнъйшихъ страстей, увлекающихъ человъка во всв крайности больше, чемъ всякая другая страсть, -- можеть служить пробнымъ камнемъ правственности. Если человъкъ, находящійся въ положеніи Алеко, подавшаго намъ поводъ къ этимъ разсужденіямъ, есть истинно нрав-

ственный человъкъ, то въ любимой имъ особъ онъ съ большей страстью, чемъ въ комъ-нибудь другомъ, уважаетъ права свободной личности, а слъдовательно и невольныя естественныя стремленія ея сердца. Въ такомъ случав натурально, что ея внезапнаго къ нему охлажденія онъ не приметь за преступленіе, или такъ называемую на языкъ пошлыхъ романовъ «невърность», и еще менъе согласится принять отъ нея жертву, которая должна состоять въ ея готовности принадлежать ему даже и безъ любви и для его счастья отказаться оть счастья новой любви, можетъ-быть бывшей причиной ея къ нему охлажденія. Еще болье естественно. что въ такомъ случав ему остается сдвлать только одно: --со всъмъ самоотверженіемъ души любящей, со всей теплотой сердца, постигшаго святую тайну страданія, благословить его или ее на новую любовь и новое счастье, а свое страданіе, если нізть силь освободиться оть него, глубоко схоронить оть всехъ, и въ особенности, отъ него или отъ нея, въ своемъ сердцъ. Такой поступокъ немногими можеть быть оцвиень, какъ выражение истипной нравственности; многіе, воспитанные на романахъ и повъстяхъ съ ревностью, измънами, кинжалами и ядами, найдуть его даже прозаическимь, а въ человъкъ, такимъ образомъ поступившемъ, увидять отсутствіе понятія о чести. Дъйствительно, по понятіямъ, искаженно перешедшимъ къ намъ отъ среднихъ въковъ, мужчинъ надо кровью смыть подобное безчестіе и, какъ говорить Алеко, «хищнику и ей, коварной, вонзить кинжалъ въ сердце», а женщинъ прибъгнуть къ яду или къ слезамъ и безмолвной тоскъ; но не должно забывать, что то, что могло имъть смыслъ въ варварскіе средніе въка, въ наше просвъщенное время уже не имъетъ никакого смысла. Въ образованномъ человъкъ нашего

времени Шекспировъ Отелло можетъ возбуждать сильный интересъ, но съ тъмъ однакожъ условіемъ, что эта трагедія есть картина того варварскаго времени, въ которое жилъ Шекспиръ и въ которое мужъ считался полновластнымъ господиномъ своей жены; всякій же образованный человъкъ нашего времени только разсмвется отъ новыхъ Отелликовъ въ родъ Марселя въ нельпой повъсти Эжена Сю «Крао» и безыменнаго господина въ отвратительной повъсти Дюма «Une Vengeance». Но люди, которымъ нужно доказать, что въ наше время кинжалы, яды и даже пистолеты, вслъдствіе ревности, суть не что иное, какъ пошлые театральные эффекты или результаты болфзиеннаго безумія, животнаго эгоизма и дикаго нев'єжества, такіе люди не стоять того, чтобъ тратить на нихъ слова. Слава Богу такихъ людей теперь уже немного и теперь гораздо больше людей, которые принимають слова за одно съ дълами; воть имъ-то предложимъ мы вопросъ, ближе относящійся къ предмету нашей статьи: что сказать о человікі, который по его словамъ идеть наравив съ въкомъ и для этого толкуетъ о правъ человъческомъ (нарушаемомъ его сосъдомъ по имънію) и объ эмансипаціи женщины, но который, если его жена позволить себъ сдълать, въ отношеніи къ нему, сотую долю того, что безъ всякаго позволенія дълаеть онъ въ отношении къ ней, -- сейчасъ перемъняеть тонъ и готовъ хоть за дубье приняться?.. Неправда ли, что, глядя на него, невольно запоещь вполголоса съ Давыдовымъ:

> А глядишь: нашъ Мирабо Стараго Гаврило, За измятое жабо, Хлещеть въ усъ да въ рыло?..

еоч. в. г. бълинскаго. ч. п.

Воть почему не смѣхъ, а смѣшанное съ ужасомъ отвращение возбуждають слова Алеко въ отвѣть на простодушный, трогательный и поэтическій разсказъ стараго цыгана о Маріулѣ:

Да какъ же ты не поспѣшилъ Тотчасъ во слѣдъ неблагодарной, И хищнику и ей, коварной, Кинжала въ сердџе не вонзилъ?

Итакъ, вотъ онъ—страдалецъ за униженное человъческое достоинство, —человъкъ, который презръль предразсудки образованной общественности и нашелъ счастіе въ цыганскомъ таборъ!.. Турокъ въ душъ, онъ считалъ себя внереди цълой Европы на пути къ цивилизованному уваженію правъ личности!.. И какъ великъ, какъ истинно (т.-е. внутренно, духовно) свободенъ предъ нимъ старый цыганъ, этотъ сынъ природы, бъдности, незнающій въ простотъ сердца никакихъ теорій нравствепности! Сколько поэзіи и истины въ его кроткомъ, благодушномъ отвътъ Алеко:

Къ чему? вольнъе птицы младость, Кто въ силахъ удержать любовь? Чредою всъмъ дается радость: Что было, то не будетъ вновь!

Отвътъ Алеко на эти полныя любви и правдивости слова стараго цыгана окончательно и вполнъ раскрываютъ тайну его характера:

Я не таковъ. Нѣтъ, я не споря, Отъ правъ моихъ не откажусь; Или хоть мщеньемъ наслажусь. О, нѣтъ! когда-бъ надъ бездной моря Нашелъ я спящаго врага, Клянусь, и тутъ моя нога Не пощадила бы злодѣя; Я въ волны моря, не блѣднѣя, И беззащитнаго-бъ толкнулъ; Внезапный ужасъ пробужденья Свирѣпымъ смѣхомъ упрекнулъ, И долго мнѣ его паденья Смѣшонъ и сладокъ былъ бы гулъ.

Изъ этихъ словъ видно, что никакая могучая идея не владъла душой Алеко, но что всъ его мысли, и чувства, и дъйствія вытекали, во-первыхъ, изъ сознанія своего превосходства надъ толной, состоящаго въ умъ болъе блестящемъ и созерцательномъ, чемъ глубокомъ и деятельномъ: во-вторыхъ, изъ чудовищнаго эгоизма, который гордъ самимъ собой, какъ добродътелью. «Эта женщина (какъ разсуждаеть эгоизмъ Алеко) отдалась мнъ, и я счастливъ ея любовью, следовательно я имею на нее вечное и ненарушимое право, какъ на мою рабу, на мою вещь. Она измънила-и я не могу уже быть счастливъ ея любовью: она должна упоить меня сладостью мщенія. Ея обольститель лишиль меня счастья, и должень за это заплатить мнъ жизнью». Не спрашивайте Алеко, наказалъ ли бы онъ самъ себя смертью, если-бъ онъ самъ измънилъ любимой имъ женщинъ и сь свойственной эгонстамь жестокостью оттолкнулъ ее отъ груди своей: не трудно угадать, какъ бы поступилъ и что бы заговорилъ Алеко въ подобномъ обстоятельствъ. Эгоизмъ изворотливъ, какъ хамелеонъ: мало того, что такой человъкъ, какъ Алеко, въ подобномъ случаъ сталь бы рисоваться передь самимъ собой, какъ великодушный и невинный губитель чужого счастья, —онъ, пожалуй, еще почель бы себя въ правъ мстить смертью оставленной имъ женщинъ, которая преслъдуеть сего воими докуками, упреками, слезами и моленіями, съ чего-то вообразивъ, что имфеть на него

какія-то права, какъ будто бы онъ созданъ не для жизни, а для ея удовольствія и, подобно дитяти, лишенъ воли. Не спрашивайте его также, имъетъ ли на его жизнь право человъкъ, у котораго онъ отбилъ любовницу; съ свойственнымъ эгонзму безстыдствомъ Алеко въ такомъ случав началъ бы предъ вами витіевато либеральничать и доказывать пышными фразами, что на женщину имфеть законное право только тоть, кто, любя ее, любимъ ею, и что онъ, Алеко, первый бы уступилъ великодушно свою любовницу тому, кого бы она полюбила. Изъ этого-то животнаго эгоизма вытекаеть и животная мстительность Алеко. Человъкъ нравственный и любящій живеть для идеи, составляющей павосъ цълаго его существованія; онъ можеть и горько презирать, и сильно ненавидать, но скорже по отношению къ своей идеъ, чъмъ къ своему лицу. Онъ не снесеть обиды и не позволить унизить себя, но это не мъщаеть ему умъть прощать личныя обиды: въ этомъ случав онъ не слабъ, а только великодушенъ. Натуры блестящія, но въ сущностимелкія, потому что эгоистическія, —чужды стремленія къ идев или идеалу: онв во всемъ ставять сосредоточіемь свое милое я. Если онъ и заберуть себъ въ голову, что живуть для какой-то идеи, то не возвышаются до идеи, а только нагибаются до нея, думають не себя облагородить и освятить проникновеніемъ идеей, но идею осчастливить своимъ султанскимъ выборомъ. И тогда ихъ идея въ ихъ глазахъ потому только истинна, что она-ихъ идея, и потому всякій, не признающій ея истинности, есть ихъ личный врагъ. Но будучи оскорблены въ дълъ личной страсти, эти люди думають, что въ ихъ лицъ оскорбленъ весь міръ, вся вселенная и никакая месть не кажется имъ незаконной. Таковъ Алеко!

Скажу, что создание такого лица не дълаеть чести поэту, темъ более, что онъ явно хотълъ сдълать изъ него не столько преступнаго, сколько несчастнаго, увлеченнаго судьбой человъка. Дъйствительно, это было бы такъ, если-бъ поэтъ не противопоставилъ стараго цыгана лицу Алеко, можеть быть безсознательно повинуясь тайной внутренней логикъ непосредственнаго творчества. И потому идею поэмы «Цыганы» должно искать не въ одномъ лицъ, а тымь менье въ лиць Алеко, но въ общности поэмы. Алеко является въ поэмъ Пушкина какъ бы для того только, чтобъ представить намъ страшный, поразительный урокъ нравственности. Его противоръчіе съ самимъ собой было причиной его гибели, -- и онъ такъ жестоко наказанъ оскорбленнымъ имъ закономъ нравственности, что чувство наше, несмотря на великость преступленія, примиряется съ преступникомъ. Алеко не убиваетъ себя; онъ остается жить, -- и это решение действуеть на душу читателя сильпъе всякой кровавой катастрофы. Поэтическое сравнение Алеко съ подстръленнымъ журавлемъ, печально остающимся на полъ въ то время, когда станица весело поднимается на воздухъ, чтобъ летъть къ благословеннымъ краямъ юга, выше всякой трагической сцены. Сидя на камив, окровавленный, съ пожомъ въ рукахъ, «блѣдный лицомъ», Алеко молчить, но его молчаніе красноръчиво; въ немъ слышится пъмое признаніе справедливости постигшей его кары, и можеть быть съ этой самой минуты въ Алеко звъръ уже умеръ, а человъкъ воскресъ...

Вы скажете: слишкомъ поздно. Что-жъ дѣлать! такова, видно, натура этого человѣка,
что она могла возвыситься до очеловѣченія
только цѣной страшнаго преступленія и страшной за то кары... Не будемъ строги въ судѣ

надъ падшимъ и наказаннымъ, а лучше темъ строже будемъ къ самимъ себе, пока мы еще не пали, и заране воспользуемся великимъ урокомъ. Еслибъ Алеко устоялъ въ гордости своего мщенія, мы не помирились бы съ нимъ: ибо видели бы въ немъ все того же зверя, какимъ онъ былъ и прежде. Но онъ призналъ заслуженность своей кары,—и мы должны видеть въ немъ человека: а человекъ человека какъ осудить?..

Убитая чета уже въ землъ.

.... Когда же ихъ закрыли Послъдней горстію земной, Онъ молча, медленно склонился И съ камия на траву свалился.

Какое простое и сильное въ благородной простотъ своей изображеніе самой лютой, самой безотрадной муки! Какъ хороши въ немъ два послъдніе стиха, на которые такъ нападали критики того времени, какъ на стихи вялые и прозаическіе! Гдъ-то было даже напечатано, что разъ Пушкинъ имълъ горячій споръ съ къмъ-то изъ своихъ друзей за эти два стиха и наконецъ вскричалъ: «Я долженъ былъ такъ выразиться; я не могъ иначе выразиться!!». Черта, обличающая великаго художника!

Но довольно объ Алеко; обратимся къ старому цыгану. Это одно изъ такихъ лицъ, созданіемъ которыхъ можетъ гордиться всякая литература. Есть въ этомъ цыганъ что-то натріархальное. У него нътъ мыслей: онъ мыслить чувствомъ,—и какъ истинны, глубоки, человъчны его чувства! Языкъ его исполненъ поэзіи. Въ тонъ ръчи его столько простоты, наивности, достоинства, самоотрицанія (résignation), кротости, теплоты и елейности. И

какъ въренъ онъ себъ во всемъ, тогда ли, какъ разсказываеть своимъ простодушнымъ поэтическимъ языкомъ преданіе объ Овидіи; нли когда, въ исполненной дикаго огня, дикой страсти и дикой поэзіи песне Земфиры припоминаеть стараго друга; или когда, утвшая Алеко въ охлаждении Земфиры, по своему, но такъ върно и истинно объясняеть ему натуру и права женскаго сердца и разсказываетъ трогательную повъсть о самомъ себъ, о своей любви къ Маріулѣ и ел измѣнъ, которую онь, въ своей цыганской простотъ, такъ человъчно, такъ гуманно нашелъ совершенно законной... Но въ сцепъ похоропъ и прощанія съ Алеко онъ является, самъ того не подозрѣвая, въсвоей цыганской дикости, въистинно трагическомъ величін и кротко изрекаетъ несчастному ужасный приговоръ и великія истины:

«Оставь насъ, гордый человъкъ!
Мы дики, пътъ у насъ законовъ,
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не пужно крови намъ и стоновъ;
Но жить съ убійцей не хотимъ.
Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ;
Мы робки и добры душою,
Ты золъ и смълъ;—оставь же насъ,
Прости! да будетъ миръ съ тобою».

Замътъте этотъ стихъ: «Ты для себя лишь кочешь воли»:—въ немъ весь смыслъ поэмы, ключь къ ея основной идеъ. Послъ этого можно ли сомиъваться въ глубоко-правственномъ характеръ поэмы? Нътъ, это возможно только для людей близорукихъ и ограниченныхъ, для невъждъ-моралистовъ, которые привыкли

видъть нравственность только въ азбучныхъ сентенціяхъ...

Нѣкоторые критики того времени особенно нападали на эпилогь, находя его похожимъ на хоръ изъ какой-нибудь греческой трагедін. Греческаго въ этомъ эпилогѣ ничего нѣтъ, а осужденія онъ заслуживаеть. Въ немъ рефлексія поэта взяла на минуту верхъ надъ непосредственностью творчества, и вслѣдствіе этого онъ пришелся совершенно не кстати къ содержанію поэмы, въ явномъ противорѣчіи съ ея смысломъ:

Но счастья нѣтъ и между вами, Природы бѣдные сыны! И подъ издранными шатрами Живутъ мучительные сны. И ваши сѣни кочевыя Въ пустыняхъ не спаслись отъ бѣдъ. И всюду страсти роковыя, И отъ судебъ защиты нѣтъ.

Къ чему туть судьбы и къ чему толки о томъ, что счастья нъть и между бъдными дътьми природы? Несчастье принесено къ нимъ сыномъ цивилизаціи, а не родилось между ними и черезъ нихъ же. Но главное: поэту слъдовало бы въ заключительныхъ стихахъ сосредоточить мысль всей поэмы, такъ эпергически выраженной стихомъ: «Ты для себя лишь хочешь воли». Но, какъ мы выше замътили, Пушкинъ-поэтъ быль гораздо выше Пушкина-мыслителя. Если бы въ духъ Пушкина оба эти элемента были равносильны, и если-бъ къ этому роскошный цвъть его поэзіи имъль своей почвой вполнъ развившуюся многовъчную цивилизацію, тогда конечно Пушкинъ былъ бы равенъ величайшимъ поэтамъ Европы...

Можетъ-быть инымъ покажется недостаткомъ въ «Цыганахъ» то; что въ этой поэмъ дикій цыганъ, такъ сказать, пристыжаеть высотой своихъ созерцаній и чувствованій понятія сына цивилизаціи, и такимъ образомъ заставляетъ насъ видъть идеалъ правственно-просвътленнаго человъка въ бродящемъ дикаръ. Это несправедливо. Алеко есть одно изъ явленій цивилизаціи, но отнюдь не полный ея представитель. Сверхъ того, несмотря на всю возвышенность чувствованій стараго цыгана, онъ-не высшій ндеалъ человъка: этотъ ндеалъ можетъ реализироваться только въ существъ сознательно-разумномъ, а не въ непосредственно-разумномъ, не вышедшемъ изъ-подъ опеки у природы и обычая. Иначе, развитіе человъчества черезъ цивилизацію не имъло бы никакого смысла, и люди, чтобъ сделаться разумными и справедливыми, должны бы въ дикомъ состояніи видъть свое призвание и свою цъль. Человъчество должно было помириться съ природой, но не иначе, какъ достигши этого примиренія свободно, путемъ духовнаго, противоположнаго природъ, развитія. Для того-то и распался ивкогда человъкъ съ природой и объявилъ ей борьбу на смерть, чтобъ стать выше ея и нотомъ. даже примирившись въ ней, быть выше ея, какъ духъ выще матеріи, сознающій разумъ выше безсознательной действительности. Бывають собаки, одаренныя не только удивительнымъ инстинктомъ, подходящимъ близко къ смыслу, но и удивительными добродстелями, какъ-то всрностью и привязанностью къ человеку, простирающимися до готовности жертвовать жизнью за человъка. И въ то же время бывають люди не только съ весьма ограниченными способностями, но и съ положительно-низкими страстями и злой, развращенной волей. И однакожъ, самый плохой человъкъ выше самой лучшей

собаки, хотя онъ и внушаеть къ себъ одно презръніе и отвращеніе, тогда какъ послъднял пользуется общимъ удивленіемъ и любовью: такъ и самый худшій между интеллектуально развитыми черезъ цивилизацію людьми въ царствъ разума занимаетъ высшую степень, нежели самый лучшій изъ людей, взлельянныхъ на лонъ природы; послъдній всегда—не болье, какъ прекрасная случайность или существо, обязанное своими достоинствами случайному дару удавшейся организаціи, тогда какъ самые недостатки и пороки перваго болже или менфе отражають на себф необходимый моменть въ историческомъ развитіи общества или даже цълаго человъчества. Добродътели послъдняго не зависять оть прошедшаго, и потому не дають результатовь въ будущемь; это таланть, скрытый въ землю, отъ котораго человъчество не богатьеть. И потому жизнь непосредственно-естественнаго человъка ни въ какомъ случать не можеть обогатить человъчества великимъ урокомъ. И если въ поэмъ Пушкина старый цыганъ способствуеть, самъ того не зная, къ преподанію намъ великаго урока, то не самъ собой, а черезъ Алеко, этого сына цивилизаціи. Здісь онь какъ бы играеть роль хора въ греческой трагедіи, который иногда изрекаеть великія истины о совершающемся передъ его глазами событін, не принимая самъ въ этомъ событіи никакого д'ятельнаго участія.

Сколько «Цыганы» выше предшествовавшихъ поэмъ Пушкина по ихъ мысли, столько выше они ихъ и по концепировкъ характеровъ, по развитію дъйствія и по художественной отдълкъ. Нельзя сказать, чтобъ во всъхъ этихъ отношеніяхъ поэма не отзывалась еще чъмъ-то... не то, чтобъ неэрълымъ, но чъмъ-то еще не совсъмъ дозрълымъ. Такъ, напримъръ, характеръ Алеко и сцена убійства Земфиры и моло-

дого цыгана, несмотря на все ихъ достоинство, отзываются нъсколько мелодраматическимъ колоритомъ, и вообще въ отдълкъ всей поэмы не достаетъ твердости и увъренности кисти, какъ въ тъхъ картинахъ, въ которыхъ краски еще не дошли до той степеци совершенства, чтобъ совсъмъ не походить на краски, что составляетъ величайшее торжество живописи, какъ художества. Въ «Цыганахъ» есть даже погръщности въ слогъ. Такъ, напримъръ, въ стихъ: «Тогда старикъ, приближаясь, рекъ», слово рекъ отзывается тяжелой книжностью, равно накъ и эпитетъ «подъ издранными шатрами», вмъсто изодранными. Но два стиха—

Медвъдь, бъглеџъ родной берлоги, Косматый гость его шатра,—

можно назвать ультра-романтическими, потому что все неточное, неопредъленное, сбивчивое. неясное, бъдное положительнымъ смысломъ, при богатствъ кажущагося смысла, -- все такое должно называться романтическимъ, тогда какъ все опредълительное и точно прекрасное должно назваться классическимъ, разумъя подъ «классическимъ» древне-греческое. Что такое «бъглецъ родной берлоги»? Не значитъли это, что медвидь бижаль безь позволенія и безъ паспорта изъ своей берлоги? Хорошо бъгство для того, кто взять насильно, при помощи дубины и рогатины! Этоть медвъдь-похищенецъ, если можно такъ выразиться, но отнодь не бытлець. Что такое «косматый гость шатра»? Что медвъдь добровольно поселился въ шатръ Алеко? Хорошъ гость, котораго ласковый хозяинъ держитъ у себя на цѣпи, а при случаѣ угощаеть дубиной! Этоть медвъдь скоръе плънникъ, чемъ гость.

По всему сказанному мы относимъ «Цыганъ» вмъстъ съ «Полтавой» и первыми шестью гла-

вами «Евгенія Онѣгина» къ числу поэмъ, въ которыхъ видна только близость, но еще не достиженіе той высокой степени художественнаго совершенства, которая была собственностью таланта Пушкина и которая развернулась въ первый разъ во всей полнотъ ея въ «Борисъ Годуновъ»,—этомъ безукоризненно высокомъ, со стороны художественной формы, произведеніи.

Намъ не разъ случалось слышать нападки на эпизодъ объ Овидіи, какъ неумъстный въ поэмъ и неестественный въ устахъ цыгана. Признаемся: по нашему мивнію, трудно выдумать что-нибудь нелъпъе подобнаго упрека. Старый цыганъ разсказываеть въ поэмѣ Пушкина не нсторію, а преданіе, и не о поэт'в римскомъ (цыганъ ничего не смыслить ни о поэтахъ, ни о римлянахъ), но о какомъ-то святомъ старикъ, который быль «младъ» и живъ незлобною душой, имълъ дивный даръ пъсенъ и подобный шуму водъ голосъ». Сверхътого «Цыганы» Пушкина — не романъ и не повъсть, но поэма; а есть большая разница между романомъ и повъстью и между поэмой. Поэма рисуеть идеальную действительность и схватываеть жизнь въ ея высшихъ моментахъ. Таковы поэмы Байрона и, порожденныя ими, поэмы Пушкина. Романъ и повъсть, напротивъ, изображають жизнь во всей ея прозаической действительности, независимо отъ того, стихами или прозой они пишутся. И потому «Евгеній Онъгинъ» есть романъ въ стихахъ, но не поэма; «Графъ Нулинъ»—повъсть въ стихахъ, но не поэма. Въ «Онфгинф» и «Нулипф» мы видимъ лица дфйствительныя и современныя намъ; въ «Цыганахъ» всъ лица идеальныя, какъ эти греческія изваянія, которыхъ открытые глаза не блещуть свътомъ очей, ибо они одного цвъта съ лицомъ: такъ же мраморны или мъдяны, какъ и лицо. Такимъ образомъ эпизодъ въ родъ разсказа

стараго цыгана объ Овидіи въ «Цыганахъ», какъ поэмѣ, столь же возможенъ, естественъ и умѣстенъ, сколько былъ бы онъ страненъ и смѣнонъ въ «Онѣгинѣ» или «Нулинѣ», хотл бы онъ былъ вложенъ въ уста тому или другому герою той или другой повѣсти. И что бы ин говорили о неумѣстности этого эпизода непризванные критики,—ихъ толки будутъ свидѣтельствовать только о безвкусіи и мелочности ихъ взгляда на искусство. Эпизодъ объ Овидіи заключаетъ въ себѣ гораздо больше поэзіи, нежели сколько можно найти ее во всей русской

литературъ до Пушкина.

Какъ забавную черту о критическомъ духъ того времени, когда вышли «Цыганы», извлекаемъ изъ записокъ Пушкина слъдующее мъсто: «О «Цыганахъ» одна дама замътила, что во всей поэмъ одинъ только честный человъкъ, и то медведь. Покойный Р. негодоваль, зачемь Алеко водить медвъдя и еще собираеть деньги съ глазъющей публики. В. повторилъ то же замъчание (Р. просилъ меня сдълать изъ Алеко хоть кузнеца, что было бы не въ примѣръ благородиње). Всего бы лучше сдълать изъ него чиновника или помъщика, а не цыгана. Въ такомъ случат, правда, не было бы и всей поэмы: ma tanto megtio». Вотъ при какой публикъ явился и дъйствоваль Пушкинъ! На это обстоятельство нельзя не обращать вниманія при оцънкъ заслугъ Пушкина.—«Цыганы» были первымъ усиліемъ, первой попыткой Пушкина создать что-инбудь важное и зртлое, какъ по идев, такъ и по исполнению. Мы показали до какой степени удалось ему это: «Цыганы» оставили далеко за собой все написанное имъ прежде, обнаруживъ въ поэтъ великія силы; но въ то же время въ этой поэмъ виденъ только могучій порывъ къ истинно-художественному творчеству, но еще не полное достиженіе желанной ціли стремленія. Черезь два года послъ «Цыганъ» (т.. е въ 1829 году) вышла новая поэма Пушкина—«Полтава», въ которой ръзко выразилось усиліе поэта оторваться оть прежней дороги и твердой ногой стать на новый путь творчества. Но гдф видно усиліе, тамъ еще нать достиженія: достигнуть желаемаго, значить-спокойно, свободно, следовательно безъ всякихъ усилій овладѣть имъ. Поэтому въ «Полтавъ» видны какая-то неръшительность, какое-то колебаніе, вслідствіе которыхъ изъ этой поэмы вышло что-то огромное, великое, но въ то же время и нестройное, странное, неполное. «Полтава» богата новымъ элементомъ---на-родностью въ выраженін; почти всякое мѣсто. отдъльно взятое въ ней, превосходить все, написанное прежде Пушкинымъ, по силъ, полнотъ и роскоши поэтическаго выраженія, и въ то же время въ этой поэмъ нътъ единства, она не представляетъ собой цълаго. Содержаніе ея до того огромно, что одна см'влость поэта коспуться такого содержанія есть уже заслуга, тъмъ болъе, что мпогія частности показывають, что поэть достоинь быль своего предмета,--и все-таки, читая «Полтаву» и дивясь ея великимъ красотамъ, спрашиваещь себя: что это же такое? Разсмотрине причинь такого явленія очень любопытно, и мы постараемся изследовать этоть вопросъ столько подробно и удовлетворительно, сколько это въ нашихъ силахъ.

Какъ недостатки, такъ и достоинства «Полтавы» были равно не поняты тогдашними критиками и тогдашней публикой. Между тъмъ ни одно произведение Пушкина, послъ «Руслана и Людмилы», не возбуждало такихъ споровъ и толковъ, какъ «Полтава». Ее бранили съ ожесточениемъ, безъ всякаго уважения къ лицу великаго поэта; и съ тъхъ поръ изкоторые критики, обрадовавшись своей собственной смълости и своему открытію, что и Пушкина можно бранить, какъ какого-нибудь обыкновеннаго стихотворца, не упускали случая пользоваться своей похвальной смълостью и своимъ счастливымъ открытіемъ. Такимъ образомъ въ разныхъ журналахъ и на разные голоса, но одинаково неприлично и несправедливо, были разруганы—«Полтава», «Графъ Нулинъ», «Борисъ Годуновъ», седьмая глава «Евгенія Онъгина», третья часть мелкихъ стихотвореній и пр. Мы увидимъ, каковы были эти критики или, лучше сказать, эти брани, потому что критика не есть брань, а брань не есть критика. Обратимся къ «Полтавѣ».

Главный недостатокъ «Полтавы» вышель изъ желанія поэта написать эпическую поэму. Хотя Пушкинъ принадлежаль къ той новой литературной школѣ, которая отреклась отъ преданій псевдо-классицизма; хотя онъ поэтому и смѣялся надъ чахоточнымъ «отцомъ немного тощей Энеиды», въ первой главѣ «Онѣгина» шутя объщалъ написать «поэму пѣсенъ въ двадцать пять», а седьмую главу его кончить этой острой эпиграммой на завѣтное «пою» старин-

ныхъ эпическихъ поэмъ:

Но здѣсь съ побѣдою поздравимъ
Татьяну милую мою,
И въ сторону свой путь направимъ,
Чтобъ не забыть о комъ пою...
Да кстати здѣсь о томъ два слова:
«Пою пріятеля младова
И множество его причудъ.
Благослови мой долгій трудъ,
О ты, эпическая муза!
И върный посохъ мнъ вручивъ,
Не дай блуждатъ мнъ вкосъ и вкривъ.
Довольно. Съ плечъ долой обуза!
Я классицизму отдалъ честь:
Хоть поздно, а вступленье есть...

Однако все это еще не доказываеть, чтобъ легко было отръшиться начисто отъ преобладающихъ преданій той эпохи, въ которую мы родились н развились. Несмотря на то, что Пушкинъ самъ былъ великимъ реформаторомъ въ руской литературъ, —литературныя преданія тъмъ не менве отяготвли надъ нимъ, что можно видъть изъ его безусловнаго уваженія ко всъмъ представителямъ прежней русской литературы. Итакъ, въ «Полтавъ» ему хотълось сдълать опыть эпической поэмы въ новомъ духъ. Что такое эпическая поэма! — Идеализированное представление такого исторического события, въ которомъ принималъ участіе весь народъ, которое слито съ религіознымъ; нравственнымъ и политическимъ существованіемъ народа и которое имъло сильное вліяніе на судьбы народа. Разумъется, если это событие касалось не одного парода, но и цълаго человъчества, -- тъмъ ближе поэма должна подходить къ идеалу эпоса. Такъ смотръли на эпическую поэму всъ образованные люди со временъ упадка древнегреческой національности и возникновенія александрійской школы почти до начала XIX стольтія, слъдовательно болье двухъ тысячь льть. А отчего произошло такое понятіе объ эпосъ?--оттого, что у грековъ была «Иліада» и «Одиссея», —больше не отъ чего. Причина довольно забавная, но темъ не менъе поиятная, ибо таково всегда вліяніе народа, им'вющаго всемірно-историческое значеніе, на всѣ другіе народы: они подражають ему рабски во всемь, начиная отъ искусства до покроя платья. У грековъ была «Иліада», которая нѣкоторымъ образомь служила имъ книгой откровенія, изъ которой вытекала вся ихъ позднъйшая поэзія и которую читали не одни ученые, но зналъ наизусть каждый эллинь, понимавшій скольконибудь достоинство и счастье быть эллиномъ.

Стало-быть, почему же не имъть такой поэмы напримъръ и римлянамъ? Но какъ же бы это сдълать, если такой поэмы у римлянъ не явилось въ полуисторическую эпоху ихъ политическаго существованія?-Очень просто: если ее не создалъ духъ и геній народа, —ее долженъ создать какой-нибудь записной поэть. Для этого ему стоить только подражать «Иліадъ», Въ ней воспъто важивищее событие изъ традиционной исторіи грековъ-взятіе Трои:стало-быть, надо порыться въ летописяхъ своего отечества, чтобъ поискать такого же. Да воть чего же лучше — основание латинскаго государства въ Италіи черезъ миимое пришествіе Энея въ Италію. Въ подробностяхъ тоже остается только копировать «Иліаду» и «Одиссею» съ небольшими перемънами, какъ напримъръ Гомеръ начинаеть свою поэму: «Муза, воспой» и пр., а вы начните просто, отъ себя; «пою-де такого-то мужа», и пр. Если же могла быть у римлянъ эпопея, такимъ легкимъ образомъ сочиненная, то почему же бы не могла она быть и у всъхъ повъйшихъ народовъ? И вотъ у итальянцевъ явился «Освобожденный Іерусалимъ», у англичанъ-«Потерянный Рай», у испанцевъ-«Араукана», у португальцевъ-«Lusiades» («Лузитане»?), у французовъ—«Генріада», у нъмцевъ-«Мессіада», у насъ, русскихъ, недоконченная «Петріада», да еще (если упомянуть ради смъха) пресловутыя, стопудовыя «Россіада» и «Владиміръ». Происхожденіе всъхъ этихъ поэмъ такъ же незаконно, какъ и образца ихъ «Эпеиды». Она явилась вслъдствіе «Иліады»; но вѣдь «Иліада» была столько же непосредственнымъ созданіемъ цълаго народа, сколько и преднамъреннымъ, сознательнымъ произведеніемъ Гомера. Мы считаемъ за ръшительно несправедливое мивије, будто бы «Иліада» есть не что иное, какъ сводъ народ-

ныхъ рансодовъ: этому слишкомъ рѣзко противоръчить ея строгое единство и художественная выдержанность. Но въ то же время нельзя сомивваться, чтобы Гомеръ не воспользовался болъе или менъе готовыми матеріалами, чтобъ воздвигнуть изъ нихъ въковъчный памятникъ эллинской жизни и эллинскому искусству. Его художественный геній быль плавильной печью, черезъ которую грубая руда народныхъ преданій и поэтическихъ пъсенъ и отрывковъ вышла чистымъ золотомъ. Гомеръ написалъ объ свои поэмы черезъ 200 лѣтъ послѣ совершенія воспътыхъ въ нихъ событій, а событія эти совершались почти за 1200 лъть до Р. Х., слъдовательно во времена миническія, да и самъ Гомеръ жилъ въ эпоху до-историческую; отсюда и происходить дъвственная наивность его поэмъ, вслъдствіе которой и досель описанный имъ міръ, несмотря на его чудесность, носить на себъ печать дъйствительности. Притомъ же «Одиссея» послѣ «Иліады» ясно доказываеть невозможность въ одномъ произведении исчернать всю жизнь народа, и потому сторона героизма и доблести выражена въ «Иліадѣ», а гражданская мудрость—въ «Одиссев». «Энеида» написана, напротивъ, во времена перезрѣлости и паденія народа; она есть произведеніе одного человъка, безъ всякаго участія народа, и почти безъ помощи поэтическихъ преданій. Какая же это эпонея въ родъ «Иліады» и что у ней общаго съ «Иліадой»? Это просто-старческое произведеніе, которое силилось показаться младенческимъ. И притомъ навосъ римской жизни быль совсьмь другой, чемь панось греческій; слъдовательно Эней-ложно-римскій герой. Настоящій герой римскій это—даже не Юлій Цезарь, а развъ братья Гракхи; настоящій же эпосъ римскій-это кодексъ Юстиніана; оказавшаго римлянамъ услугу въ родъ той, которую Пизистрать оказаль грекамь, собравь воедино отрывки Гомеровыхъ поэмъ. Несмотря на то, что герой «Эненды» посить название благочестиваго (pius), а ея творецъ-дъвственнаго (Virgilius), эта поэма явилась во времена упадка нравственности, во времена всеобщаго національнаго разврата, когда древняя правда н доблесть римская погибли навсегда, когда литература жила не геніемъ народнымъ, а покровительствомъ Мецената, когда Горацій въ прекрасныхъ стихахъ воспъвалъ эгонзмъ, малодушіе, низость чувствъ. И хотя никакъ нельзя отрицать многихъ важныхъ достоинствъ въ «Энендъ», написанной прекрасными стихами и заключающей въ себъ многія драгоцънныя черты издыхавшаго древняго міра, тъмъ не менъе эти достониства относятся просто къ памятнику древней литратуры, оставленному даровитымъ поэтомъ, но не къ эпической поэмъ,--н какъ эпическай поэма, «Энеида» весьма жалкое произведение. То же самое можно сказать и обо всъхъ другихъ попыткахъ вт этомъ родъ. «Освобожденный Іерусалимъ» Тасса написанъ по академической формъ и, въ угодность академін, быль своимь авторомь ивсколько разъ переуродованъ. Воспътое въ немъ событіе касалось всего христіанства міра, що поэть жиль послв этого событія почти пятьсоть лъть спустя, когда итальянцы давно уже перестали вършть не только необходимости сражаться съ сарацинами или турками за чтонибудь другое, кромт денегь, но даже и святости святышаго отца-папы. Прекрасныя октавы (затверженныя даже народомъ) и отдъльныя красоты въ «Освобожденномъ Герусалимъ» все-таки не спасають его оть несчастія быть неудачной попыткой на эпическую поэму. «Потерянный рай», кром'в достоинства поэтическихъ частностей, замъчателенъ еще, какъ литературный отголосокъ мрачнаго пуританизма и грозныхъ временъ Кромвеля; по какъ эпическая поэма, онъ длиненъ, скученъ и уродливъ. Сама «Генріада» имъетъ значеніе совсъмъ не эпической поэмы, а какъ протесть противъ католической нетерпимости, -- что доказывается выборомь героя, который быль протестанть въ душъ, и во времена самаго дикаго фанатизма смъль быть человъкомъ, въ разумномъ значеніи этого слова. «Мессіада» замічательна, какъ памятникъ нъмецкаго трудолюбія, терпънія и отвлеченнаго мистицизма; это произведение тщательно обработанное въ литературномъ отношеній, по ужасно растянутое, тяжелое и скучное. Только «Божественная комедія» Данте подходить подъ идеаль эпической поэмы, къ которому такъ тщетно стремились всв исчисленныя нами. И это потому ,что Данте не думалъ подражать ни Гомеру, ни Виргилію. Его поэма была полнымъ выраженіемъ жизни среднихъ въковъ съ ихъ схоластической теологіей н варварскими формами ихъ жизни, гдф боролось столько разпородныхъ элементовъ. Если вь поэмъ Данте нграеть такую роль Виргилій,-это произошло вслъдствіе самыхъ естественныхъ и неизбъжныхъ причинъ: Виргилій пользовался даже въ средніе въка какимъ-то суевърнымъ уваженіемъ въ Италін, такъ что сами монахи чуть не причислили его къ лику католическихъ святыхъ. Форма поэмы Данте такъ самобытна и оригинальна, какъ и въющій въ ней духъ, —и только развъ колоссальные готическіе соборы могуть соперничать съ ней въ чести быть великими поэмами среднихъ въковъ. Между тъмъ въ поэмъ Данте не воспъвается никакого знаменитаго историческаго событія, имъвшаго великое вліяніе на судьбу народа; въ ней даже пъть ничего героическаго, н ея характеръ по преимуществу-схоластически-теологическій, какимъ наиболже отличались средніе въка. Слъдственно то, что хотълн видъть только въ эпическихъ поэмахъ на манеръ «Энеиды», можетъ быть и въ сочиненіяхъ совсѣмъ другого рода; не знаменитое событіе, а духъ народа или эпохи долженъ выражаться въ твореніи, которое можеть войти въ одну категорію съ поэмами Гомера. И потому смело можно сказать, что немцы имеють свою «Иліаду» не въ жалкой «Мессіадъ» Клонштока, а развъ въ «Фаустъ» Гёте. Изъ всего этого мы выводимъ слъдствіе, что мысльвоспъвать знаменитое историческое событіе и изъ этого дълать эническую поэму принадлежить къ эстетическимъ заблужденіямъ челов'вчества, и что на этомъ зыбкомъ основаніи ничего нельзя создать, особенно въ наше время, когда въ исторической жизни умирающее прошедшее борется съ возникающимъ новымъ, когда вследствіе этого все такъ нерешительно, разъединено, слабо и безхарактерно, и когда дъйствують только отдъльныя личности, но не массы. Вообще духъ среднихъ въковъ особенно быль враждебень эпонев, потому что онь сильно развиль чувство индивидуальности и личности, столь благопріятное драм'в и столь противоположное эпосу, въ которомъ главный герой естественно-само событіс, подчиняющее себъ волю отдъльныхъ лицъ, а не отдъльныя лица, борющіяся съ событіемъ. Оттого въ новомь мірѣ даже романь—этоть истинный его эпосъ, эта истинная его эпическая поэма,тъмъ больше имъетъ успъха, чъмъ больше проникнуть элементомъ драматическимъ, столь противоположнымъ эпическому. И хотя, вследствіе разъ принятаго и навсегда утвердившагося ложнаго мивнія, эпическая поэзія, по преданію отъ древности, ошибочно приложенному къ требованіямъ новаго міра, и считалась высшимъ родомъ поэзін и высочайщимъ произведеніемъ человѣческаго генія,—однако этимъ высшимъ родомъ поэзін въ пемъ всегда была, такъ какъ и теперь есть, драма, если уже въ поэзін непремѣнно одинъ который инбудь родъ

полженъ быть высшимъ.

Конечно, Пушкинъ былъ столько поэтъ и столько умный человъкъ, что не могъ принмать эпось по мъркъ не только какой-инбудь дюжинной «Россіады», но даже и умной, и щегольской «Генріады», которыхъ несчастная форма уже слишкомъ устаръла и опошлилась для времени, когда онъ явился. Но въ то же время отъ возможности эпической поэмы въ новой формъ онъ не могъ совершенно отречься. И потому, естественно, его идеалъ эпической поэмы заключался въ нео-классицизмъ или классицизмъ, подповленномъ такъ называемымь романтизмомь. Художественный такть Пушкина не могъ допустить его выбрать содержаніе для эпической поэмы изъ русской нсторін до Петра Великаго,—н потому онъ остановился на величайшей эпохъ русской исторіи-на царствованіи великаго преобразователя Россіи, и воспользовался величайшимъ его событіемь—полтавской битвой, въ торжествъ которой заключалось торжество всъхъ трудовъ, всъхъ подвиговъ, словомъ, всей реформы Петра Великаго. Но въ поэмъ Нушкина, состоящей изъ трехъ пъсенъ, полтавская битва, равно какъ и герой ел-Петръ Великій, являются только въ последней (третьей) песне; тогда какъ двъ заняты любовью Мазены къ Маріи и его: отношеніями къ ея родственникамъ. Поэтому полтавская битва составляеть какъ-бы эпизодъ изъ любовной исторіи Мазены и ел развязку: этимъ явно упижается высокость такого предмета, и эпическая поэма упичтожается сама собой! А между тъмъ эта поэма носитъ

названіе «Полтавы»; слідственно, ея героемъ, ея мыслью должна бы быть полтавская битва. нбо название поэтическаго произведения всегда важно, потому что оно всегда указываеть или на главное изъ его дъйствующихъ лицъ, въ которыхъ воплощается мысль сочиненія, или прямо на эту мысль. Воть первая ошибка Пушкина, и ошибка великая! Но можеть быть намъ возразять, что Пушкинь совствит не думаль нисать эпической поэмы, и что герой его поэмы--Мазепа, а не полтавская битва. Подобное возражение тъмъ естественнъе, что Пушкинъ. какъ говорили и даже писали въ то время сперва хотълъ назвать свою поэму-«Мазепой», но почему-то послъ, когда приступиль къ ея печатанію, переименоваль ее въ «Полтаву». Положимъ, что это такъ, но и съ этой точки зрѣнія «Полтава» будеть произведеніемъ ошибочнымъ въ ея общности, или цъломъ. Какую мысль хотъль выразить поэть черезъ эту исторію любви, смѣшанной съ политическими замыслами и черезъ нихъ пришедшей въ соприкосновение съ полтавской битвой?—Неужели эту: какъ опасно обольщать, особенно на старости лъть, юную невинность? И неужели мысль всей поэмы кроется въ мелодраматическомъ смущенін Мазены при видъ опустьлаго Кочубеева хутора, мимо котораго промчался онъ съ шведскимъ королемъ съ поля полтавской битвы? И стоило ли для такой мысли, конечно очень похвальной и нравственной, но тъмъ не менъе слишкомъ частной и нисколько не исторической, -- стоило ли для нея изобрътать полтавскую битву и Петра Великаго? Не думаемъ! Конечно любовь Мазепы къ дочери Кочубен имъетъ историческое значение по отпошенію къ доносу озлобленнаго Кочубея на Мазену; но въ отношенін къ полтавской битвѣ она, эта любовь, не болъе какъ эпизодъ, какъ

нсторическая подробность, —и полтавская битва имфеть огромное значение сама по себъ, не только безъ любви Мазены, по и безъ самого Мазены. Если-бъ поэть главной своей мыслыо имълъ любовь Мазепы, онъ долженъ бы полтавскую битву ввести въ свою поэму, какъ эпизодъ, важный только по его отношению къ лицу одного Мазепы, оставивъ въ тѣни колоссальный образъ Петра и упомянувъ развъ только о мелодраматической смерти казака, влюбленнаго въ Марію, который вздиль съ доносомъ Кочубея къ Петру, а въ полтавской битвъ безумно бросился на Мазепу и, на смерть пораженный Войнаровскимъ, умеръ съ именемъ Маріи на устахъ. Иначе весь эпизодъ полтавской битвы необходимо долженъ былъ выйти какой-то особой поэмой въ поэмъ, безъ всякаго соотношенія къ любовной исторіи Мазепыкакъ оно и дъйствительно вышло, ко вреду цѣлой поэмы. А это ясно доказываеть, что Пушкинь хотель, во что бы то ни стало, воспользоваться случаемъ къ созданию чего-то въ родъ энической поэмы; полтавская же битва, такъ кстати пришедшаяся къ любовной исторіи Мазепы, была такимъ соблазнительнымъ случаемь, что поэть не могь пропустить его для осуществленія своей мечты. Но въ этой мечть о возможности эпической поэмы и заключается причина зыбкаго основанія «Полтавы», ибо даже изъ самой полтавской битвы нельзя сдълать поэмы. Эта битва была мыслью и подвигомъ одного человъка; народъ принималъ въ ней участіе, какъ орудіе въ рукахъ Великаго, котораго понять и оцфиить могло только потомство и для котораго судъ потомства едва начался только со времень Екатерины Второй. Вообще изъ жизни Петра Великаго геніальный поэть могь бы сдълать не одну, а множество драмъ, но рѣшительно ни одной эпической поэмы. Петръ Великій слишкомъ личенъ и характеренъ, слѣдовательно слишкомъ драматиченъ для какой-бы то ни было поэмы. Сверхътого для поэмъ годятся только лица полуисторическія и полумноическія; отдаленность эпохи, въ которую они жили, способствуеть совокупить все извѣстное о ихъ жизни въ нѣсколькихъ поэтическихъ мгновеніяхъ. Въ жизни же историческаго лица, не отдаленнаго отъ насъ пространствомъ вѣковъ и чуждыми намъ условіями быта, всегда бываетъ слишкомъ много тѣхъ прозаическихъ подробностей, которыхъ пельзя выбрасывать, не впадая въ напыщен-

ность и высокопарность.

Итакъ, изъ «Полтавы» Пушкина эпическая поэма не могла выйти по причинъ невозможпости эпической поэмы въ наше время, а романтическая поэма, въ родъ Байроновской, тоже не могла выйти по причинъ желанія поэта слить ее съ невозможной эпической поэмой. И потому «Полтава» явилась поэмой безъ героя. Мы уже доказали, что смъшно было бы считать Петра Великаго героемъ поэмы, въ которой главная и большая часть дъйствія посвящена любовной исторіи Мазепы. Но и самъ Мазепа не можеть считаться героемъ «Полтавы». Байронъ въ своей исполненной энергіи и величія поэмъ, названной именемъ Мазены, изобразилъ это лицо исторически невърно; но какъ онь въ этомъ изображенін былъ въренъ поэтической истинъ, то изъ его Мазепы вышло лицо колоссально-поэтическое: тамъ мы видимъ одно изъ тъхъ титаническихъ лицъ, которыя въ такомъ изобиліи порождаль глубокій духъ англійскаго поэта... Но Пушкинъ, лучие знавшій Мазену, какъ историческое лицо, хотъль быть въренъ исторіи, —и въ этомъ сдълаль большую ошибку, ибо, скажите Бога ради, что за герой поэмы, о которомь самь поэть говорить:

Что радъ и честно, и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ;
Что пи едипой онъ обиды
Съ тъхъ поръ, какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды,
Старикъ надменный простиралъ;
Что онъ не въдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровъ готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нътъ отчизны для него.

Герой какого бы ни было поэтическаго произведенія, если оно только не въ комическомъ духѣ, долженъ возбуждать къ себѣ сильное участіе со стороны читателя. Если-бъ этотъ герой быль даже злодѣй,—и тогда онъ долженъ дѣйствовать на читателя силой своей воли, грандіозностью своего мрачнаго духа. Но въ мазенѣ мы видимъ одну низость интригана, состарѣвшагося въ козняхъ. Чувствуя это, Пушкинъ хотѣлъ дать прочное основаніе своей поэмѣ и дѣйствіямъ Мазены въ чувствѣ мщенія, которымъ поклялся Мазена Петру за личную обиду со стороны послѣдняго. Мы узнаемъ это изъ разговора Мазены съ Орликомъ наканунѣ полтавской битвы:

Нътъ, поздно, Русскому царю Со мной мириться невозможно. Давно ръшилась непреложно Моя судьба. Давно горю Стъсненной злобой. Подъ Азовымъ Однажды я съ царемъ суровымъ Во ставкъ ночью пировалъ. Полны виномъ кипъли чаши, Кипъли съ ними ръчи наши. Я слово сметлое сказалъ... Смутились гости молодые-Царь, вепыхнувъ, чашу уронилъ, И за усы мон съдые Меня съ угрозой ухватилъ. Тогда, смирясь въ безсильномъ гивев, Отметить себъ я клятву даль; Носиль ее-какъ мать во чревъ Младенца поситъ. Срокъ насталъ... Такъ, обо мнъ воспоминанье Хранить онъ будеть до конца. Петру я посланъ въ наказанье,-Я тернъ въ листахъ его вънџа. Онъ далъ бы грады родовые И жизни лучшіе часы, Чтобъ снова, какъ во дин былые, Держать Мазепу за усы. Но есть еще для насъ надежды... Кому бъжать, рвшить заря.

Нъть нужды говорить: о художественномъ достоинствъ этого разсказа: въ немъ виденъ великій мастеръ. Все въ немъ дышить правами тыхъ временъ, все върно исторіи. Но хотя этотъ разсказъ и основанъ на историческомъ предапіи, онъ тъмъ не менъе нисколько не поясняеть характера Мазепы, не даеть единства двйствію поэмы. Можно основать поэму на паоосъ дикаго, безщаднаго мщенія; по это мщеніе въ такомъ случав должно быть рычагомъ всвхъ дъйствій: лица, должно быть цълью самому себъ. Такое мщеніе не разбираеть средствъ, не боится препятствія и не колеблется отъ страха неудачи. Но Мазепа былъ очень разсчетливъ для такого мщенія; если-бъ онъ зналъ, что его измъна не удастся, -мало того, если-бы

онъ накапунъ полтавской битвы, предвидя ея развязку, могъ еще разъ обмануть Петра и разыграть роль невиппаго, — онъ перешелъ бы на сторону Петра. Нѣтъ, на изм'вну подвигла его надежда усивха, надежда получить изъ рукъ шведскаго короля хотя и вассальную, хотя только съ призракомъ самобытности, однако все же корону. Это ли мщеніе? Н'вть, мщеніе видить одно-своего врага, и готово вмѣстѣ сь нимъ броситься въ бездну, погубить врага хотя бы цыной собственной погибели. Слова Мазепы, что «русскому царю поздно съ нимъ мириться», могуть быть приняты не за что иное, какъ за хвастовство отчаниія. Петръ быль совсемь не такой человекь, который удостоиль бы Мазепу чести видать въ немъ своего врага и ръшился бы, даже ради спасенія своего царства, мириться съ нимъ: онъ видълъ въ Мазепъ не болъе, какъ возмутившагося своего подданнаго, измънника. Мазепа этого не могъ не знать къ своему несчастію: онъ былъ человѣкъ ума тонкаго и хитраго. Но если-бъ даже и на мщеніи Мазепы основань быть весь планъ поэмы Пункциа, то къ чему же въ ней любовная исторія Мазепы, если не къ тому, чтобъ разъединить интересь поэмы? Но можетъ-быть мысль поэта заключается во взаимной любви Мазепы и Маріи? Старикъ, страстно влюбленный въ молодую девушку, тоже страстно въ него влюбленную, -- эта мысль глубоко поэтическая, н надо сказать, что Пушкинь умель нарисовать ее кистью великаго живописца. Нъкоторые изъ критиковъ того времени сильно возставали противъ возможности и естественности такой любви; но ихъ нападки не стоятъ не только возраженій, даже какого бы то ни было вниманія. Эти господа забыли объ «Отелло» Шекспира, поэта, который въ знанін человіческаго сердца и страстей имветь конечно большій, чімь они, авторитеть. Но Шекспирь представиль такую любовь, какъ факть, не изслівдуя его законовь, потому что другой нравственный вопрось должень быль составить паоось его драмы. Нашь поэть, напротивь, анализируеть самую возможность и естественность такого явленія. И надо сказать, что въ этомь отношеніи онь истинно шекспировски внесь свівточь поэзіи во мракъ вопроса и даль на него такой удовлетворительный отвіть, какого можно ожидать только оть великаго поэта:

Мгновенно сердце молодое Горить и гаснеть. Въ немъ любовь Проходить и приходить вновь, Въ немъ чувство каждый день иное. Не столь послушно, не слегка, Не столь мгновенными страстями Пылаеть сердце старика, Окаменвлое годами. Упорно, медленно опо Въ огнъ страстей раскалено; Но поздній жаръ ужъ не остынеть И съ жизнью лишь его покинеть.

Далье мы увидимъ, что любовь Маріи къ Мазепь развита и объяснена еще подробнье, глубже, съ мастерствомъ, передъ которымъ невольно останавливается пораженный удивленіемъ читатель. Но на любовь Мазепы къ Маріи все-таки нельзя смотръть, какъ на паеосъ поэмы: ибо эта любовь не заставила его ни на минуту поколебаться въ его мрачныхъ замыслахъ. Бъгство Маріи стращно смутило Мазепу, но оно не имъло никакого вліянія на ходъ и развитіе поэмы. Смущеніе Мазепы при видъ Кочубеева хутора и потомъ при видъ сумасшедшей Маріи кажется намъ мелодраматической подставкой со стороны поэта. Можеть быть это

происходить еще и оттого, что послѣ такого событія, какъ полтавская битва съ ея слѣдствіями, интересъ любви уже не можеть не ослабѣть. Здѣсь опять видна главная ошибка поэта, хотѣвшаго связать романтическое дѣйствіе съ эпопеей. И вотъ почему «Полтава» не производить на читателя того единаго, полнаго, совершенно удовлетворяющаго впечатлѣнія, которое должно производить всякое глубококонцепированное и строго обдуманное поэтиче-

ское твореніе.

Но отдъльныя красоты въ «Полтавъ» изумительны. Если «Цыганы» далеко превзощли всъ предшествовавшія имъ произведенія Пушкина и по идеъ, и по исполнению, -то «Полтава», уступая «Цыганамь» въ единствъ плана, далеко превосходить ихъ въ совершенствъ выраженія. Изъ всъхъ поэмъ Пушкина въ «Полтавъ» въ первый разъ стихъ его достигъ своего полнаго развитія, вполив сталь Пушкинскимь. Критики того времени не безъ основанія придирались къ двумъ или тремъ неправильно усъченнымъ прилагательнымъ, которыя такъ неожиданно напомиили собой «пінтическія вольности» прежней школы; напримъръ: сонну вмъсто сонную. тризну тайну вмъсто тризну тайную; на нъсколько смълыхъ нововведеній, какъ напримъръ въ стихъ «Онъ *долженый* быть отномъ и другомъ». Но-мы укажемъ и еще на иъсколько незамфченныхъ ими погрфиностей, какъ напримъръ на неумъстные славянизмы-«младой, благостыни, главы», и въ особенности на два поражающія своей неточностью выраженія: первое въ монологъ Мазепы противъ Кочубея, котораго, Богъ знаеть почему, называеть опъ «вольнодумцемъ», и въ разговоръ свирънаго (и вообще весьма прозаически выражающагося во всей поэмъ) Орлика, который совътуеть Кочубею на допросъ «питаться мыслію суровой»:

Но воть и все. За исключениемъ этого, стихи

въ «Полтавъ» — верхъ совершенства.

Обращаясь къ отдъльнымъ красотамъ «Полтавы», не знаешь на чемъ остановиться-такъ много ихъ. Почти каждое мъсто, отдъльно взятое наудачу изъ этой поэмы, есть образецъ высокаго художественнаго мастерства. Не будемъ вычислять встхъ этихъ мъстъ, и укажемъ только на изкоторыя. Хотя казакъ, влюбленный въ Марію, и есть лицо лишнее, введенное въ поэму для эффекта, тъмъ не менъе его изображение (отъ стиха: «Между полтавскихъ казаковъ» до стиха: «И взоры въ землю опускалъ») представляеть собой необыкновенно мастерскую картину. Следующій затемь отрывокъ отъ стиха: «Кто при звъздахъ и при лунф. до стиха: «Царю Петру отъ Кочубея» выше всякой похвалы: это вмъсть и народная пъсия, и художественное создание. Кочубей, ожидающій въ теминцъ своей казии, его разговоръ съ Орликомъ (за исключеніемъ того, что говоритъ самъ Орликъ), -- все это начертано кистью столь широкой, могучей, и въ то же время спокойной и увъренной, что читатель не знаетъ, чему дивиться: мрачности ли ужасной картины, или ея эстетической прелести. Можно ли читать безъ упоенія, столько же полнаго грусти, сколько и наслажденія, эти стихи:

Тиха украинская ночь.
Прозрачно небо. Звёзды блецуть.
Своей дремоты превозмочь
Не хочеть воздухь. Чуть тренещуть
Сребристыхъ тополей листы.
Луна спокойно съ высоты
Надъ Бёлой-Церковью сіяетъ
И пышныхъ гетмановъ сады
И старый замокъ озаряетъ.
Н тихо, тихо все кругомъ;

Но въ замкъ шопотъ и смятенье. Въ одной изъ башенъ, подъ окномъ, Въ глубокомъ, тяжкомъ размышленьи, Окованъ Кочубей сидитъ И мрачно на небо глядитъ. Ваутра казнь. Но безъ боязни Онъ мыслить объ ужасной казии; О жизни не жалветь онъ: Что смерть ему? желанный сонъ. Готовъ онъ лечь во гробъ кровавый. Дрема долить. Но, Боже правый! Къ ногамъ злодъя, молча, пасть, Какъ безсловесное созданье! Царемъ быть отдану во власть Врагу царя на поруганье! Утратить жизнь—и съ нею честь, Друзей съ собой на плаху весть, Надъ гробомъ слышать ихъ проклятья, Ложась безвиннымъ подъ топоръ, Врага веселый встрътить взоръ И смерти кинуться въ объятья, Не завъщая никому Вражды къ злодъю своему!.. И вспоминлъ онъ свою Полтаву, Обычный кругь семьи, друзей, Минувшихъ дней богатство, славу, И пъсни дочери своей, И старый домъ, гдв онъ родился, Гдв зналъ и трудъ, и мирный сонъ, И все, чемъ въ жизни насладился, Что добровольно бросиль онь, И для чего?

Отвътъ Кочубея Орлику на допросъ послъдняго о зарытыхъ кладахъ былъ расхваленъ даже присяжными хулителями «Полтавы», и потому мы не говоримъ о немъ. Кочубея пытаютъ, а Мазепа въ это время сидитъ у ногъ спящей дочери мученика и думаетъ: Ахъ вижу я: кому судьбою Волненья жизни суждены, Тотъ стой одинъ передъ грозою, Не призывай къ себъ жены: Въ одну телъту впрячь не можно Коня и трепетную лань. Забылся я неосторожно: Теперь плачу безумства дань.

Въ тоскъ страшныхъ угрызеній совъсти злодъй сходить въ садъ, чтобъ освъжить пылающую кровь свою,—и обаятельная роскошь лътней малороссійской ночи въ контрастъ съ мрачными душевными муками Мазепы, блещеть и сверкаеть какой-то страшно-фантастической красотой:

Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звъзды блещутъ. Своей дремоты превозмочь Не хочеть воздухъ. Чуть трепещутъ Сребристыхъ тополей листы: Но мрачны странныя мечты Въ душъ Мазепы: звъзды ночи, Какъ обвинительныя очи, За нимъ насмъшливо глядятъ, И тополи, ственившись въ рядъ, Качая тихо головою, Какъ судьи, шепчутъ межъ собою. И лътней теплой ночи тьма Душна, какъ черная тюрьма. Вдругъ... слабый крикъ... невнятный стонъ Накъ бы изъ замка слышитъ онъ. То быль ли сонъ воображенья, Иль плачъ совы, иль звъря вой, Иль пытки стонъ, иль звукъ иной-Но только своего волненья Преодольть не могь старикъ, И на протяжный слабый крикъ Другимъ отвътствовалъ-тъмъ крикомъ, 12 соч. в. г. бълинскаго. ч. п.

Которымъ онъ въ весельн дикомъ Поля сраженья оглашалъ, Когда съ Забълой, съ Гамалѣемъ, И съ нимъ... и съ этимъ Кочубеемъ Онъ въ бранномъ пламени скакалъ.

Скажите: какъ, какимъ языкомъ хвалить такія черты и отрывки высокаго художества? Правду говорять, что хвалить мудренте, чтмъ бранить! Чтобъ быть достойнымъ критикомъ такихъ стиховъ, надо самому быть поэтомъ-и еще какимъ! И потому мы, въ сознаніи нашего безсилія, скажемь убогой прозой, что если эта картина мученій совъсти Мазепы можеть подозрительному уму показаться ивсколько мелодраматической выходкой (по той причинъ, что Мазепъ, какъ закоренълому злодъю, такъ же было не къ лицу содрогаться отъ воплей терзаемой имъ жертвы, какъ и красивть, подобно юношъ, отъ привъта красоты), то мастерство, съ которымъ выражены эти мученія; выше всякихъ похвалъ и утомияютъ собой всякое удивленіе. Сцена между женой Кочубея и ея дочерью замъчательно хороша по роли, какую играеть въ ней Марія. Вопросъ изумленной, еще пеочнувшейся отъ спа женщины, которая почтн понимаеть и въ то же время стращится понять ужасный смысль внезапнаго явленія матери. этоть вопрось: «Какой отець? какая казнь?», равно какъ и всъ вопросительные и восклицательные отвъты, - исполненъ драматизма. Картипа казни Кочубея и Искры отличается простотой и спокойствіемь, которыя въ соединенін сь ея страшной върностью дъйствительности производили бы на душу читателя невыносимое, подавляющее впечатлъніе, если-бъ творческое вдохновение поэта не ознаменовало ее печатью изящества. Этоть палачь, который, гуляя и веселяся на роковомъ помость, алчно ждетъ

жертвы и то, играючи, береть въ бълыя руки тяжелый топоръ, то шутить съ веселой чернью, и этоть безпечный народъ, который по совершении казни идеть домой, толкуя межь собой про свои въчныя работы: какая глубоко истинная, хотя въ то же время и безотрадно тяже-

лая мысль во всемь этомъ!

Но что всв эти разсвянныя богатой рукой поэта красоты передъ красотами третьей пвени! И не удивительно: павось этой третьей пвени устремлень на предметь колоссально-великій... Туть мы видимь Петра и полтавскую битву... Мастерской кистью изобразиль поэть преступные, мрачные помыслы, кипввшіе въ душть Мазены; его притворную бользиь и висзанный переходь сь одра смерти на поприще властительства; гитвь Петра, его сильныя и быстрыя мъры къ удержанію. Малороссіи... Какъ прекрасно это поэтическое обращеніе поэта къ Карлу XII:

И ты, любовинкъ бранной славы, Для шлема кинувшій вѣнецъ, Твой близокъ день: ты валъ Полтавы Вдали завидълъ наконецъ.

Картина полтавской битвы начертана кистью широкой и смѣлой; она исполнена жизни и движенія: живописець могь бы писать съ нея, какъ съ натуры. Но явленіе Петра въ этой картинъ, изображенное огненными красками, поражаеть читателя, говоря собственными словами Пушкина, быстрымъ холодомъ вдохновенья, подымающимъ волосы на головъ,—производить на него такое впечатлъніе, какъ будто бы онъ видить передъ глазами совершеніе какогонибудь тапиства, какъ будто бы иъкій богъ, вълучахъ нестеримой для взоровъ смертнаго славы, проходить передъ инмъ, окруженный громами и молніями...

Тогда-то свыше вдохновенный Раздался звучный гласъ Петра: «За дъло, съ Богомъ!» Изъ шатра, Толпой любимцевъ окруженный, Выходить Петръ. Его глаза Сіяють. Ликъ его ужасень. Движенья быстры. Онъ прекрасенъ, Онъ весь, какъ божія гроза. Идетъ... Ему коня подводять. Ретивъ и смиренъ върный конь; Почуя роковой огонь, Дрожить, глазами косо водить И мчится въ прахъ боевомъ, Гордясь могучимъ съдокомъ. Ужь близокь полдень. Жарь пылаеть. Какъ пахарь, битва отдыхаеть. Кой-гдв гарцують казаки; Ровняясь строятся полки; Молчить музыка боевая; На холмахъ пушки, присмиръвъ, Прервали свой голодный ревъ. И се-равнину оглашая, Далече грянуло ура: Полки увидели Петра. И онъ промчался предъ полками, Могущъ и радостенъ, какъ бой. Онъ поле пожиралъ очами... За нимъ во следъ неслись толпой Сіи птенцы гивзда Петрова— Въ премънахъ жребія земного, Въ трудахъ державства и войны Его товарици, сыны: И Шереметевъ благородный, И Брюсъ, и Боуръ, и Репнинъ, И, счастья баловень безродный, Полудержавный властелинъ.

Представьте себѣ великаго творческаго генія, который столько лѣтъ носилъ и лелѣялъ въ

душъ своей замыслы преобразованія цълаго народа, который столько трудился въ нотъ царственнаго чела своего,-представьте его въ ту ръшительную минуту, когда онъ начинаеть видъть, что его тяжба съ въками, его гигантская борьба съ самой природой, съ самой возможностью готова увънчаться полнымъ усиъхомъ, представьте себъ его преображенное, сіяющее побъднымъ торжествомъ лицо, если только ваша фантазія довольно сильна для такого представленія, — и вы будете видъть передъ собой живую картину, пачертанную Пушкинымъ въ стихахъ, которые сейчасъ прочли... Да, вь этомъ случав живописи стоило бы побороться съ поэзіей, —и великій живописецъ могь бы за честь поставить перевести на полотно въ живыхъ краскахъ живые стихи Пушкина, чтобъ ръшить задачу, какъ воспользуется живопись предметомъ, столь мастерски выраженнымъпоэзіей. Туть задача живописца состояла бы уже не въ творчествъ, а только въ творчески свободномъ переводъ одного и того же предмета сь языка поэзіи на языкъ живописи, чтобъ сравнительно показать средства и способы того и другого искусства. Повторяемъ: тутъ живописцу нечего изобратать—для него готовы и группы, и подробности, илицо Петра-эта главнъйшая задача всей картины. Полтавская битва была не простое сраженіе, замъчательное по огромности военныхъ силъ, по упорству сражающихся и количеству пролитой крови: нъть, это была битва за существование цълаго народа, за будущность цълаго государства, это была повърка дъйствительности замысловъ столь великихъ, что въроятно они самому Петру въ горькія минуты неудачь и разочарованія казались несбыточными, какъ и почти всъмъ его подданнымъ. И потому на лицъ послъдняго солдата должна выражаться безсознательная мысль, что совершается что-то великое, и что онъ самъ есть одно изъ орудій совершенія...

Но этимъ еще не оканчивается великая картина: это только главиая часть ея; въ отдаленіи поэть показываеть другую часть, меньшую, но безь которой картина его не имъла бы полноты:

И передъ синими рядами Своихъ воинственныхъ дружинъ, гіесомый върными слугами, Въ качалкъ, блъденъ, недвижимъ, Страдая раной, Карлъ явился. Вожди героя шли за нимъ. Онъ въ думу тихо погрузился, Смущенный взоръ изобразилъ Необычайное волненье; Казалось, Карла приводилъ Желанный бой въ недоумънье... Вдругъ слабымъ маніемъ руки На русскихъ двинулъ онъ полки.

Въ подробностяхъ битвы особенно замъчателенъ эпизодъ о волненіи дряхлаго и уже безсильнаго Палія, завидъвшаго врага своего—Мазену. Но эпизодъ смерти казака, влюбленнаго въ Марію, несмотря на превосходные стихи, до приторности исполненъ мелодраматизма и вовсе неумъстенъ. Мы уже говорили, что самая мысль ввести въ поэму этого казака, чтобъ было съ къмъ Кочубею отправить доносъ Петру на Мазену, мелодраматически эффектна; ради ея поэтъ исказилъ историческое событіе: доносъ былъ отосланъ не съ казакомъ, а съ старымъ монахомъ, Никаноромъ.

Картина битвы заключается еще картиной, съ которой тоже за честь бы могъ поставить себъ побороться великій живописець:

Пируетъ Петръ. И гордъ, и ясенъ, И полонъ славы взоръ его,

При кликахъ войска своего
Въ шатръ своемъ онъ угощаетъ
Своихъ вождей, вождей чужихъ,
И славныхъ плънниковъ ласкаетъ;
И за учителей своихъ
Заздравный кубокъ поднимаетъ.

Теперь намъ остается говорить о дивно препрасныхъ подробностяхъ еще цълой части позмы, паеосъ которой составляетъ любовь Марін къ Мазенъ. Вся эта часть поэмы есть какъ бы поэма въ поэмъ, и ея, конечно, стало бы на осо-

бую отдъльную поэму.

Въ историческомъ фактъ любви Мазепы и Марін Пушкинъ воспользовался только идеей любви старика къ молодой дъвушкъ и молодой дъвушки къ старику. Въ подробностяхъ и даже въ изображении дочери Кочубея онъ отступалъ оть исторіи. Поэтому весь этоть факть онь передълалъ по своему идеалу, —и дочь Кочубея является у него совершенно идеализированной. Онъ перемънилъ даже ея имя-Матроны на Марію. Когда Матрона убъжала къ старому гетману, онъ, боясь соблазна и толковъ, переслаль ее въ родительскій домъ, гдв мать Матроны катовала (палачила, истязала, съкла) ее. Но это, какъ и естественно, только еще больше раздражало эпергію страсти бъдной дъвушки. Мазепа любилъ ее, писалъ къ ней страстныя письма, но въ отношении къ ней не принялъ никакого твердаго решенія-то умоляль о свиданіяхъ, то сов'єтоваль идти въ монастырь.

Какъ бы то ни было, по основаніе, сущность отношеній Мазепы и Марін въ поэмъ Пушкина историческія и еще болъе истинныя—поэтически,—и Пушкинъ умъль ими воспользоваться, какъ истинно великій поэть, хотя опъ ихъ н

идеализировалъ по своему.

Не только первый пухъ ланить, Да русы кудри молодые, Порой и старџа строгій видъ, Рубџы чела, власы съдые Въ воображенье красоты Влагаютъ страстныя мечты.

Подобное явление редко, но темъ не мене лъйствительно. Важность его заключается въ законахъ человъческаго духа, и потому по ръдкости его можно находить удивительнымъ, но нельзя находить неестественнымъ. Самая обыкновенная женщина видить въ мужчинъ своего защитника и покровителя; отдаваясь ему-сознательно или безсознательно, но во всякомъ случав она двлаеть обмвнъ красоты или прелести на силу и мужество. Послъ этого, очень естественно, если бывають женскія натуры, которыя, будучи исполнены страстей и эптузіазма до безумія увлекаются правственнымъ могуществомъ мужчины, украшеннымъ властью и славой, -- увлекаются имъ безъ соображенія неравенства лътъ. Для такой женщины самыя съдины прекрасны, и чъмъ круче нравъ старика, тъмъ за большее счастье и честь для себя считаеть она вліяніемь своей красоты и своей любви укрощать его порывы, дълать его ровиће и мягче. Само безобразіе этого старика—красота въ глазахъ ея. Вотъ почему кроткая, робкая Дездемона такъ беззавътно отдалась старому воину, суровому мавру-великому Отелло. Въ Марін Пушкина это еще понятиве: ибо Марія, при всей непосредственности и неразвитости ея сознанія, одарена характеромъ гордымъ, твердымъ, решительнымъ. Она была бы достойна слить свою судьбу не съ такимъ злодвемъ, какъ Мазепа, по съ героемъ въ истинномъ значени этого слова. И какъ бы ни велика была разница ихъ лътъ, —ихъ союзъ былъ бы самый естественный, самый разумный. Ошибка Маріи состояла въ томъ, что она въ душѣ, готовой на все злое для достиженія своихъ цѣлей, думала увидѣть дущу великую, дерзость безнравственности приняла за могущество героизма. Эта ошибка была ея несчастьемъ, но не виной: Марія, какъ женщина, велика въ этой ошибкѣ. На этомъ основаніи намъ понятна ея любовь, понятно—

Зачъмъ бъжала своенравно Она семейственныхъ оковъ, Томилась, тайно воздыхала и на привъты жениховъ Молчаньемъ гордымъ отвъчала; Зачемъ такъ тихо за столомъ Она лишь гетману винмала, Когда бесъда ликовала И чаша пънилась виномъ; Зачъмъ она всегда пъвала Тъ пъсни, кои опъ слагалъ, Когда онъ бъденъ былъ и малъ, Когда молва его не знала; Зачимъ съ не женскою душой Она любила копный строй, И бранный звонъ литавръ, и клики Предъ бунчукомъ и булавой Малороссійскаго владыки...

Нельзя довольно надивиться богатству и роскоши красокь, которыми изобразиль поэть страстную и грандіозную любовь этой женщины. Здёсь Пушкинь, какъ поэть, вознесся на высоту, доступную только художникамъ первой величины. Глубоко вонзиль онъ свой художническій взорь въ тайну великаго женскаго сердца и ввель насъ въ его святилище, чтобъ внёшнее сдёлать для насъ выраженіемъ внутренняго, въ фактё дёйствительности открыть общій законь, въ явленіи—мысль...

Марія, бѣдная Марія, Краса черкасскихъ дочерей! Не знаешь ты, какого змія Ласкаешь на груди своей! Какой же властью непонятной Къ душъ свиръпой и развратной Такъ сильно ты привлечена? Кому ты въ жертву отдана? Его кудрявыя съдины, Его глубокія морщины, Его блестящій, впалый взоръ, Его лукавый разговоръ Гебъ всего, всего дороже: Гы мать забыть для нихъ могла, Соблазномъ постланное ложе Ты отчей свии предпочла! Своими чудными очами Тебя старикъ заворожилъ; Своими тихими ръчами Въ тебъ онъ совъсть усыпилъ; Ты на него съ благоговъньемъ Возводишь ослъпленный взоръ, Его лелфешь съ умиленьемъ-Тебъ пріятень твой позоръ; Ты имъ въ безумномъ упоеньи, Какъ цъломудріемъ, горда-Ты прелесть нъжную стыда Въ своемъ утратила паденьи... Что стыдъ Маріи? Что молва? Что для нея мірскія пени, Когда склоняется въ колфин Къ-ней старца гордая глава, Когда съ ней гетманъ забываетъ Судьбы своей и трудъ, и шумъ, Иль тайны смълыхъ, грозныхъ думъ Ей, двв робкой, открываеть?

Но въ такой великой натуръ любовь можеть быть только преобладающей страстью, которая

въ выборт не допускаетъ никакого совмъстничества, даже никакого колебанія, но которая не заглушаетъ въ душт другихъ правственныхъ привязанностей. И потому блаженство любви не отнимаетъ въ сердцт Марін мъста для грустнаго и тревожнаго воспоминанія объ отцт и матери.

И дней невинныхъ ей не жаль,
И душу ей одна печаль
Порой, какъ туча, затмеваетъ:
Она унылыхъ предъ собой
Отџа и мать воображаетъ;
Она сквозь слезы видить ихъ
Въ бездътной старости однихъ,
И, минтея, пенямъ ихъ винмаетъ...
О, если-бъ въдала она,
Что ужъ узнала вся Украйна!
Но отъ нея сохранена
Еще убійственная тайна.

Намъ скажутъ, что въ дѣйствительности это было не такъ, ибо Матрона ненавидѣла своихъ родителей и клялась вѣчно «любыты и сердечно кохаты Мазепу на злость ея ворогамъ». Но вѣдъвъ дѣйствительности-то родители Матроны камовали ее... Понятно, почему Пушкинъ рѣшился поэтически отступить отъ «такой» дѣйствительности...

Но ингдъ личность Маріи не возвышается въ поэмъ Пушкина до такой апоесозы, какъ въ сценъ ел объясненія въ Мазеной,—сценъ, написанной истинно Шекспировской кистью. Когда Мазена, чтобъ разсъять ревинвыя подозрънія Маріи, принужденъ былъ открыть ей свои дерзкіе замыслы, она все забываетъ: нѣтъ больше сомнѣній, нѣтъ безпокойства; мало того, что она въритъ ему, въритъ, что онъ не обманывается ваеть ее: она въритъ, что онъ не обманывается

и въ своихъ надеждахъ... Ея ли женскому уму, воспитанному въ затворничествъ, обреченному на отчуждение отъ дъйствительной жизни, ей ли знать, какъ опасны такия стремления, и чъмъ оканчиваются они! Она знаетъ одно, въритъ одному,—что онъ, ея возлюбленный, такъ могущъ, что не можетъ не достичь всего, чего бы только захотълъ. Блескъ короны на съдыхъ кудряхъ любовника уже ослъпилъ ея очи,—и она восклицаетъ съ увъренностью дитяти, сильнаго и разумнаго одной любовью, но не знаніемъ жизни:

О, милый мой, Ты будешь царь земли родной! Твоимъ съдинамъ какъ пристанетъ Корона царская!

Вникните во всю эту сцену, разберите въ ней всякую подробность, взвъсьте каждое слово: какая глубина, какая истина и вмъстъ съ тъмъ какая простота! Этотъ отвътъ Марін: «Я! люблю ли?», это желаніе уклониться отъ отвъта на вопросъ, уже ръшенный ея сердцемъ, но все еще страшный для нея—кто ей дороже: любовникъ или отецъ, и кого изъ нихъ принесла бы она въ жертву для спасенія другого, —и потомъ, ръщительный отвътъ, при видъ гнъва любовника... какъ все это драматически, и сколько тутъ знанія женскаго сердца.

Явленіе сумасшедшей Маріи, неумъстное въ ходъ поэмы и даже мелодраматическое, какъ средство испугать совъсть Мазепы, превосходно, какъ дополненіе портрета этой женщины. Послъднія слова ея безумной ръчи исполнены столько же трагическаго ужаса, сколько и глу-

бокаго психологическаго смысла:

Пойдемъ домой. Скоръй... ужъ поздно. Ахъ, вижу, голова моя Полна волненія пустого: Я принимала за другого Тебя, старикъ. Оставь меня. Твой взоръ насм'вшливъ и ужасенъ, Ты безобразенъ. Онъ прекрасенъ: Въ его глазахъ блеститъ любовь, Въ его ръчахъ такая нъга! Его усы бълъе снъга, А на твоихъ засохла кровь.

Творческая кисть Пушкина нарисовала намъ не одинъ женскій портреть, но ничего лучше не создала она лица Маріи. Что передъ ней эта препрославленная и столько восхищавшая всъхъ и теперь еще многихъ восхищающая Татьяна—это смъшеніе деревенской мечтательности съ городскимъ благоразуміемъ?..

Но «Полтава» принадлежить къ числу превосходнъйшихъ твореній Пушкина не по одному лицу Маріи. Лишенная единства и мысли плана, а потому недостаточная и слабая въ цъломъ, поэма эта есть великое произведение по ея частностямь. Она заключаеть въ себъ нъсколько поэмъ, и потому самому не составляеть одной поэмы. Богатство ея содержанія не могло высказаться въ одномъ сочинении, н она распалась отъ тяжести этого богатства. Третья пъснь ея сама по себъ есть пъчто особенное, отдъльная поэма въ эпическомъ родъ. Но изъ нея нельзя было сдълать эпической поэмы: если бы поэть и даль бы общирнъйшій объемъ, она и тогда осталась бы рядомъ превосходивнинихъ картинъ, но не поэмой. Чувствуя это, поэть хотъль связать ее съ исторіей любви, имъющей драматический интересь, но эта связь не могла не выйти чисто внашней. И вся эта разрозненность выразилась въ эпилогъ, въ которомъ поэтъ товоритъ сперва о гордыхъ и сильныхъ людяхъ того въка, потомъ о Петръ

Великомъ, далѣе-о Карлѣ XII, о Мазепъ, о Кочубев съ Искрой, и оканчиваеть все это Маріей... Несмотря на то, «Полтава» была великимъ шагомъ впередъ со стороны Пушкина. Какъ архитектурное зданіе, она не поражаеть общимъ впечатлениемъ, нетъ въ ней никакого преобладающаго элемента, къ которому бы всв другіе относились гармонически; но каждая часть въ отдъльности есть превосходное художественное произведение. И никогда еще до того времени нашъ поэтъ не употреблялъ такихъ драгоцънныхъ матеріаловъ на свои зданія, никогда не отдълываль ихъ съ большимъ художественнымъ совершенствомъ. Сколько простоты и энергін въ его стихѣ! Какая живая соотвътственность между содержаниемъ и колоритомъ языка, которымъ оно передано! Есть что-то оригинальное, самобытное, чисто русское въ топъ разсказа, въ духъ и оборотъ выраженій! И между тімь, какь дурно была принята эта поэма! Одинъ критикъ, желая высказать посильное свое остроуміе, назвалт. палача бълоручкой, а всю картину казин-отвратительной! Воть уже подлинно бълоручка! Другой посмъялся, какъ надъ нелъностью, надъ любовью старика Мазены къ молодой дъвушкъ и находилъ оправдание этого факта развъ только въ русской пословицъ: съдина въ бороду, а бъсъ въ ребро. Третій доказываль, что всв действующія лица «Полтавы карикатурны на основанін отзывовъ Мазены о Карль XII и Петръ Великомъ!.. И все это тогда читалось; многіе даже върили дъльности такихъ отзывовъ!..

Теперь намъ слъдовало бы говорить о «Евгенін Онъгинъ», но статья наша и такъ вышла велика, а «Евгеній Онъгинъ», кромъ своего огромнаго объема, имъеть въ русской литературъ и въ русской жизии столь важное значеніе, что

о немъ надо или говорить много, или совсѣмъ не говорить. И потому мы отлагаемъ его разборъ до слѣдующей статьи, а эту кончимъ бѣг-

лымъ взглядомъ на «Графа Нулина».

«Графъ Нулинъ»—не болъе, какъ легкій сатирическій очеркъ одной стороны нашего общества, по очеркъ, сдъланный рукой въ высшей степени художественной. Сказкой «Модная жена» Дмитріевъ нѣкогда чуть не стяжалъ вѣнка безсмертія. Сказка его дъйствительно прекрасна: ее и теперь нельзя читать безъ удовольствія; но въики безсмертія въ наше время очень вздорожали,-и хотя «Графъ Нулинъ» безконечно выше и лучше «Модной жены» Дмитріева. однако не имъ будеть безсмертенъ Пушкинъ: для «Графа Нулина» достаточно чести быть не больше, какъ листикомъ въ лавровомъ вѣнкѣ его. Въ лицъ графа Нулина поэтъ съ неподражаемымъ мастерствомъ изобразилъ одного изъ тыхь пустыхь людей высшаго свытскаго круга, которые такъ обыкновенны въ жизни. Наталья Павловна—типъ молодой помъщицы новыхъ временъ, которая воспитывалась въ пансіонъ, въ дълъ моды не отстаетъ отъ въка, хотя живеть въ глуши, о хозяйствъ не имъеть никакого понятія, читаеть чувствительные романы и зъваеть въ обществъ своего мужа-истиннаго типа степного медвъдя и псаря. Въ этой повъсти все такъ и дышить русской природой, съренькими красками русскаго деревенскаго быта. Здёсь цёлый рядъ картинъ въ фламандскомъ вкусъ, и ни одна изъ нихъ не уступить въ достоинствъ любому изъ тъхъ произведеній фламандской живописи, которыя такъ высоко цънятся знатоками. Что составляетъ главное достоинство фламандской школы, если не умънье представлять прозу дъйствительности подъ поэтическимъ угломъ вренія? Въ этомъ смыслъ «Графъ Нулинъ» есть цълая галлерея превосходнъйшихъ картинъ фламандской школы. И если мы сказали, что не «Графомъ Нулинымъ» будетъ безсмертенъ Пушкинъ, это не значитъ, чтобъ мы на поэму его смотръли, какъ на легонькое литературное произведеньице, какъ на остроумную шутку; нътъ это значитъ только, что у Пушкина слишкомъ много гораздо большихъ правъ на безсмертіе, чъмъ «Графъ Нулинъ», и что эта поэмка, которая могла бы составить главный капиталъ извъстности для иного поэта, у Пушкина есть только роскошь, избытокъ, который тратится безъ вниманія и безъ сожальнія.

Нельзя не подивиться легкости, съ какой поэть схватываеть въ «Графѣ Нулинѣ» самыя характеристическія черты русской жизни. Воть напримѣръ портретъ Параши, горничной Натальи Павловны:

. . . Параша эта Наперсница ея затъй: Шьетъ, моетъ, въсти переноситъ, Изношенныхъ капотовъ проситъ, Порою барина смъщитъ, Порой на барина кричитъ. И лжетъ предъ барыней отважно.

Да, это типъ всъхъ русскихъ горничныхъ, которыя служать барынямъ новаго, т. е. пан-

сіонскаго, образованія!

Говорить ли, что вся поэма исполнена ума, остроумія, легкости, граціи, тонкой ироніи, благороднаго тона, знанія дѣйствительности, написана стихами въ высшей степени превосходными? Пушкинъ иначе и не умѣлъ писать,—а «Графъ Нулинъ» есть одно изъ удачнѣйшихъ его произведеній.

Эта поэма въ первый разъ была напечатана въ «Сѣверныхъ Цвѣтахъ» 1828 года, а отдѣльно

вышла въ 1829 году. Тогда-то опрокинулась на нее со всъмъ остервенъніемъ педантическая критика. Главной виной поставлено было «Графу Нулину» пустота будто-бы его содержанія. По убъжденію этой критики, поэзія должна заниматься только важными предметами, каковые обрътаются въ одахъ Ломоносова, его «Петріадь», одахъ Петрова и стопудовыхъ пінмахъ Хераскова. Ей, этой неотесанной критикъ н въ голову не входило, что все это высокопарное и торжественное пъснопъніе, взятое массой, далеко не стоить одной страницы изъ «Графа Нулина». Потомъ поставлена была въ великое преступленіе «Графу Нулину» неприличная вольность его содержанія и изложенія будто бы оскорбляющая хорошій тонъ свътскаго общества. Бъдная критика! она любезности училась въ дъвичьихъ, а хорошаго тона набиралась въ прихожихъ: удивительно ли, что «Графъ Нулинъ» такъ жестоко оскорбилъ ея тонкое чувство приличія? Бъдная критика! она и до сихъ поръ добродушно убъждена въ своемъ знаніи большого світа и нещадно преслѣдуеть «Мертвыя души» за нарушеніе условій хорошаго тона, —а большой св'єть, неблагодарный, до сихъ поръ не хочеть и подозръвать существованія ея, бъдной критики, и съ такимъ же наслажденіемъ прочелъ «Мертвыя души», съ какимъ нъкогда читалъ «Графа Нулина», не видя ни въ томъ, ни въ другомъ произведении ничего противнаго и оскорбительнаго тому, что называеть онъ «хорошимъ тономъ» и «приличіемъ».

VIII.

«Евгеній Онѣгинъ».

Признаемся: не безъ нъкоторой робости приступаемъ мы къ критическому разсмотрѣнію такой поэмы, какъ «Евгеній Онъгинъ». И эта робость оправдывается многими причинами. «Онфгинъ» есть самое задушевное произведеніе Пушкина, самое любимое дитя его фантазіи, н можно указать слишкомъ на немногія творенія, въ которыхъ личность поэта отразилась бы съ такой полнотой, свътло и ясно, какъ отразилась въ «Онъгинъ» личность Пушкина. Здесь вся жизнь, вся душа, вся любовь его; здъсь его чувства, понятія, идеалы. Оцънить такое произведение, значить-оцвинть самого поэта во всемъ объемъ его творческой дъятельности. Не говоря уже объ эстетическомъ достоинствъ «Онъгина«, эта поэма имъетъ для насъ, русскихъ, огромное историческое и общественное значеніе, Съ этой точки зрѣнія даже и то, что теперь критика могла бы съ основательностью назвать въ «Онъгинъ» слабымъ или устарълымъ, -- даже и то является исполненнымъ глубокаго значенія; великаго интереса. II насъ приводить въ затруднение не одно только сознаніе слабости нашихъ силъ для върной оцънки такого произведенія, но и необходи-

мость въ одно и то же время во многихъ мѣстахъ «Онъгина» съ одной стороны видъть недостатки, съ другой-достоинства. Большинство нашей публики еще не стало выше этой отвлеченной и односторонней критики, которая признаеть въ произведеніяхъ искусства только безусловные недостатки или безусловныя достоинства, и которая не понимаеть; что условное и относительное составляють форму безусловнаго, воть почему некоторые критики добродушно были убъждены, что мы не уважаемъ Державина, находя въ немъ великій таланть и въ то же самое время не находя между произведеніями его ни одного, которое было бы вполиъ художественно и могло бы вполнъ удовлетворить требованіямь эстетическаго вкуса нашего времени. Но въ отношеніи къ «Онъгину» наши сужденія могуть показаться многимь еще болъе противоръчащими, потому что «Онъгинъ» со стороны формы есть произведение въ высшей степени художественное, а со стороны содержанія самые его недостатки составляють его величайшіл достоинства. Вся наша статья объ «Онъгинъ» будеть развитіемъ этой мысли, какой бы ни показалась она съ перваго взгляда многимъ изъ нашихъ читателей.

Прежде всего въ «Онѣгинѣ» мы видимъ поэтически воспроизведенную картину русскаго общества, взятаго въ одномъ изъ интереснѣйшихъ моментовъ его развитія. Съ этой точки зрѣнія «Евгеній Онѣгинъ« есть поэма историческая въ полномъ смыслѣ слова, хотя въ числѣ ея героевъ иѣтъ ни одного историческаго лица. Историческое достоинство этой поэмы тѣмъ выше, что она была на Руси и первымъ, и блистательнымъ опытомъ въ этомъ родѣ. Въ ней Пушкинъ является не просто поэтомъ только, по и представителемъ впервые пробудившагося общественнаго самосознанія: заслуга безмѣр-

ная! До Пушкина русская поэзія была не бол'ве какъ поиятливой и переимчивой ученицей европейской музы, —и потому всв произведенія русской поэзіи до Пушкина какъ-то походили больше на этюды и копіи, нежели на свободныя произведенія самобытнаго вдохновенія. Самъ Крыловъ--этотъ таланть, столько же сильный и яркій, сколько и національно-русскій, долго не имълъ смълости отказаться оть незавидной чести быть то переводчикомъ, то подражателемъ Лафонтена. Въ поэзін Державина ярко проблескивають и русская ръчь, и русскій умъ, но не больше, какъ проблескивають, потопляемые водой риторически-поиятыхъ иноземныхъ формъ и понятій. Озеровъ написалъ русскую трагедію, даже историческую—«Дмитрія Допского», но въ ней русскаго и историческаго одни имена: все остальное столько же русское и историческое, сколько французское или татарское. Жуковскій написаль двъ русскія баллады—«Людмилу» и «Свътлану»; но первая изъ нихъ есть передълка нъмецкой (и притомъ довольно дюжинной) баллады, а другая, отличаясь дъйствительно поэтическими картинами русскихъ святочныхъ обычаевъ и зимпей русской природы, въ то же время вся проникнута нъмецкой сентиментальностью и нъмецкимъ фантазмомъ. Муза Батюшкова, въчно скитаясь подъ чужими небесами, не сорвала ни одного цвътка на русской почвъ. Всъхъ этихъ фактовъ было достаточно для заключенія, что въ русской жизни нътъ и не можеть быть никакой поэзіи, и что русскіе поэты должны за вдохновеніемъ скакать на петасв въ чужіе края, даже на востокъ, не только на западъ: Но съ Пушкинымъ русская поэзія изъ робкой ученицы явилась даровитымъ и опытнымъ мастеромь. Разумъется, это сдълалось не вдругъ, нотому что вдругь ничего не дълается. Въ по-

эмахъ: «Русланъ и Людмила» и «Братья-Разбойники» Пушкинъ былъ не больше, какъ ученикомъ, подобно своимъ предшественникамъ,-но не въ поэзін только, какъ они, а еще и въ попыткахъ на поэтическое изображение русской дъйствительности. Этимъ ученичествомъ и объясняется, почему въ «Русланв и Людмилв» такъ мало русскаго и такъ много итальянскаго, а «Разбойники» такъ похожи на шумливую мелодраму. Есть у Пушкина русская баллада «Женихъ», написанная имъ въ 1825 году, въ которомъ появилась и первая глава «Онъгина». Эта баллада и со стороны формы, и со стороны содержанія насквозь проникнута русскимъ духомъ, и о ней въ тысячу разъ больше, чъмъ о «Русланъ и Людмилъ», можно сказать:

Здесь русскій духь, здесь Русью пахнеть.

Такъ какъ эта баллада и тогда не обратила на себя особеннаго вниманія, а теперь почти всъми забыта, мы выпишемъ изъ нея сцену сватовства.

На утро сваха къ нимъ на дворъ Нежданная приходить; Наташу хвалить, разговоръ Съ отцомъ ея заводить: «У васъ товаръ, у насъ купенъ, Собою парень молодецъ И статной, и проворной, Не вздорной, не зазорной. «Вогать, умень, ни передь къмъ Не кланяется въ поясъ, А какъ бояринъ между тъмъ Живетъ, не безпокоясь; А подарить невъстъ вдругъ И лисью шубу, и жемчугь, И перстии золотые, И платья парчевыя.

«Катаясь, видъль онъ вчера Ее за воротами; Не по рукамъ ли, да съ двора, Да въ џерковь съ образами?» Она сидитъ за пирогомъ Да ръчь ведетъ обинякомъ, А бъдная невъста Себъ не видитъ мъста. «Согласенъ, говоритъ отепъ.

«Согласенъ, говорить отеџъ, Ступай благополучно, Моя Наташа, подъ вѣнеџъ: Одной въ свѣтелкѣ скучно. Не вѣкъ дѣвнџей вѣковать, Не все касаткѣ распѣвать, Пора гнѣздо устроить, Чтобъ дѣтушекъ покоить».

И такова вся эта баллада отъ перваго до послъдняго слова! Въ народныхъ русскихъ пъсняхъ, вмъстъ взятыхъ, не больше русской народности, сколько заключено ея въ этой балладъ! Но не въ такихъ произведеніяхъ должно видъть образцы проинкнутыхъ національнымъ духомъ поэтическихъ созданій, — и публика не безъ основанія не обратила особеннаго вниманія на эту чудную балладу. Міръ, такъ върно и ярко изображенный въ ней, слишкомъ доступень для всякаго таланта уже по слишкомъ ръзкой его особенности. Сверхъ того онъ такъ твсень, мелокь и немногосложень, что истинный таланть не долго будеть воспроизводить его, если не захочеть, чтобъ его произведенія были односторонни, однообразны, скучны и наконецъ пошлы, несмотря на всъ ихъ достоинства. Воть почему человѣкъ съ талантомъ дълаеть обыкновенно не болфе одной или много двухъ попытокъ въ такомъ родъ; для него этодъло между прочимъ, затъянное больше изъ желанія непытать свои силы и на этомъ поприщъ,

нежели изъ собственнаго уваженія къ этому поприщу. Лермонтова «Пъсня про Царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», не превосходя Пушкинскаго «Жениха» со стороны формы, слишкомъ много превосходить его со стороны содержанія. Это-поэма, въ сравнении съ которой ничтожны всъ богатырскія народно-русскія поэмы, собранныя Киршей Даниловымъ. И между темъ «Пъсня» Лермонтова была не болъе, какъ опыть таланта, проба пера, и очевидно, что Лермонтовъ никогда ничего больше не написаль бы въ этомъ родъ. Въ этой пъснъ Лермонтовъ взялъ все, что только могъ ему представить сборникъ Кирши Данилова, и новая попытка въ этомъ родъ была бы по необходимости повтореніемъ одного и того же-старыя погудки на новый ладъ. Чувства и страсти людей этого міра такъ однообразны въ своемъ проявленіи; общественныя отношенія людей этого міра такъ просты и несложны, что все это легко исчернывается до дна однимъ произведеніемъ сильнаго таланта. Разнообразіе страстей, тонкіе до безконечности оттънки чувствъ, безчисленно многосложныя отношенія людей, общественныя и частныя, воть гдв богатая почва для цвътовъ поэзіи, и эту почву можеть приготовить только сильно развивающаяся или развивавшаяся цивилизація. Произведенія въ родѣ «Jeanne» Жоржъ-Занда возможны только во Франціи, потому что тамъ цивилизація, въ многосложности ея элементовъ, всъ сословія поставила въ тъсное и электрически взаимнодъйствующее отношение другь къ другу. Наша поэзія, напротивъ, должна искать для себя матеріаловъ почти нсключительно въ томъ классъ, который по своему образу жизни и обычаямъ представляеть болье развитія и умственнаго движенія.

И если національность составляеть одно изъ высочайшихъ достоинствъ поэтическихъ произведеній, то безъ сомнѣнія истинно-національныхъ произведеній должно искать у насъ только между такими поэтическими созданіями, которыхъ содержаніе взято изъ жизни сословія, создавшагося по реформъ Петра Великаго и усвоившаго себъ формы образованнаго быта. Но большинство публики до сихъ поръ понимаетъ это дъло иначе. Назовите народнымъ или національнымъ произведеніемъ «Руслана и Людмилу», —и съ вами всъ согласятся, что это дъйствительно народное и національное произведеніе. Еще болъе будуть согласны съ вами, если вы назовете народнымъ произведеніемъ всякую пьесу, въ которой дъйствують мужики и бабы, бородатые купцы и мъщане, или въ которомъ дъйствующія лица пересыпають свой незатьйливый разговорь русскими пословицами и поговорками и, вдобавокъ пропускають между ними риторическія, на семинарскій манеръ, фразы о народности и т. п. Люди, болъе умные и образованные охотно (и притомъ весьма основательно) видять народную русскую поэзію въ басняхъ Крылова, и даже готовы видъть ее (что уже не такъ основательно) не только въ сказкахъ Пушкина («О царъ Салтанъ» и «О мертвой царевнъ»), но и (что уже вовсе неосновательно) въ сказкахъ Жуковскаго («О царъ Берендеъ до колъпъ борода» и «О спящей царевиъ»). Но немногіе согласятся съ вами и для многихъ покажется страннымъ, если вы скажете, что первая истинно національно-русская поэма въ стихахъ была и есть «Евгеній Онѣгинъ» Пушкина, и что въ ней народности больше, нежели въ какомъ угодно другомъ народномъ русскомъ сочинении. А между тъмъ это такая же истина, какъ и то, что дважды два-че-

тыре. Если ее не всв признають національной-это потому, что у насъ издавна укоренилось престранное мнжніе, будто бы русскій во фракъ, или русская въ корсетъ-уже не русскіе, и что русскій духъ даеть себя чувствовать только тамъ, гдв есть зипунъ, лапти, сивуха и кислая капуста. Въ этомъ случат у насъ многіе даже и между такъ называемыми образованными людьми безсознательно подражають русскому простонародью, которое всякаго чужестранца изъ Европы называютъ «нъмцемъ». И вотъ гдъ источникъ пустой боязни нъкоторыхъ, чтобъ мы всъ не онъмечились! Всв европейскіе народы развивались какъ одинъ народъ, сперва подъ свнью католическаго единства, духовнаго (въ лицъ папы) и свътскаго (въ лицъ избраннаго главы священной Римской имперіи), а потомъ подъ вліяніемъ однихъ и тахъ же стремленій къ последнимъ результатамъ цивилизаціи, однако, тъмъ не менъе между французомъ, нъмцемъ, англичаниномъ, итальянцемъ, шведомъ, японцемъ, такая же существенная разница, какъ и между русскимъ и индійцемъ. струны одного и того же инструмента-духа человъческаго, но струны разнаго объема, каждая съ своимъ особеннымъ звукомъ, и потому-то онъ издають полные гармоническіе аккорды. Если же народы Западной Европы, всв равно происходящіе отъ великаго тевтонскаго племени, большей частью смъщавшагося съ романскими племенами, всв равно развившіеся на почвъ одной и той же религіи, подъ вліяніемъ однихъ и такъ же обычаевъ, одного и того же общественнаго устройства, и потомъ всъ равно воспользовавшіеся богатымь наслъдіемъ древне-классическаго міра, если, говоримъ, всв народы Западной Европы, составляющіе собой единое семейство тамъ не

менъе ръзко отличаются одинъ отъ другого. то естественное ли дъло, чтобъ русскій народъ, возникшій на другой почві, подъ другимъ небомъ, имъвшій свою исторію, ни въ чемъ не похожую на исторію ни одного западно-европейскаго народа, естественно ли, чтобъ русскій народъ, усвоивъ себъ одежду и обычан европейскіе, могь утратить срою національную самобытность и походить, какъ двъ капли воды на каждаго изъ европейскихъ народовъ, нзъ которыхъ каждый другъ отъ друга рѣзко отличается и физической, и нравственной физіономіей?.. Ца это нельпость нельпостей! Хуже этого ничего нельзя выдумать! Первая причина особенности племени или народа заключается въ почвъ и климатъ занимаемой имъ страны; а много ли на земномъ шаръ странъ одинаковыхъ въ геологическомъ и климатологическомъ отношеніяхъ? И потому, чтобъ напоръ европейскихъ обычаевъ и идей могь лишить русскихъ ихъ національности, для этого нужно прежде всего ровный, степной материкъ Россіи превратить въ гористый; безконечное его пространство сдълать меньшимъ по крайней мъръ въ десять разъ (за исключеніемъ Сибири). И много кромѣ того нужно бы сдълать такого, чего нельзя сдълать, и о чемъ фантазировать на досугъ прилично только господамъ Маниловымъ. Цалъе: бъдна та народность, которая трепещеть за самостоятельность при всякомъ соприкосновеній съ другой народностью! Наши самозванные патріоты не видять, въ простоть ума и сердца своего, что, безпрестанно боясь за русскую національность, они темъ самымъ жестоко оскорбляють ее. Но когда сдълалось всегда побъдоноснымъ русское войско, если не тогда, какъ Петръ Великій одъль его въ европейское платье и пріучиль его сообраз-

ной съ этимъ платьемъ военной дисциплинъ? Какъ-то естественно видъть толпу крестьянъ, дурно вооруженныхъ, еще хуже дисциплинированныхъ, по случаю войны недавно оторванныхъ отъ избы и сохи, -- какъ-то естественно видъть ихъ бъгущими въ безпорядкъ съ поля битвы; точно такъ же, какъ естественно видъть полки солдать, даже и при боевой неудачъ, или храбро умирающими на полъ битвы, или отступающими въ грозномъ порядкъ. Нъкоторые изъ горячихъ славянолюбовъ говорять: «Посмотрите на нъмца, -- онъ вездъ нъмецъ, и въ Россіи, и во Франціи, и въ Индіи; французъ тоже вездъ французъ, куда бы ни занесла его судьба; а русскій въ Англіиангличанинъ, во Франціи-французъ, въ Гер-Дъйствительно, въ этомъ манін---нѣмецъ». есть своя сторона истины, которой нельзя оспаривать, но которая служить не къ униженію, а къ чести русскихъ. Это свойство удачно примъняться ко всякому народу, ко всякой странъ отнюдь не есть исключительное свойство только образованныхъ сословій въ Россіи, но свойство всего русскаго племени, всей съверной Руси. Этимъ свойствомъ русскій человѣкъ отличается и отъ всѣхъ другихъ славянскихъ племенъ, и можетъ быть ему-то и обязань онь своимь превосходствомъ надъ ними. Извъстно, что наши русскіе солдаты—удивительные природные философы и политики, и нигдъ ничему не удивляются, но все находять очень естественнымь, какъ бы это все ни было противоположно ихъ понятіямъ и привычкамъ. Чтобъ слишкомъ не распространяться объ этомъ предметъ, ссылаемся, для краткости, на зам'вчаніе Лермонтова объ удивительной способности русскаго человъка примъняться къ обычаямъ тъхъ народовъ, среди которыхъ ему приходится жить.

«Не знаю (говорить авторъ «Героя нашего времени»), достойно порицанія или похвалы это свойство ума, только оно доказываеть неимовърную его гибкость и присутствіе этого яснаго здраваго смысла, который прощаеть зло вездъ, гдъ видить его необходимость или невозможность его уничтоженія». Здісь діло идеть о Кавказъ, а не о Европъ: но русскій человъкъ-вездъ тоть же. Угловатый нъмецъ, тяжеловато-гордый Джонъ-Буль уже самыми ихъ ухватками и манерами никогда и нигдъ не скроють своего происхожденія; а послъ француза только русскій можеть по наружности казаться просто человъкомъ, не нося на своемъ лбу національнаго клейма или паспорта. Но изъ этого отнюдь не слъдуеть, чтобъ русскій, ум'я въ Англіи походить на англичанина, а во Франціи—на француза, хоть на минуту пересталь быть русскимь или хоть на минуту, не шутя, могь сдълаться англичаниномъ или французомъ. Хорошую форму почему не усвоить себт, но отъ сущности своей отръшиться совсъмъ не такъ легко, какъ промънять охабень на фракъ. Между русскими есть много галломановь, англомановь, гермономановъ и разныхъ другихъ «мановъ». Посмотришь на нихъ: точно такъ-съ которой стороны ни зайди-англичанинь, французь, нъмецъ, да и только. Если англоманъ, да еще богатый, то и лошади у него англизированныя, и жокеи, и грумы, словно сейчась изъ Лондона привезенные, и паркъ въ англійскомъ вкусъ, и портеръ онъ пьетъ исправно, любить ростбифь и пуддингь, на комфортъ помъщань, и даже боксируеть не хуже любого англійскаго кучера. Если галломань одъть какъ модная картинка, по-французски говорить не хуже парижанина, на все смотрить сь равнодушнымъ презръніемъ, при случав

почитаеть долгомь быть и любезнымь и остроумнымъ. Если германоманъ-больше всего любить искусство, какъ искусство, науку, какъ науку, романтизируеть, презираеть толпу, не хочеть внашняго счастья и выше всего ставить созерцательное блаженство своего внутренняго міра... Но пошлите всіхъ этихъ господъ пожить—англомановъ въ Англію, галломановъ во Францію, германомановъ въ Германію, да и посмотрите, такъ ли охотно, какъ вы, поспъшать англичане, французы и нъмцы признать своими соотечественниками нашихъ англомановъ, галломановъ и гермономановъ... Нъть, не попадуть они въ соотечественники этимъ народамъ, а только развъ прослывутъ между ними притчею во языцахъ, сдалаются предметомъ всеобщаго оскорбительнаго вниманія и удивленія. Это потому, повторяемь, что усвоить чуждую форму совсымь не то, что отръшиться оть собственной сущности. Русскій за границей легко можеть быть принять за уроженца страны, въ которой онъ временно живеть, потому что на улицъ, въ трактиръ, на балу, въ дилижансъ, о человъкъ заключають по его виду; но въ отношеніяхъ гражданскихъ, семейныхъ, но въ положеніяхъ жизни исключительныхъ-другое дъло: тутъ національпоневолъ обнаружится всякая ность, и каждый поневолъ явится сыномъ своей и пасынкомъ чужой земли. Съ этой точки зренія русскому гораздо легче прослыть за англичанина въ Россіи, нежели въ Англіи. Но въ отношеніи къ отдівльным личностямъ еще могуть быть странныя исключенія: въ отношеніи же къ народамъ-никогда. Доказательствомъ могуть служить тъ славянскія племена, которыхъ историческія судьбы были тесно связаны съ судьбами Западной Европы: Чехія отовсюду окружена

теченіе цѣлыхъ столѣтій были нѣмцы; развилась она вмѣстѣ съ ними на почвѣ католицизма, и упредила ихъ, и словомъ, и дѣломъ религіознаго обновленія—и что же?—Чехи до сихъ поръ славяне, до сихъ поръ—не только не германцы, но и не совсѣмъ европейцы...

Все сказанное нами было необходимымъ отступленіемъ для опроверженія неосновательнаго мивнія, будто-бы въ двлв литературы чисто русскую народность должно искать только въ сочиненіяхъ, которыхъ содержаніе заимствовано изъ жизни низшихъ и необразованныхъ классовъ. Вследствіе этого страннаго мнънія, оглашающаго «не русскимъ» все; что есть въ Россіи лучшаго и образованнъйшаго, вслъдствіе этого лапотно-сермяжнаго мивнія какой-нибудь грубый фарсъ съ мужиками и бабами есть національно-русское произведеніе, а «Горе оть ума» есть тоже русское, но только уже не національное произведеніе; какой-пибудь площадной романь, въ родъ «Разгулья купеческихъ сынковъ въ Марьиной рошѣ». есть хотя и плохое, однако тъмъ не менъе національно-русское произведеніе, а «Герой нашего времени», хотя и превосходное, однако тъмъ не менъе русское; но не національное произведение... Нътъ; и тысячу разъ нътъ! Пора наконецъ вооружиться противъ этого мивнія всей силой здраваго смысла, всей энергіей неумолимой логики! Мы далеки уже оть того блаженнаго времени, когда псевдо-классическое направление нашей литературы допускало въ изящныя созданія только людей высшаго круга и образованныхъ сословій, и если иногда позволяло выводить въ поэмѣ, драмъ или эклогъ простолюдиновъ, то не иначе. какъ умытыхъ, причесанныхъ; разодътыхъ и

говорящихъ не своимъ языкомъ. Да, мы далеки отъ этого исевдо-классическаго времени; но пора уже отдалиться намъ и отъ этого псевдо-романтического направленія, которое, обрадовавшись слову «народность» и праву представлять въ поэмахъ и драмахъ не только честныхъ людей низшаго званія, но даже воровъ и плутовъ, вообразило, что истинная національность скрывается только подъ зипуномъ, въ курной избъ, и что разбитый на кулачномъ бою носъ пьянаго лакея есть истинно Шекспировская черта,—а главное, что между людьми образованными нельзя искать и признаковъ чего-нибудь похожаго на народность. Пора наконецъ догадаться, что, напротивъ, русскій поэть можеть себя показать истиннонаціональнымъ поэтомъ, только изображая въ своихъ произведеніяхъ жизнь образованныхъ сословій: ибо, чтобъ найти національные элементы въ жизни, наполовину прикрывшейся прежде чуждыми ей формами, для этого поэту нужно и имъть большой таланть, и быть національнымъ въ душъ. «Истинная національность (говорить Гоголь) состоить не въ описанін сарафана, но въ самомъ духф народа; поэтъ можеть быть даже и тогда націоналень, когда описываеть совершенно сторонній міръ, но глядить на него глазами своей національной стихіи, глазами всего народа, когда чувствуеть и говорить такъ, что соотечественникамъ его кажется, будто это чувствують и говорять они сами». Разгадать тайну народной психеи—для поэта значить умъть равно быть върнымъ дъйствительности при изображеніи и низшихъ, и среднихъ, и высшихъ сословій. Кто умфеть схватывать ръзкіе оттынки только грубой простонародной жизни, не умфя схватывать болфе тонкихъ и сложныхъ оттънковъ образованной жизни, — тотъ никогда не будетъ великимъ

поэтомъ, и еще менѣе имѣеть право на громкое титло національнаго поэта. Великій національный поэть равно умѣеть заставить говорить и барина, и мужика ихъ языкомъ. И если пронзведеніе, котораго содержаніе взято изъжизни образованныхъ сословій, не заслуживаеть названія національнаго,—значить, оно ничего не стоить и въ художественномъ отношеніи, потому что невѣрно духу изображаемой имъ дѣйствительности. Поэтому не только такія произведенія, какъ «Горе оть ума» и «Мертвыя Души», но и такія, какъ «Герой нашего времени», суть столько же національныя, сколько превосходныя поэтическія созданія.

И первымъ такимъ національно-художественнымъ произведеніемъ былъ «Евгеній Онъгинъ» Пушкина. Въ этой решимости молодого поэта представить нравственную физіономію наиболъе оевропенвшагося въ Россіи сословія нельзя не видъть доказательства, что онъ быль и глубоко сознавалъ себя національнымъ поэтомъ. Онъ понялъ, что время эпическихъ поэмъ давнымъ давно прошло, и что для изображенія современнаго общества, въ которомъ проза жизни такъ глубоко проникла самую поэзію жизни, пуженъ романъ, а не эпическая поэма. Онъ взяль эту жизнь, какъ она есть, не отвлекая отъ нея только однихъ поэтическихъ ея мгновеній; взяль ее со всемь холодомь, со всей ея прозой и пошлостью. И такая смелость была бы менъе удивительной, если-бы романъ затъянъ былъ въ прозъ: но писать подобный романъ въ стихахъ въ такое время, когда на русскомъ языкъ не было ни одного порядочнаго романа и въ прозъ — такая смълость, оправданная огромнымъ успѣхомъ, была несомивинымъ свидвтельствомъ геніальности поэта. Правда, на русскомъ языкъ было одно прекрасное (по своему времени) произведеніе,

въ родъ повъсти въ стихахъ: мы говоримъ о «Модной Женъ» Дмитріева; по между его и «Онъгинымъ» нътъ ничего общаго уже потому только, что «Модную Жену» такъ же легко счесть за вольный переводъ или передълку съ французскаго, какъ и за оригинально-русское произведеніе. Если изъ сочиненій Пушкина хоть одно можеть имъть что-нибудь общаго съ прекрасной и остроумной сказкой Дмитріева, такъ это, какъ мы уже и замътили въ послъдней статьъ, «Графъ Нулинъ»; но и тутъ сходство заключается совствить не въ поэтическомъ достоинствъ обоихъ произведеній. Форма романовъ въ родъ «Онъгина» создана Байрономъ; по крайней мфрф манера разсказа, смфсь прозы н поэзіи въ изображаемой дійствительности, отступленія, обращенія поэта къ самому себъ и особенно это слишкомъ ощутительное присутствіе лица поэта въ созданномъ имъ произведеніи, —все это есть д'єло Байрона. Конечно, усвоить чужую новую форму для собственнаго содержанія совству не то, что самому изобртсти ее, —тъмъ не менъе при сравнении «Онъгина» Пушкина съ «Донъ-Жуаномъ», «Чайльдъ-Гарольдомъ» и «Беппо» Байрона нельзя найти ничего общаго, кромъ формы и манеры. Не только содержаніе, но и духъ поэмъ Байрона уничтожаеть всякую возможность существеннаго сходства между ними и «Онъгинымъ» Пушкина. Байронъ писалъ о Европъ для Европы; этоть субъективный духъ, столь могучій и глубокій, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько къ изображению современнаго человъчества, сколько къ суду надъ его прошедшей и настоящей исторіей. Повторяемь, туть нечего нскать и тени какого-либо сходства. Пушкинъ писаль о Россіи для Россіп, —и мы видимъ признакъ его самобытнаго и геніальнаго таланта

въ томъ, что, върный своей натуръ, совершенно противоположной натурт Байрона, и своему художническому инстинкту, — онъ далекъ былъ оть того, чтобы соблазниться создать что-нибудь въ Байроновскомъ родъ, пиша русский романъ. Сдълай онъ это, —и толпа превознесла бы его выше звъздъ; слава мгновенная, но великая, была бы наградой за его ложный tour de force. Но, повторяемъ, Пушкинъ, какъ поэть, быль слишкомь великь для подобнаго шутовского подвига, столь обольстительнаго для обыкновенныхъ талантовъ. Онъ заботился не о томъ, чтобъ походить на Байрона, а о томъ, чтобъ быть самимъ собой и быть втриымъ той дъйствительности, до него еще непочатой и нетронутой, которая просилась подъ перо его. И зато его «Опъгинъ» высшей степени оригипальное и національно-русское произведеніе. Вмфстф съ современнымъ ему геніальнымъ твореніемъ Грибоъдова-«Горе отъ Ума» 1), стихотворный романъ Пушкина положилъ прочное основание новой русской поэзін, новой русской литературъ. До этихъ двухъ произведеній, какъ мы уже и замътили выше, русскіе поэты еще умъли быть поэтами, воспъвая чуждые русской дъйствительности предметы, и почти не умъли быть поэтами, принималсь за изображеніе міра русской жизни. Исключеніе остается только за Державинымъ, въ поэзіи котораго, какъ мы уже не разъ говорили, проблескиваютъ искорки элементовъ русской жизни; за Крыловымъ и наконецъ за Фонвизинымъ, который

^{1) «}Горе отъ Ума» было написано Грибовдовымъ въ бытность его въ Тифлисъ, до 1823 года, но написано вчерив. По возвращени въ Россію, въ 1823 году, Грибовдовъ подвергнулъ свою комедію значительнымъ исправленіямъ. Въ первый разь большой отрывокъ изъ нея былъ напечатанъ въ альманахъ «Талія», въ 1825 году. Первая глава «Онъгина» появилась въ печати въ 1825 году, когда въроятно у Пушкина было уже готово нъсколько главъ этой поэмы.

впрочемъ былъ въ своихъ комедіяхъ больше даровитымъ копистомъ русской действительности, нежели ея творческимъ воспроизводителемъ. Несмотря на всъ недостатки, довольно важные, комедіи Грибофдова, — она, какъ произведение сильнаго таланта, глубокаго и самостоятельнаго ума, была первой русской комедіей, въ которой нізть ничего подражательнаго, нъть ложныхъ мотивовъ и неестественныхъ красокъ, но въ которыхъ и целое, и подробности, и сюжеть, и характерь, и страсти, и дъйствія, и митнія, и языкъ-все насквозь проникнуто глубокой истиной русской дъйствительности. Что же касается до стиховъ, которыми написано «Горе оть Ума».—въ этомъ отношенін Грибовдовъ надолго убилъ всякую возможность русской комедін въ стихахъ. Нуженъ геніальный таланть, чтобы продолжать съ усифхомъ начатое Грибовдовымъ двло: мечъ Ахилла подъ силу только Аяксамъ, Одиссеямъ. То же можно сказать и въ отношеніи къ «Онъгину», хотя впрочемъ ему и обязаны своимъ появленіемъ нівкоторыя, далеко не равныя ему, но всетаки замъчательныя попытки, тогда какъ «Горе отъ ума» до сихъ поръ высится въ нашей литературъ геркулесовскими столбами, за которые никому еще не удалось заглянуть. Примъръ неслыханный: пьеса, которую вся грамотная Россія выучила наизусть еще въ рукописныхъ спискахъ, болве чвмъ за десять летъ до появленія ея въ печати! Стихи Грибовдова обратились въ пословицы и поговорки; комедія его сдълалась неисчерпаемымъ источникомъ примъненій на событія ежедневной жизни, неистощимымъ рудникомъ эпиграфовъ! II хотя никакъ нельзя доказать прямого вліянія со стороны языка и даже стиха басенъ Крылова на языкъ и стихъ комедін Грибовдова, однако нельзя и совершенно отвергать его: такъ въ

органически историческомъ развитіи литературы все сцепляется и связывается одно съ другимъ! Басни Хемницера и Дмитріева относятся къ баснямъ Крылова, какъ просто талантливыя произведенія относятся къ геніальнымъ произведеніямъ-но темъ не мене Крыловъ много обязанъ Хемницеру и Дмитріеву. Такъ и Грибовдовъ: онъ не учился у Крылова, не подражаль ему: онъ только воспользовался его завоеваніемъ, чтобъ самому итти дальше своимъ собственнымъ путемъ. Не будь Крылова въ русской литературъ, стихъ Грибоъдова не былъ бы такъ свободно, такъ вольно, развязно оригиналенъ, словомъ, не шагнулъ бы такъ страшно далеко. Но не этимъ только ограничивается подвигъ Грибовдова: вмвств съ «Онвгинымъ» Пушкина его «Горе отъ ума» было первымъ образцомъ поэтическаго изображенія русской дъйствительности въобщирномъзначении слова. Въ этомъ отношении оба эти произведения положили собой основание послъдующей литературъ, были школой, изъ которой вышли и Лермонтовъ, и Гоголь. Безъ «Онъгина» быль бы невозможенъ «Герой нашего времени», такъ же какъ безъ «Онъгина» и «Горе оть ума». Гоголь не почувствоваль бы себя готовымь на изображеніе русской дъйствительности, исполненной такой глубины и истины. Ложная манера нзображать русскую действительность, существовавшая до «Онъгина» и «Горя оть ума», еще и теперь не исчезла изъ русской литературы. Чтобъ убъдиться въ этомъ, стоитъ только обречь себя на смотръніе или на чтеніе новыхъ драматическихъ пьесъ, даваемыхъ на русскомъ театръ объихъ столицъ. Это не что иное, какъ искаженная французская жизнь, самовольно назвавшаяся русской жизнью, это-исковерканные французскіе характеры,прикрывшіеся русскими именами. На русскую повъсть Гоголь

имълъ сильное вліяніе, по комедіи его остались одинокими, какъ и «Горе отъ ума». Значить изображать върно свое родное, то, что у насъ передъ глазами, что насъ окружаетъ, чуть ли не труднъе, чъмъ изображать чужое. Причина этой трудности заключается въ томъ, что у насъ форму всегда принимають за сущность, а модный костюмь—за европеизмъ; другими словами-въ томъ, что народность смъшивають съ простонародностью и думають, что никто не принадлежить къ простонародію, то-есть, кто пьеть шампанское, а не пънникъ, и ходить во фракв, а не смуромъ кафтанъ,того должно изображать, то какъ француза, то какъ испанца, то какъ англичанина. Нъкоторые изъ нашихъ литераторовъ, имъя способность болъе или менъе върно списывать портреты, не имъють способности видъть въ настоящемъ ихъ свътъ тъ лица, съ которыхъ они пишуть портреты: мудрено ли, что въ ихъ портретахъ нътъ никакого сходства съ оригиналами, и что, читая ихъ романы, повъсти и драмы, невольно спрашиваешь себя:

Съ кого они портреты пишутъ? Гдѣ разговоры эти слышутъ? А если и случалось имъ, Такъ мы ихъ слышать не хотимъ.

Таланты этого рода—плохіе мыслители; фантазія у нихъ развита насчеть ума. Они не понимають, что тайна національности каждаго народа заключается не въ его одеждѣ и кухнѣ, а въ его, такъ сказать, манерѣ понимать вещи. Чтобъ вѣрно изображать какое-нибудь общество, надо сперва постигнуть его сущность; его особность,—а этого нельзя иначе сдѣлать, какъ узнать фактически и оцѣнить философски ту сумму правилъ, которыми держится общество.

У всякаго народа двъ философіи: одна ученая, книжная, торжественная и праздничная, другая-ежедневная, домашияя, обиходная. Часто объ эти философіи находятся болье или менье въ близкомъ соотношеніи другъ къ другу;и кто хочеть изображать общество, тому надо познакомиться съ объими, но послъдиною особенно необходимо изучить. Такъ точно, кто хочеть узнать какой-нибудь народь, тоть прежде всего долженъ изучить его-въ его семейномъ, домашнемъ быту. Кажется, что бы за важность могли нмъть два такія слова, какъ напримъръ, авось и живеть, а между тымь они очень важны и, не понимая ихъ важности, иногда нельзя понять иного романа, не только самому написать романъ. И вотъ глубокое знаніе этой-то обиходной философіи и сдълало «Онъгина» и «Горе оть ума» произведеніями оригинальными и чи-

сто-русскими. Содержаніе «Опъгина» такъ хорошо извъстно всъмъ и каждому, что нъть никакой надобности

всемь и каждому, что неть никакой надобности излагать его подробно. Но, чтобъ добраться до лежащей въ его основанін идеи, мы разскажемъ его въ этихъ немногихъ словахъ. Воспитанная въ деревенской глуши, молодая мечтательная дъвушка влюбляется въ молодого петербургскаго-говоря нынашинмъ языкомъ-льва, который, наскучивъ свътской жизнью, пріжхалъ скучать въ свою деревню. Она ръшается написать къ нему письмо, дышащее напвной страстью, онъ отвъчаеть ей на словахъ, что не можетъ ее любить, и что не считаеть себя созданнымъ для «блаженства семейной жизни». Потомъ изъ пустой причины Онъгинъ вызванъ на дуэль женихомъ сестры нашей влюбленной геронни н убиваеть его. Смерть Ленскаго надолго разлучаеть Татьяну съ Опфгинымъ. Разочарованная въ своихъ юныхъ мечтахъ, бъдная дъвушка склоняется на слезы и мольбы старой своей

матери и выходить замужъ за генерала, потому что ей было все равно, за кого бы ни выйти, если уже нельзя было не выходить ни за кого. Онъгинъ встръчаетъ Татьяну въ Петербургъ н едва узнаеть ее: такъ перемънилась она; такъ мало осталось въ ней сходства между простенькой деревенской дъвочкой и великолъпной петербургской дамой. Въ Онфгинф вспыхиваеть страсть къ Татьянъ, онъ пишетъ къ ней письмо, н на этоть разъ она уже отвъчаеть ему на словахъ, что хотя и любитъ его, тъмъ не менъе принадлежать ему не можеть-по гордости добродътели. Вотъ и все содержание «Онъгина». Многіе находили и теперь еще находять, что туть нъть никакого содержанія, потому что романъ ничемъ не кончается. Въ самомъ делъ, туть неть ни смерти (ни оть чахотки, ни оть кинжала), ни свадьбы-этого привелигированнаго конца всъхъ романовъ, повъстей и драмъ, въ особенности русскихъ. Сверхъ того, сколько туть несообразностей! Пока Татьяна была дъвушкой, Онфгипъ отвфиалъ холодностью на ел страстное признаніе; но когда она стала женщиной, —онъ до безумія влюбился въ нее, даже не будучи увъренъ, что она его любитъ. Не естественно, вовсе неестественно! А какой безнравственный характеръ у этого человъка: холодно читаеть онъ мораль влюбленной въ него дъвушкъ, вмъсто того, чтобъ взять да тотчасъ и влюбиться въ нее самому, и потомъ, испросивъ по формъ у ея дражайшихъ родителей ихъ родительскаго благословенія навъки нерушимаго, совокупиться съ ней узами законнаго брака и сдълаться счастливъйшимъ въ міръ человъкомъ. Потомъ: Онъгинъ ни за что убиваеть бъднаго Ленскаго, этого юнаго поэта съ волотыми надеждами и радужными мечтами, и хотя бы разъ заплакалъ о немъ, или по крайней мфрф проговориль патетическую рфчь, гдф упоминалось бы объ окровавленной твии и проч. Такъ или почти такъ судили и судятъ еще и теперь объ «Онвгинв» многіе изъ почтеннвйшихъ читателей; по крайней мврв намъ случалось слышать много такихъ сужденій, которыя во время оно бъсили насъ, а теперь только забавляють. Одинъ великій критикъ даже печатно сказалъ, что въ «Онвгинв» нвтъ цълаго, что это просто поэтическая болтовня о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ. Великій критикъ основывался въ своемъ заключеніи, во-первыхъ, на томъ, что въ концъ поэмы нъть нн свадьбы, ни похоронъ, и во-вторыхъ, на этомъ свидътельствъ самого поэта:

Промчалось много, много дней Съ тѣхъ поръ какъ юная Татьяна И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снъ Являлися впервые мнѣ—И даль свободнаго романа Я сквозь магическій кристаллъ Еще не ясно различалъ.

Великій критикъ не догадался, что поэтъ, благодаря своему творческому инстинкту, могь. написать полное и оконченное сочинение, не обдумавъ предварительно его плана, и умълъ остановиться именно тамъ, гдв романъ самъ собой чудесно заканчивается и развязывается на картинъ потерявшагося послъ объясненія съ Татьяной Онъгина. Но мы объ этомъ скажемъ въ своемъ мъстъ, равно какъ и о томъ, что пичего не можетъ быть естествениве отношеній Онъгина къ Татьянъ въ продолженіе всего романа, и что Онъгинъ совсъмъ не извергъ, не развратный человъкъ, хотя въ то же время и совствит не герой добродътели. Кл. числу великихъ заслугъ Пушкина принадлежитъ и то, что онъ вывель изъ моды и чудовищъ порока, и героевъ добродътели, рисуя

вмъсто нихъ просто людей.

Мы начали статью съ того, что «Онъгинъ» есть поэтически върная дъйствительности картина русскаго общества въ извъстную эпоху. Картина эта явилась во-время, т. е. именно тогда когда явилось то, съ чего можно было срисовать ее-общество. Вслъдствіе реформы Петра Великаго въ Россіи должно было образоваться общество, совершенно отдъльное отъ массы народа по своему образу жизни. Но одно исключительное положение еще не производить общества: чтобъ оно сформировалось, нужны были особенныя основанія, которыя обезпечивали бы его существование, и нужно было образование, которое давало бы ему не одно вившнее, но и внутреннее единство. Екатерина II экалованной грамотой определила въ 1785 году права и обязанности дворянства. Это обстоятельство сообщило совершенно новый характеръ вельможеству-единственному сословію, которое при Екатеринъ II-й достигло высщаго своего развитія и было просвъщеннымъ, образованнымъ сословіемъ. Вслъдствіе нравственнаго движенія, сообщеннаго грамотой 1785 года, за вельможествомъ началъ возникать классъ средняго дворянства. Подъ словомъ возникать мы разумъемъ слово образовываться. Въ царствование Александра Благословеннаго значение этого, во встхъ отношеніяхъ лучшаго, сословія все увеличивалось н увеличивалось, потому что образование все болъе и болъе проникало во всъ углы огромпой провинціи, усвянной помъщичьний владъніями. Такимъ образомъ формировалось общество, для котораго благородныя наслажденія бытія становились уже потребностью, какъ признакъ возникающей духовной жизни. Общество это удовлетворялось уже не одной

охотой, роскошью и пирами, даже не одними танцами и картами; оно говорило и читало пофранцузски; музыка и рисованіе тоже входили у него, какъ необходимость, въ планъ воспитанія дітей. Державинь, Фонвизинь и Богдановичъ--эти поэты, въ свое время извъстные только одному двору, тогда сдълались болъе или менње извъстными и этому возникающему обществу. Но что всего важиве-у него явилась своя литература, уже болъе легкая, живая, общественная и септская, нежели тяжелая школьная и книжная. Если Новиковъ распространилъ изданіемъ книгъ и журналовъ всякаго рода охоту къ чтенію и книжную торговлю, и черезъ это создалъ массу читателей, то Карамзинъ своей реформой языка, направленіемъ, духомъ и формой своихъ сочиненій породиль литературный вкусь и создаль нублику. Тогда и поэзія вошла, какъ элементь, въ жизнь новаго общества. Красавицы и молодые люди толпами бросились на «Лизинъ прудъ», чтобъ слезой чувствительности почтить память горестной жертвы страсти н обольщенія. Стихотворенія Дмитріева, печатленныя умомъ, вкусомъ, остротой и граціей, имъли такой же успъхъ и такое же вліяніе, какъ и проза Карамзина. Порожденныя ими сентиментальность и мечтательность, несмотря на ихъ смъшную сторону, были великимъ шагомъ впередъ для молодого общества. Трагедіи Озерова придали еще болъе силы и блеска этому направлению. Басни Крылова давно уже не только читались взрослыми, но и заучивались наизусть дътьми. Вскоръ появился юноша-поэть, который въ эту сентиментальную литературу внесъ романтическіе элементы глубокаго чувства, фантастической мечтательности и эксцентрического стремленія въ область чудеснаго и невъдомаго, и который

знакомилъ и породнилъ русскую музу съ музой Германін и Англіи. Вліяніе литературы на общество было гораздо важнъе, нежели какъ у насъ объ этомъ думають: литература, сближая и сдружая людей разныхъ сословій узами вкуса и стремленіемъ къ благороднымъ наслажденіямъ жизни, сословіе превратило въ общество. Но, несмотря на то, не подлежить никакому сомнънію, что классъ дворянства былъ н по преимуществу представителемъ общества, и по преимуществу непосредственнымъ источникомъ образованія всего общества. Увеличеніе средствъ кънародному образованію, учрежденіе университетовъ, гимназій, училищъ заставляло общество расти не по днямъ, а по часамъ. Время отъ 1812 до 1815 года было великой эпохой для Россіи. Мы разумъемъ здъсь не только вившиее величіе и блескъ, какими покрыла себя Россія въ эту великую для нея эпоху, но и внутрешнее преуспъяние въ гражданственности и образованіи, бывшее результатомъ этой эпохи. Можно сказать безъ преувеличенія, что Россія больше прожила и дальше шагнула отъ 1812 года до настоящей минуты, нежели отъ царствованія Петра до 1812 года. Съ одной стороны 12-й годъ, потрясши всю Россію изъ конца въ конецъ, пробудилъ ея спящія силы и открыль въ ней новые, дотолѣ нензвъстные источники силъ, чувствомъ общей опасности сплотиль въ одну огромную массу коснъвшія въ чувствъ разъединенныхъ интересовъ частныя воли, возбудилъ народное сознаніе и народную гордость, и всемъ этимъ способствовалъ зарождению публичности, какъ началу общественнаго мивнія; кромъ того 12-й годъ нанесъ сильный ударъ косивющей старинъ: вслъдствіе его исчезли неслужащіе дворяне, спокойно рождавшіеся и умиравшіе въ своихъ деревияхъ, не вывзжая за заповъдную черту ихъ владъній; глушь и дичь быстро исчезали вмъстъ съ потрясенными остатками старины. Съ другой стороны вся Россія, въ лицъ своего побъдоноснаго войска, лицомъ къ лицу увидълась съ Европой, пройдя

по ней путемъ побъдъ и торжествъ.

Все это сильно способствовало возрастанію и укрѣпленію возникшаго общества. Въ двадцатыхъ годахъ текущаго стольтія русская литература отъ подражательности устремилась къ самобытности: явился Пушкинъ. Онъ любилъ сословіе, въ которомъ почти исключительно выразился прогрессь русскаго общества и къ которому принадлежалъ самъ,---н въ «Онъгинъ» онъ ръшился представить намъ внутреннюю жизнь этого сословія, а вм'єсть съ нимъ и общество въ томъ видъ, въ какомъ оно находилось въ избранную имъ эпоху, т. е. въ двадцатыхъ годахъ текущаго столътія. И здъсь нельзя не подивиться быстроть, съ которой движется впередъ русское общество: мы смотримъ на «Онъгина», какъ на романъ времени, отъ котораго мы уже далеки. Идеалы, мотивы этого времени уже такъ чужды намъ. такъ внъ идеаловъ и мотивовъ нашего времени... «Герой нашего времени» былъ новымъ «Онъгинымъ»: едва прошло четыре года,-и Печоринъ уже не современный идеалъ. И воть въ какомъ смыслъ сказали мы, что самые недостатки «Онъгина» суть въ то же время и его величайшія достоинства: эти недостатки можно выразить однимъ словомъ-«старо»; но развѣ вина поэта, что въ Россіи все движется такъ быстро?-и развъ это не великая заслуга со стороны поэта, что онъ такъ върно умълъ схватить действительность известнаго мгновенія изъ жизни общества? Если-бъ въ «Онъгинъ» ничто не казалось теперь устаръвшимъ или отсталымъ отъ нашего времени, --это

было бы явнымъ признакомъ, что въ этой поэмъ нътъ истины, что въ ней изображено не дъйствительно существовавшее, а воображаемое общество: въ такомъ случаъ, что-жъ бы это была за поэма, и стоило ли бы говорить о ней?..

Мы уже коснулись содержанія «Онъгина»: обратимся къ разбору характеровъ дъйствующихъ лицъ этого романа. Несмотря на то, что романъ носить на себѣ имя своего героя, -- въ романъ не одинъ, а два героя: Онъгинъ и Татьяна. Въ обоихъ ихъ должно видъть представителей обоихъ половъ русскаго общества въ ту эпоху. Обратимся къ первому. Поэтъ очень хорошо сдълаль, выбравь себъ героя изъ высшаго круга общества. Опъгинъ отнюдь не вельможа (уже и потому, что временемъ вельможества быль только въкъ Екатерины II); Онъгинъ-свътскій человъкъ. Мы знаемъ, наши литераторы не любять свъта и свътскихъ людей, хотя и помъщаны на страсти изображать ихъ. Что касается лично до насъ, мы совству не свътские люди и въ свътъ не бываемъ; но не питаемъ къ нему никакихъ мъшанскихъ предубъжденій. Когда высшій свъть изображается такими писателями, какъ Пушкинъ, Грибовдовъ, Лермонтовъ, князь Одоевскій, графъ Соллогубъ, —мы любимъ литературное изображение большого свъта такъ же, какъ изображение всякаго другого свъта и не свъта, съ талантомъ и знаніемъ выполненное. Только въ одномъ случат не можемъ терпъть большого свъта: именно, когда изображають его сочинители, которымъ должны быть гораздо знакомъе нравы кондитерскихъ и чиногостиныхъ, чъмъ аристократиче-**ВНИЧЬИХЪ** скихъ салоновъ. Позвольте сдълать еще оговорку: мы отнодь не смъшиваемъ свътскости съ аристократизмомъ, хотя и чаще всего они встръчаются вмъстъ. Будьте вы человъкомъ какого вамъ угодно происхожденія, держитесь какихъ вамъ угодно убъжденій, свътскость васъ не испортить, а только улучшить. Говорять: въ свъть жизнь тратится на мелочи, самыя святыя чувства приносятся въ жертву разечета и приличіямъ. Правда; но развъ въ среднемъ кругу общества жизнь тратится только на одно великое, а чувство и разумъ не приносятся въ жертву разсчетамъ и приличію? О, нъть, тысячу разь нъть! Вся разница средняго свъта отъ высшаго состоить въ томъ, что въ первомъ больше мелочности, претензій, чванства, ломанія, мелкаго честолюбія, принужденности и лицемърства. Говорять: въ свътской жизни много дурныхъ сторонъ. Правда; а развъ въ не-свътской жизниодив только хорошія стороны? Говорять: свъть убиваеть вдохновение, и Шекспиръ, и Шиллеръ не были свътскими людьми. Правда; по они не были и ни купцами, ни мъщанамиони были просто людьми, такъ же точно, какъ и Байронъ—аристократь, свътскій человъкъ. своимъ вдохновеніемъ болѣе всего обязанъ быль тому, что онь быль человъкъ. Воть почему мы не хотимъ подражать нѣкоторымъ нашимъ литераторамъ въ ихъ предубънденіяхъ противъ страшнаго для нихъ невидимки-большого свъта, и вотъ почему мы очень рады, что Пушкинъ героемъ своего романа взяль свътскаго человъка. И что же туть дурного? Высшій кругь общества быль въ то время уже въ апогет своего развитія; притомъ свътскость не помъщала же Онъгипу сойтись съ Ленскимъ-этимъ наиболъе страннымъ и см'вшнымъ въ глазахъ свъта существомъ. Правда, Опъгину было дико въ обществъ Лариныхъ; по образованность еще болъе, нежели свътскость, была причиной этого. Не споримъ,

Ь

Ь

Ь

Я

Ь

Ь

H

Ь

Ь

-

Ь

-

I

-

Ь

0

Ь

Ь

H

II

общество Лариныхъ очень мило, особенно въ стихахъ Пушкина: но намъ, хоть мы и совсемъ не свътскіе люди, было бы въ немъ не совстмъ ловко, тъмъ болъе, что мы ръшительно не способны поддержать благоразумнаго разговора о псариъ, о винъ, о сънокосъ, о родиъ. Высшій кругь общества въ то время до того быль отделень оть всехь другихь круговъ, что не принадлежавшіе къ нему люди поневолъ говорили о немъ, какъ до Колумба во всей Европъ говорили объ антиподахъ и Атлантидъ. Вслъдствіе этого Онъгинъ съ первыхъ же строкъ романа былъ принятъ за безиравственнаго человъка, Это мижніе о немъ и теперь еще не совсъмъ исчезло. Мы помнимъ, какъ горячо многіе читатели изъявляли свое негодование на то, что Онъгинъ радуется болѣзни своего дяди и ужасается необходимости корчить изъ себя опечаленнаго родственника,

Вздыхать и думать про себя: Когда же чорть возьметь тебя?

Многіе и теперь этимъ крайне недовольны. Изъ этого видно, какимъ важнымъ во всъхъ отношеніяхъ произведеніемъ былъ «Онфгинъ» для русской публики, и какъ хорошо сдълалъ Пушкинъ, взявъ свътскаго человъка въ герои своего романа. Къ особенностямъ людей свътскаго общества принадлежить отсутствіе лицемѣрства, въ одно и то же время грубаго и глунаго, добродушнаго и добросовъстнаго. Если какой-нибудь бъдный чиновникъ вдругъ видить себя наследникомъ богатаго дяди-старика, готоваго умереть, -- съ какими слезами, съ какой униженной предупредительностью будеть онь ухаживать за дядюшкой, хотя этоть дядюшка можеть быть во всю жизнь свою не хотълъ ни знать, ни видъть племянника

и между ними ничего не было общаго. Однакожъ не думайте, чтобъ со стороны племянника это было разсчетливымъ лицемърствомъ (разсчетливое лицемърство есть порокъ всъхъ круговъ общества, и свътскихъ, и не-свътскихъ); нъть, вслъдствіе благодътельнаго сотрясенія всей нервной системы, произведеннаго видомъ близкаго наслъдства, нашъ племянникъ не шутя пришелъ въ умиленіе и почувствоваль пламенную любовь къ дядюшкѣ, хотя и не воля дяди, а законъ, далъ ему право на наслъдство. Стало быть, это лицемърство добродушное, искреннее и добросовъстное. Но вздумай его дядюшка вдругъ, ни съ того. ни съ сего, выздоровъть: куда бы дъвалась у нашего племянника родственная любовь, и какъ бы ложная горесть вдругь смънилась истинной горечью, и актеръ превратился бы въ человъка! Обратимся къ Онъгину. Его дядя быль ему чуждь во всъхъ отношеніяхъ. И что можеть быть общаго между Онтгинымъ, который уже-

. равно зѣвалъ Средь модныхъ и стариниыхъ залъ,

и между почтеннымъ помъщикомъ, который въглуши своей деревни

Лѣтъ сорокъ съ ключниџей бранился, Въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ?

Скажуть: онь—его благодѣтель. Какой же благодѣтель, если Онѣгинъ былъ законнымъ наслѣдникомъ его имѣнія? Тутъ благодѣтель—не дядя, а законъ, право наслѣдства. Каково же положеніе человѣка, который обязанъ играть роль огорченнаго, состраждущаго и нѣжнаго родственника при смертномъ одрѣ совершенно чуждаго и посторонняго ему человѣка? Ска-

жуть: кто обязываль его играть такую низкую роль? Какъ, кто? Чувство деликатности, человъчности. Если, почему бы то ни было, вамъ нельзя не принимать къ себъ человъка, котораго знакомство для вась и тяжело и скучно, развъ вы не обязаны быть съ нимъ въжливы и даже любезны, хотя внутренно вы и посылаете его къ чорту? Что въ словахъ Онъгина проглядываеть какая-то насмѣшливая легкость, -- въ этомъ виденъ только умъ и естественность, потому что отсутстве натянутой. тяжелой торжественности въ выраженіи обыкновенныхъ житейскихъ отношеній есть признакъ ума. У свътскихъ людей это даже не всегда умъ, а чаще всего-манера, и нельзя не согласиться, что это преумная манера. У людей среднихъ кружковъ, напротивъ, манераотличаться избыткомъ разныхъ глубокихъ чувствъ при всякомъ сколько-нибудь, по ихъ миннію, важномъ случав. Всв знають, что воть эта барыня жила съ своимъ мужемъ, какъ кошка съ собакой, и что она радехонька его смерти, и сама она хорошо понимаеть, что всъ это знають, и что никого ей не обмануть но отъ этого она еще больше охаеть и ахаеть. стонеть и рыдаеть, и темь безотвязнее мучить встхъ и каждаго описаніемъ добродътелей покойнаго, счастія, какимъ онъ дарилъ ее, и элополучія, въ какое повергь ее своей кончиной. Мало того, эта барыня готова это же самое сто разъ повторять передъ господиномъ благонамъренной наружности, котора о всъ знають за ея любовника. И что же?—какъ этотъ господинъ благонамъренной наружности, такъ и всъ Родственники, друзья и знакомые горькой, неутъшной вдовы слушають все это съ печальнымъ и огорченнымъ видомъ, и если иные подъ рукой смъются, зато др гіе отъ души сокрушаются. И повторяемъ-это не глупость

и не разсчетливое лицемърство: это простопринципъ мъщанской, простонародной морали Никому изъ этихъ людей не приходитъ въ голову спросить себя и другихъ:

Да изъ чего же вы бъснуетеся столько?

Мало того: они считають за грѣхъ подобный вопросъ, а если бы рѣшились сдѣлать его, то сами надъ собой расхохотались бы. Имъ не вдогадъ, что если туть есть о чемъ грустить, такъ это о пошлой комедіи добродушнаго лицемѣрства, которую всѣ такъ усердно и такъ нскренно разыгрывають.

Чтобъ не возвращаться опять къ одному и тому же вопросу, сдѣлаемъ небольшое отступленіе. Въ доказательство, какимъ важнымъ явленіемъ не въ одномъ эстетическомъ отношеніи былъ для нашей публики «Онѣгинъ» П шкина и какими новыми, смѣлыми мыслями казались тогда въ немъ теперь самыя старын и даже робкія полу-мысли—приведемъ изъ него этотъ куплеть:

Гм! Гм! читатель благородной, Здорова-ль ваша вся родня? Позвольте: можеть быть угодно Теперь узнать вамъ отъ меня, Что значать именно родные. Родные люди воть какіе: Мы ихъ обязаны ласкать, Любить, душевно уважать, И, по обычаю народа, О Рождествъ ихъ навъщать, Или по почтъ поздравлять, Чтобъ въ остальное время года О насъ не думали они... Итакъ, дай Богъ имъ долги дни!

Мы помнимъ, что этотъ невинный куплеть со большей части публики навлекъ стороны упрекъ въ безиравственности уже не на Онъгина, а на самого поэта. Какая этому причина, если не то добродушное и добросовъстное лицемърство, о которомъ мы сейчасъ говорили? Братья тягаются съ братьями объ имъніи и часто питають другь къ другу такую остервенълую ненависть, которая невозможна между чужими, а возможна только между родными. Право родства бываетъ неръдко инчъмъ инымъ, какъ правомъ-бъдному подличать передъ богатымъ изъ подачки, богатому-презирать докучнаго бъдняка и отдълываться отъ него ничвиъ; равно богатымъ-завидовать другъ другу въ успъхахъ жизни; вообще же-право вмъшиваться въ чужія дъла, давать ненужные и безполезные совъты. Гдъ ни поступите вы, какъ человъкъ съ характеромъ и съ чувствомъ своего человъческаго достоинства, —вездъ вы оскорбите принципъ родства. Вздумали вы жениться—просите совъта; не попросите еговы опасный мечтатель, вольнодумець; попросите-вамъ укажуть невъсту; женитесь на ней н будете несчастны—вамъ же скажуть: «то-то же, братецъ, вотъ каково безъ оглядки-то предпринимать такія важныя дізла; я віздь говорилъ...» Женитесь по своему выбору-еще хуже бъда. -- Какія еще права родства? малоли ихъ! Воть, напримъръ, этого господина, такъ похожаго на Ноздрева, будь онъ вамъ чужой, вы не пустили бы даже въ свою конюшию, опасаясь за правственность вашихъ лошадей; но онъ вамъ родственникъ,--- и вы принимаете его у себя въ гостиной и въ кабинетъ, и онъ вездъ позоритъ васъ именемъ своего родственника. Родство даетъ прекрасное средство къ запятію и развлеченію: случилась съ вами бъда, -- и вотъ для вашихъ родственниковъ чудесный случай съвзжаться къ вамь, ахать, охать, качать головой, судить, рядить, давать совъты и наставленія, дълать упреки, а потомъ вездъ развозить эту новость, порицая и браня вась за глаза; въдь извъстно: человъкъ въ бъдъ всегда виновать, особенно въ глазахъ своихъ родственниковъ. Все это ни для кого не ново; но то бъда, что это всъ чувствують, но немногіе это сознають: привычка къ добродушному и добросовъстному лицемърству побъждаеть разсудокъ. Есть такіе люди, которые способны смертельно обидаться, если огромная семья родни, прівхавь въ столицу, остановится не у нихъ; а остановись она у нихъ-они-же будуть не рады; но ропща, бранясь и всъмъ жалуясь подъ рукой, они передъ родственной семейкой будуть расточать любезности и возьмуть съ нея слово-опять остановиться у инхъ н вытъснить ихъ, во имя родства, изъ ихъ собственнаго дома. Что это значить? Совствы не то, чтобы родство у подобныхъ людей существовало, какъ принципъ, а только то, что оно существуеть у нихъ, какъ факть; внутренно, по убъжденію никто изъ нихъ не признаетъ его, но по привычкъ, по безсознательности и по лицемърству всъ его признають.

Пушкинъ охарактеризовалъ родство этого рода въ томъ видѣ, какъ оно существуетъ у многихъ, какъ оно есть въ самомъ дѣлѣ, слѣдовательно справедливо и истинно,—и на него осердились, его назвали безиравственнымъ; стало бытъ, если бы онъ описалъ родство между нѣкоторыми людьми такимъ, какимъ оно не существуетъ, т. е. невѣрно и ложно,—его по-хвалили бы: Все это значитъ ни больше, ни меньше, какъ то, что правственна одна ложъ и неправда... Вотъ къ чему ведетъ добродушное и добросовѣстное лицемѣрство! Нѣтъ, Пушкинъ поступилъ нравственно, первый ска-

завъ истину, потому что нужна благородная смізлость, чтобъ первому рішиться сказать истину. И сколько такихъ истинъ сказано въ «Онъгинъ»! Многія изъ нихъ и не новы, и даже не очень глубоки; но если бы Пушкинъ не сказаль ихъ двадцать лъть назадъ, онъ теперь былибы и новы, и глубоки. И потому велика заслуга Пушкина, что онъ первый высказаль эти устаръвшія и уже не глубокія теперь истины. Онъ бы могъ насказать истинъ болъе безусловныхъ и болъе глубокихъ, но въ такомъ случав его произведение было бы лишено истинности; рисуя русскую жизнь, оно не было бы ея выраженіемъ. Геній никогда не упреждаеть своего времени, но всегда только угадываеть его не для всъхъ видимое содержаніе и смысль.

Большая часть публики совершенно отрицала въ Онфгинф душу и сердце, видъла въ немъ человфка холоднаго, сухого и эгоиста по натурф. Нельзя ошибочнфе и кривфе понять человфка! Этого мало: многіе добродушно вфрили и вфрятъ, что самъ поэтъ хотфлъ изобразить Онфгина холоднымъ эгоистомъ. Это уже значитъ—имфя глаза, ничего не видфть. Свфтская жизпъ не убила въ Онфгинф чувства, а только охолодила къ безплоднымъ страстямъ и мелочнымъ развлеченіямъ. Вспоминте строфы, въ которыхъ поэть описываетъ свое знакомство съ Онфгинымъ:

Условій свъта свергнувъ бремя, Какъ онъ, отставъ отъ суеты, Съ нимъ подружился я въ то время. Мнѣ нравились его черты, Мечтамъ невольная предапность, Неподражательная странность И ръзкій охлажденный умъ. Я былъ озлоблень, онъ угрюмъ;

Страстей игру мы знали оба; Томила жизнь обонхъ насъ: Въ обонхъ сердна жаръ погасъ; Обоихъ ожидала злоба Слепой фортуны и людей На самомъ утръ нашихъ дней. Кто жиль и мыслиль, тоть не можеть Въ душъ не презирать людей; Кто чувствоваль, того тревожить Призракъ невозвратимыхъ дией: Тому ужь нъть очарованій, Того змія воспоминаній, Того раскаянье грызеть. Все это часто придаетъ Вольшую прелесть разговору. Оперва Онъгина языкъ Меня смущаль; но я привыкъ Къ его язвительному спору. И къ шуткъ съ желчью пополамъ. И къ злости мрачныхъ эпиграммъ. Какъ часто летнею порою, Когда прозрачно и свътло Ночное небо надъ Невою И водъ веселое стекло Не отражаеть ликъ Діаны, Воспомня прежних льт романы, Воспомня прежиного любовь, Чувствительны, безпечны вновь, Дыханьемъ ночи благосклонной Везмолвно упивались мы! Какъ въ лъсъ зеленый изъ тюрьмы Перенесенъ колодникъ сонной. Такъ уносились мы мечтой Къ началу жизни молодой.

Изъ этихъ стиховъ мы ясно видимъ по крайней мъръ то, что Онъгинъ не былъ ни холоденъ, ни сухъ, ни черствъ, что въ душъ его жила поэзія, и что вообще онъ былъ не изъ числа

обыкновенныхъ, дюжинныхълюдей. Невольная преданность мечтамъ, чувствительность и безпечность при созерцаніи красоть природы и при воспоминаніи о романахъ и любви прежнихъ лътъ: все это говорить больше о чувствъ и поэзіи, нежели о холодности и сухости. Дѣло только въ томъ, что Онъгинъ не любиль расплываться въ мечтахъ, больше чувствовалъ, нежели говориль, и не всякому открывался. Озлобленный умъ есть тоже признакъ высшей натуры, потому что человъкъ съ озлобленнымъ умомъ бываетъ недоволенъ не только людьми, но и самимъ собой. Дюжинные люди всегда довольны собой, а если имъ везетъ, то и всъми. Жизнь не обманываеть глупцовъ; напротивъ, она все даеть имъ, благо немного просять они отъ нея-корма, пойла, тепла, да кой-какихъ игрушекъ, способныхъ тешить пошлое и мелкое самолюбьице. Разочарование въ жизни, въ людяхъ, въ самихъ себъ (если только оно истинно и просто, безъ фразъ и щегольства «нарядной печалью») свойственно только людямъ, которые, желая «многаго», не удовлетворяются «ничемъ». Читатели помнять описаніе (въ VII главъ) кабинета Онъгина: весь Онъгинъ въ этомъ описаніи. Особенно поразительно исключение изъ опалы двухъ или трехъ романовъ,

Въ которыхъ отразился въкъ, И современный человъкъ Изображенъ довольно върно Съ его безиравственной душой, Себялюбивый и сухой, Мечтанью преданный безмърно, Съ его озлобленнымъ умомъ, Кипящимъ въ дъйствіи пустомъ.

Скажуть: это портреть Онъгина. Пожалуй и такъ; но это еще болъе говорить въ пользу

нравственнаго превосходства Онъгина, потому что онъ узналъ себя въ портретъ, который, какъ двъ капли воды, похожъ на столь многихъ, но въ которомъ узнаютъ себя столь немногіе, а большая часть «украдкой киваетъ на Петра». Онъгинъ не любовался самолюбиво этимъ портретомъ, но глухо страдалъ отъ его поразительнаго сходства съ дътьми нынъшняго въка. Не натура, не страсти, не заблужденія личныя сдълали Онъгина похожимъ на этотъ портретъ, а въкъ.

Связь съ Ленскимъ—этимъ юнымъ мечтателемъ, который такъ поправился пашей публикъ, всего громче говоритъ противъ мнимаго бездушія Онъгина.

Оприня презираль людей,

Но правиль нать безь исключеній: Иныхъ онъ очень отличалъ, И вчужет чувство уважаль. Онъ слушалъ Ленскаго съ улыбкой: Поэта пылкій разговоръ, И умъ еще въ сужденьяхъ зыбкой; И въчно вдохновенный взоръ-Онъгину все было ново; Онъ охладительное слово Въ устахъ старался удержать. И думаль: глупо мив мвшать Его минутному блаженству, И безъ меня пора придеть; Пускай покамъстъ онъ живетъ Да въритъ міра совершенству; Простимъ горячкъ юныхъ лътъ И юный жарь, и юный бредь. Межъ ними все рождало споры И къ размышленію влекло: Племенъ минувшихъ договоры, Плоды наукъ, добро и зло, И предразсудки въковые,

И гроба тайны роковыя, Судьба и жизнь, въ свою чреду, Все подвергалось ихъ суду.

Дѣло говорить само за себя; гордая холодность и сухость, надменное бездуще Опѣгина, какъ человѣка, произошли отъ глубокой неспособности многихъ читателей понять такъ вѣрно созданный поэтомъ характеръ. Но мы не остановимся на этомъ и исчернаемъ весь вопросъ.

Чудакъ печальный и опасный, Созданья ада иль небесъ, Сей ангелъ, сей надменный бъсъ, Что-жъ онъ?—ужели подражанье, Ничтожный призракъ, иль еще Москвичъ въ Гарольдовомъ плащъ: Чужихъ причудъ истолкованье, Словъ модныхъ полный лексиконъ... Ужъ не пародія ли онъ?

. «Все тотъ же-ль онъ, иль усмирился? Иль корчить также чудака? Скажите, чемь онь возвратился? Что намъ представить онъ пока? Чемъ ныне явится? Мельмотомъ, Космополитомъ, патріотомъ, Гарольдомъ, квакеромъ, ханжой, Иль маской шегольнеть иной? Иль просто будеть добрый малой, Какъ вы да я, какъ џѣлый свѣтъ? По крайней мтрт мой совть: Отстать отъ моды обветшалой. Довольно онъ морочилъ свътъ..., —Знакомъ онъ вамъ? —«И да, и иют». -Зачвиъ же такъ неблагосклонно Вы отзываетесь о немъ? За то-ль, что мы неугомонно

Хлопочемъ, судимъ обо всемъ, Что пылких душь неосторожность Самолюбивую ничтожность Иль оскорбляеть, иль смъшить; Что умъ, любя просторъ, тъснить; Что слишкомъ часто разговоры Принять мы рады за дъла; Что глупость вътрена и зла; Что важнымъ людямъ важны вздоры, И что посредственность одна Намъ по плечу и не странна? Влаженъ, кто съ молоду былъ молодъ, Блаженъ, кто во время созрълъ, Кто постепенно жизни холодъ Съ лътами вытерпъть умълъ; Кто страннымъ снамъ не предавался; Кто черни свътской не чуждался; Кто въ двадцать леть быль франть иль

А въ тридцать выгодно женатъ; Кто въ пятьдесять освободился Отъ частныхъ и другихъ долговъ; Кто славы, денегь и чиновъ Спокойно въ очередь добился; О комъ твердили џълый въкъ: «N.N. прекрасный человъкъ». Но грустно думать, что напрасно Была намъ молодость дана, Что измъняли ей всечасно, Что обманула насъ она; Что наши лучшія желанья, Что наши свъжія мечтанья Истлели быстрой чередой, Накъ листья осенью гнилой. Несносно видъть предъ собою Однихъ объдовъ длинный рядъ, Глядъть на жизнь какъ на обрядъ, И вслъдъ за чинною толпою Итти, не раздъляя съ ней Ни общихъ мивній, ни страстей.

Эти стихи-ключь къ тайнъ характера. Онъгина. Онъгинъ—не Мельмоть, не Чайльдъ-Гарольдъ, не демонъ, не пародія, не модная причуда, не геній, не великій человъкъ, а просто-«добрый малый, какъ вы да я, какъ цѣлый свъть». Поэть справедливо называеть «обветшалой модой» вездъ находить или вездъ искать все геніевъ, да необыкновенныхъ людей. Повторяемъ: Онъгинъ-добрый малый, но при этомъ недюжинный человъкъ. Онъ не годится въ геніи, не лізеть въ великіе люди, но бездъятельность и пошлость жизни душать его, онъ даже не знаетъ, чего ему надо, чего ему хочется, но онъ знаеть, и очень хорошо знаеть, что ему не надо, что ему не хочется того, чтымь такъ довольна, такъ счастлива самолюбивая посредственность. И за то-то эта самолюбивая посредственность не только провозгласила его «безнравственнымъ», но и отняла у него страсть сердца, теплоту души, доступность всему доброму и прекрасному. Вспомните, какъ воспитанъ Онфгинъ, и согласитесь, что натура его была слишкомъ хороша, если ея не убило совсьмъ такое воснитание. Блестящий юноша, онъ былъ увлеченъ свътомъ, подобно многимъ; но скоро наскучиль имъ и оставиль его, какъ это делають слишкомь немногіе. Въ душт его т. гълась искра надежды-воскреснуть и освъжиться въ тиши уединенія, на лонъ природы; но онъ скоро увидълъ, что перемъна мъстъ не измъняеть сущности нъкоторыхъ неотразимыхъ и не отъ нашей воли зависящихъ обстоятельствъ.

Два дни ему казались новы Уединенныя поля, Прохлада сумрачной дубровы, Журчанье тихаго ручья; На третій—рощи, холмъ и поле

Его не занимали болъ,
Потомъ ужъ наводили сонъ;
Потомъ увидълъ ясно онъ,
Что и въ деревит скука та же,
Хоть итъ ни улицъ, ни дворџовъ,
Ни картъ, ни баловъ, ни стиховъ.
Хандра ждала его на стражъ,
И бъгала за нимъ она,
Какъ тънь, иль върная жена.

Мы доказали, что Онъгинъ не холодный, не сухой, не бездунный человъкъ, но мы до сихъ поръ избъгали слова эгоистъ, и такъ какъ избытокъ чувства, потребность изящнаго не исключаеть эгонзма, то мы скажемъ теперь, что Онъгинъ-страдающій эгоисть. Эгоисты бывають двухъ родовъ. Эгоисты перваго разряда-люди безъ всякихъ заносчивыхъ или мечтательныхъ притязаній; они не понимають, какъ можетъ человъкъ любить кого-нибудь кромъ самого себя, и потому они нисколько не стараются скрывать своей пламенной любви къ собственнымъ ихъ особамъ; если ихъ дъла идуть плохо-они худощавы, бледны, элы, низки, подлы, предатели, клеветники; если ихъ двла идуть хорошо-они толсты, жирны, румяны, веселы, добры, выгодами делиться ни съ къмъ не станутъ, но угощать готовы не только полезныхъ, даже и вовсе безполезныхъ имъ людей. Это эгонсты по натуръ, или по причинъ дурного воспитанія. Эгоисты второго разряда почти никогда не бывають толсты и румяны; по большей части этоть народь больной и всегда скучающій. Бросаясь всюду, вездъ ища то счастія, то разстянія, они нигдт не находять ни того, ни другого съ той минуты, какъ обольщенія юности оставляють ихъ. Эти люди часто доходять до страсти къ добрымъ действіямь, до самоотверженія вь пользу

ближнихъ; но бъда въ томъ, что они и въ добръ хотять искать то счастія, то развлеченія, тогда какъ въ добръ слъдовало бы имъ пскать только добра. Если подобные люди живуть въ обществъ, представляющемъ полную возможность для каждаго изъ его членовъ стремиться своей дъятельностью къ осуществлению идеала истины и блага, -- о нихъ безъ занинки можно сказать, что суетность и мелкое самолюбіе, заглушивъ въ нихъ добрые элементы, сдълали ихъ эгоистами. Но нашъ Онъгинъ не принадлежить ни къ тому, ни къ другому разряду эгоистовъ. Его можно назвать эгоистомъ по неволь; въ его эгоизмъ должно видъть то, что древніе называли «fatum». Благая, благотворная, полезная дъятельность! Зачъмъ не предался ей Онъгинъ? Зачъмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачъмъ? зачъмъ? Затъмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дъльпымъ отвъчать...

> Одинъ среди своихъ владъній, Чтобъ только время проводить, Сперва задумалъ нашъ Евгеній Порядокъ новый учредить. Въ своей глуши мудрецъ пустынной, Яремъ онъ баршины старинной Оброкомъ легкимъ замънилъ; Мужикъ судьбу благословилъ. Зато въ углу своемъ надулся, Увидя въ этомъ страшный вредъ, Его разсчетливый сосъдъ, Другой лукаво улыбнулся, И въ голосъ всв рвшили такъ, Что онъ опаснъйшій чудакъ. Сначала всв къ нему взжали; Но такъ какъ съ задняго крыльца Обыкновенно подавали

Ему донского жеребца,
Лишь только вдоль большой дороги
Заслышать ихъ домашии дроги:
Поступкомъ оскорбясь такимъ,
Всѣ дружбу прекратили съ нимъ.
«Сосѣдъ нашъ неучъ, сумасбродитъ,
«Онъ фармазонъ; онъ пьетъ одно
«Стаканомъ красное вино;
«Онъ дамамъ къ ручкѣ не подходитъ;
«Все да да нътъ, не скажетъ да-съ
Иль нътъ-съ». Таковъ былъ обцій гласъ.

Что-нибудь дѣлать можно только въ обществѣ, на основаніи общественныхъ потребностей, указываемыхъ самой дѣятельностью, а не теоріей; но что бы сталъ дѣлать Онѣгинъ въ сообществѣ съ такими прекрасными сосѣдями, въ кругу такихъ милыхъ ближнихъ? Облегчить участь мужика, конечно, много значило длямужика; но со стороны Онѣгина тутъ еще немного было сдѣлано. Есть люди, которымъ если удастся что-нибудь сдѣлать порядочное, они съ самодовольствіемъ разсказывають объ этомъ всему міру, и такимъ образомъ бывають пріятно заняты на цѣлую жизнь. Онѣгинъ былъ не нзъ такихъ людей: важное и великое для многихъ—для него было не Богъ знаетъ чѣмъ.

Случай свель Онфгина съ Ленскимъ; черезъ Ленскаго Онфгинъ познакомился съ семействомъ Лариныхъ. Возвращаясь отъ нихъ домой послф перваго визита, Онфгинъ зфваетъ; изъ его разговора съ Ленскимъ мы узнаемъ, что онъ Татьяну принялъ за невфсту своего пріятеля и, узнавъ о своей ошибкф, удивляется его выбору, говоря, что еслибъ онъ самъ былъ поэтомъ, то выбралъ бы Татьяну. Этому равнодушному, охланденному человфку стоило одного или двухъ невнимательныхъ взглядовъ, чтобъ понять разницу между обфими сестра-

ми, тогда какъ пламенному, восторженному Ленскому и въ голову не входило, что его возлюбленная была совствить не идеальное и поэтическое созданіе, а просто хорошенькая и простенькая дівочка, которая совсімь не стоила того, чтобъ за нее рисковать убить пріятеля или самому быть убитымъ. Между тъмъ какъ Онъгинъ зъвалъ-«по привычкъ», говоря его собственнымъ выражениемъ, и нисколько не заботясь о семействъ Лариныхъ, -- въ этомъ семействъ его пріъздъ завязаль страшную внутреннюю драму. Большинство публики было крайне удивлено, какъ Онъгинъ, получивъ письмо Татьяны, могь не влюбиться въ нее, -- а еще болъе, какъ тотъ же самый Онъгинъ, который такъ холодно отвергалъ чистую, наивную любовь прекрасной дввушки, потомъ страстно влюбился въ великолъпную свътскую даму? Въ самомъ дълъ, есть чему удивляться. Не беремся решить вопроса, но поговоримь о немъ. Впрочемъ, признавая въ этомъ фактъ возможность психологического вопроса, мы темъ не менъе нисколько не находимъ удивительнымъ самого факта. Во-первыхъ вопросъ, почему влюбился или почему не влюбился, или почему, въ то время не влюбился, —такой вопросъ мы считаемъ немного слишкомъ диктаторскимъ. Сердце имъетъ свои законы-правда; по не такіе, изъ которыхъ легко было бы составить полный систематическій кодексъ. Сродство натуръ, нравственная симпатія, сходство понятій могуть и даже должны играть большую роль въ любви разумныхъ существъ; но кто въ любви отвергаеть элементь чисто непосредственный, влечение инстинктуальное, невольное, прихоть сердца, въ оправдание нъсколько тривіальной, но чрезвычайно выразительной русской пословицы: «полюбится сатана лучше яснаго сокола», -- кто отвергаеть это, тоть не понимаеть

любви. Если-бъ выборъ въ любви решался только волей и разумомъ, тогда любовь не была бы чувствомъ и страстью. Присутствіе элемента непосредственности видно и въ самой разумной любви, потому что изъ исколькихъ равно достойныхъ лицъ выбирается только одно, и выборъ этотъ основывается на невольномъ влеченін сердца, Но бываеть и такъ, что люди, кажется созданные одинъ для другого, остаются равнодушны другь къ другу, и каждый изъ нихъ обращаетъ свое чувство на существо нисколько себѣ пе подъ-пару. Поэтому Онъгинъ имълъ полное право, безъ всякаго опасенія подпасть подъ уголовный судъ критики, не полюбить Татьяны-дъвушки и полюбить Татьяну-женщину. Въ томъ и другомъ случав онъ поступилъ равно ни правственно, ни безиравственно. Этого вполит достаточно для его оправданія; но мы къ этому прибавимъ и еще кое-что. Онъгинъ былъ такъ уменъ, тонокъ и опытенъ, такъ хорошо понималъ людей и ихъ сердце, что не могъ не понять изъ письма Татьяны, что эта бъдная дъвушка одарена страстнымъ сердцемъ, алчущимъ роковой пищи, что ея душа младенчески чиста, что ея страсть дътски простодушна, и что она нисколько не похожа на тъхъ кокетокъ, которыя такъ надовли ему съ ихъ чувствами то легкими, то поддъльными. Онъ былъ живо тронуть инсьмомъ ея:

Языкъ девическихъ мечтаній Въ немъ думы роемъ возмутиль; И вспомниль онъ Татьяны милой И бледный цветь, и видъ унылый; И вз сладостный безгрышный сонз Душою погрузился онз. Выть можеть, чувствій пыль старинной Имъ на минуту овладёль;

Но обмануть онъ не хотълъ Довърчивость души невинной.

Въ письмъ своемъ къ Татьянъ (въ VIII главъ) онъ говорить, что, замътя въ ней искру нъжности, онъ не хотъль ей повърить (т. е. заставиль себя не повърить), не даль хода милой привычкъ и не хотълъ разстаться съ своей постылой свободой. Но если онъ оцфииль одну сторону любви Татьяны, въ тоже самое время онъ такъ же ясно видълъ и другую ея сторону. Во-первыхъ, обольститься такой младенчески прекрасной любовью и увлечься ею до желанія отвъчать на нее—значило бы для Онъгина ръшиться на женитьбу. Но если его могла еще интересовать поэзія страсти, то поэзія брака не только не интересовала его, но была для него противна. Поэть, выразившій въ Онфгинф много своего собственнаго, такъ изъясняется на этоть счеть, говоря о Ленскомь:

Гимена хлопоты, печали, Зъвоты хладная чреда Ему не снились пикогда, Межъ тъмъ какъ мы, враги Гимена, Въ домашней жизни зримъ одинъ Рядъ утомительныхъ картинъ, Романъ во вкусъ Лафонтена.

Если не бракъ, то мечтательная любовь, если не хуже что-нибудь; но онъ такъ хорошо постигъ Татьяну, что даже и не подумалъ о последнемъ, не унижая себя въ собственныхъ своихъ глазахъ. Но въ обоихъ случаяхъ эта любовь немного представляла ему обольстительнаго. Какъ! онъ, перегоръвшій въ страстяхъ, извъдавшій жизнь и людей, еще кипъвшій какими-то самому ему неясными стремленіями,—онъ, котораго могло занять и напол-

нить только что-нибудь такое, что могло бы выдержать его собственную иронію, - онъ увлекся бы младенческой любовью дввочкимечтательницы, которая смотръла на жизнь такъ, какъ онъ уже не могъ смотръть... И что же сулила бы ему въ будущемъ эта любовь? Что бы нашель онь потомъ въ Татьянъ? Или прихотливое дитя, которое плакало бы оттого, что онъ не можеть, подобно ей, дътски смотръть на жизнь и дътски играть въ любовь, -а это, согласитесь, очень скучно; или существо, которое, увлекшись его превосходствомъ, до того подчинилось бы ему, не понимая его, что не имъло бы ни своего чувства, ни своего смысла, ни своей воли, ни своего характера. Послъднее спокойнъе, но за то еще скучнъе. И это ли поэзія и блаженство любви!...

Разлученный съ Татьяной смертью Ленскаго, Онъгинъ лишился всего, что хотя сколько ни-

будь связывало его съ людьми.

Убивъ на поединкъ друга, Доживъ безъ џъли, безъ трудовъ, До двадџати-щести годовъ, Томясь въ бездъйствін досуга, Везъ службы, безъ жены, безъ дѣлъ, Ничъмъ заняться не умѣлъ; Имъ овладѣло безпокойство, Охота къ перемѣнъ мѣстъ (Весьма мучительное свойство, Немногихъ добровольный крестъ).

Между прочимь быль онь и на Кавказѣ и смотръль на блъдный рой тъней, толпившійся около цълебныхъ струй Машука:

Питая горьки размышленья, Среди печальной ихъ семьи. Онъгинъ взоромъ сожалънья Глядълъ на дымныя струи И мыслиль, грустью отуманень: «Зачёмь я пулей въ грудь не ранень! Зачёмь не хилый я старикь, Какъ этоть бёдный откупщикь? Зачёмь, какъ тульскій засёдатель, Я не лежу въ параличё? Зачёмь не чувствую въ плечё Хоть ревматизма? Ахъ, Создатель! Я молодь, жизнь во мнё крёпка Чего мнё ждать! тоска, тоска!..»

Какая жизнь! Воть оно, то страданіе, о которомъ такъ много пищутъ и въ стихахъ, и въ прозъ, на которое столь многіе жалуются, какъбудто и въ самомъ дълъ знають его; воть оно, страданіе истипное, безъ котурна, безъ ходуль. безъ драпировки, безъ фразъ, —страданіе, которое часто не отнимаеть ни сна, ни аппетита, ни здоровья, но которое тымъ ужасиће!.. Спать ночью, зъвать днемъ, видъть, что всъ изъ чего то хлопочуть, чъмъ-то запяты, одинъ деньгами, другой—женитьбой, третій-бользнью, четвертый, - нуждой и кровавымъ потомъ работы, видъть вокругъ себя и веселье, и печаль, и смъхъ, и слезы, видъть все это и чувствовать себя чуждымъ всему этому, подобно Въчному Жиду, который, среди волнующейся вокругь него жизни, сознаетъ себя чуждымъ жизни и мечтаеть о смерти, какъ о величайшемъ для него бла:кенствъ: это страданіе не всъмъ поиятное, но оттого не меньше стращное... Молодость, здоровье, богатство, соединенныя съ умомъ, сердцемъ: чего бы кажется больше для жизни и счастья? Такъ думаетъ тупая чернь и пазываеть подобное страдание модной причудой. II чъмъ естествениъе, проще страданіе Онъгина, чъмъ дальше оно отъ всякой эффектности. тъмъ оно менъе могло быть понято и оцънено большинствомъ публики. Въ двадцать шесть лѣтъ такъ много пережить, не вкусивъ жизни, такъ изпемочь, устать, ничего не сдѣлавъ, дойти до такого безусловнаго отрицанія, не перейдя ни черезъ какія убѣжденія: это смерть! Но Онѣгину не суждено было умереть, не отвѣдавъ изъ чаши жизни: страсть сильная и глубокая не замедлила возбудить дремавшія въ тоскѣ силы его духа. Встрѣтивъ Татьяну на балу въ Петербургѣ, Онѣгинъ едва могъ узнать ее, такъ перемѣнилась она! Мужъ Татьяны такъ прекрасно и такъ полно съ головы до ногь охарактеризованный поэтомъ этими двумя стихами:

. . . . И всѣхъ выше И носъ, и плечи поднималъ Вошедшій съ нею генералъ,—

мужъ Татьяны представиль ей Опъгина, какъ своего родственника и друга. Многіе читатели, въ первый разъ читая эту главу, ожидали громозвучнаго оха и обморока со стороны Татьяны, которая, пришедъ въ себя, по ихъ мнѣнію, должна повиснуть на шеѣ у Онѣгина. Но какое разочарованіе для нихъ!

Княгиня смотрить на него...
И что ей душу ни смутило,
Какъ сильно ни была она
Удивлена, поражена,
Но ей ничто не измънило:
Въ ней сохранился тотъ же тонъ;
Былъ такъ-же тихъ ея поклонъ.
Ей-ей! не то, чтобъ содрогнулась,
Иль стала вдругъ блъдна, красна...
У ней и бровь не шевельнулась,
Не сжала даже губъ она.
Хоть онъ глядълъ нельзя прилежный
Но и слъдовъ Татьяны прежней
Не могъ Онъгинъ обръсти.

Съ ней рѣчь хотѣлъ онъ завести И-н не могъ. Она спросила, Давно-ль онъ здёсь, откуда онъ, И не изъ ихъ ли ужъ сторонъ? Потомъ къ супругу обратила Усталый взглядъ; скользнула вонъ... И недвижимъ остался онъ. Ужель та самая Татьяна, Которой онъ наединъ, Въ началъ нашего романа, Въ глухой, далекой сторонъ, Въ благомъ пылу нравоученья, Читалъ когда-то наставленья, Та; отъ которой онъ хранитъ Письмо, гдъ сердне говоритъ, Гдв все наружу, все на волв, Та девочка... иль это сонъ?.. Та дівочка, которой онъ Пренебрегаль въ смиренной доль, Ужели съ нимъ сейчасъ была Такъ равнодушна, такъ смъла?

Что съ нимъ? въ какомъ онъ странномъ снъ?

Что шевельнулось въ глубинъ Души холодной и лъпивой? Досада? суетность? иль вновь Забота юности—любовь?

Не принадлежа къ числу ультра-идеалистовъ, мы охотно допускаемъ въ самыя высокія страсти примѣсь мелкихъ чувствъ, и потому думаемъ, что досада и суетность имѣли свою долю въ страсти Онѣгина. Но мы рѣшительно не согласны съ этимъ миѣніемъ поэта, которое такъ торжественно было провозглашено имъ и которое нашло такой отзывъ въ толпѣ, благо пришлось ей по плечу:

О, люди! всѣ похожи вы На прародительницу Еву: Что вамъ дапо, то не влечетъ; Васъ непрестапно змій зоветь Къ себѣ, къ таинственному древу: Запретный плодъ вамъ подавай, А безъ того вамъ рай не рай.

Мы лучше думаемъ о достоинствъ человъческой натуры, и убъждены, что человъкъ родится не на зло, а на добро, не на преступленіе, а на разумно-законное наслаждение благами бытія; что его стремленія справедливы, инстинкты благородны. Зло скрывается не въ человъкъ, но въ обществъ; такъ какъ общества, понимаемыя въ смыслъ формы человъческаго развитія, еще далеко не достигли своего идеала, то неудивительно, что въ нихъ только и видишь много преступленій. Этимъ же объясняется и то, почему считавшееся преступнымъ въ древнемъ міръ считается законнымъ въ новомъ, и наобороть; почему у каждаго народа и каждаго въка свои попятія о нравственности, законномъ и преступномъ. Человъчество еще далеко не дошло до той степени совершенства, на которой всъ люди, какъ существа однородныя и единымъ разумомъ одаренныя, согласятся между собой въ понятіяхъ объ истинномъ и ложномъ. справедливомъ и несправедливомъ, законномъ и преступномъ, такъ же точно, какъ опи уже согласились, что не солнце вокругъ земли, а земля вокругь солнца обращается, и во множествъ математическихъ аксіомъ. До тъхъ же поръ преступление будетъ только по наружности преступленіемь, а внутренно, существенно-непризнаніемъ справедливости и разумности того или другого закона. Было время, когда родители видъли въ своихъ дътяхъ своихъ рабовъ и считали себя въ правъ насиловать

ихъ чувства и склонности самыя священныя. Теперь, если дъвушка, чувствуя отвращение къ господину благонамъренной наружности, за котораго ее хотять насильно выдать, и любя страстно человъка, съ которымъ ее насильно разлучають, — последуеть влеченію своего сердца и будеть любить того, кого она избрала, а не того, въ чей карманъ или въ чей чинъ влюблены ея дражайшіе родители: пеужели она преступница? Ничто такъ не подчинено строгости внъшнихъ условій, какъ сердце, и ничто такъ не требуеть безусловной воли, какъ сердце же. Даже самое блаженство любви, --что оно такое, если оно согласовано съ внъшними условіями?-Пъсня соловья или жаворонка въ золотой клъткъ. Что такое блаженство любви, признающей только власть и прихоть сердца?— Торжественная пъснь соловья на закатъ солнца въ таинственной съни склонивнихся надъ ръкою ивъ; вольная ивснь жаворонка, который, въ безумномъ упоеніи чувствомъ бытія, то мчится вверхъ стрълой, то падаетъ съ неба, то трепеща крыльями, не двигаясь съ мъста, какъ будто купается и тонетъ въ голубомъ эеиръ... Птица любитъ волю; страсть есть поэзія и цвъть жизни, но что же въ страстяхъ, если у сердца не будеть воли?..

Письмо Онфгина къ Татьянф говорить страстью; въ немъ уже ифть ироніи, ифть свфтской умфренности, свфтской маски. Онфгинъ знаетъ, что онъ можетъ быть подаетъ поводъ къ злобному веселью; но страсть задушила въ немъ страхъ быть смфшнымъ, подать на себя оружіе врагу. И было съ чего сойти съ ума! По наружности Татьяны можно было подумать, что она помирилась съ жизнью ни на чемъ, отъ души поклонилась идолу суеты, —и вътакомъ случаф, конечно, роль Онфгина была бы очень смфшна и жалка. Но въ свфтф наружность никогда и ни

въ чемъ не убъждаетъ; тамъ всъ слишкомъ хорошо владъють искусствомь быть веселыми съ достоинствомъ въ то время, какъ сердце разрывается оть судорогь. Онъгинь могь не безъ основанія предполагать и то, что Татьяна внутренно осталась самой собой, и свъть научиль ее только искусству владъть собой и серьезнъе смотръть на жизнь. Благодатная натура не гибнеть оть свъта, вопреки мнънію мъщанскихъ философовъ; для гибели души и сердца и малый свъть представляеть точно столько же средствъ, сколько и большой. Вся разница въ формахъ, а не въ сущности. И теперь, въ какомъ же свътъ должна была казаться Онъгину Татьяна.—уже не мечтательная дъвушка, повърявшая лунъ и звъздамъ свои задушевныя мысли и разгадывавшая сны по книгъ Мартына Задеки, но женщина, которая знаеть цѣну всему, что дано ей, которая много потребуеть. но много и дасть. Ореоль свътскости не могь не возвысить ее въ глазахъ Онъгина: въ свътъ. какъ и вездъ, люди бываютъ двухъ родовъодни привязываются къ формамъ и въ ихъ исполненіи видять назначеніе жизни. — это чернь: другіе отъ свъта заимствують знаніе людей и жизни, тактъ дъйствительности и способность виолив владвть всвмъ, что дано имъ природой. Татьяна принадлежала къ числу последнихъ. и значеніе свътской дамы только возвышало ея значеніе, какъ женщины. Притомъ же въ глазахъ Онъгина любовь безъ борьбы не имъла инкакой прелести, а Татьяна не объщала ему легкой побъды. И онъ бросился въ эту борьбу безъ надежды на побъду, безъ разсчета со всъмъ безумствомъ искренней страсти, которая такъ и дышить въ каждомъ словъ его письма. Но эта пламенная страсть не произвела на Татьяну никакого впечатленія. После несколькихъ посланій, встрътившись съ ней. Онъгинъ не

зам'втилъ ни смятенія, ни страданія, ни пятенъ слезъ на лицѣ—на немъ отражался лишь слѣдъ гнѣва... Онѣтинъ на цѣлую зиму заперся дома и принялся читать:

И что-жъ? Глаза его читали, Но мысли были далеко; Мечты, желанія печали Тъснились въ душу глубоко. Онъ межь печатными строками Читаль духовными глазами Другія строки. Въ нихъ-то онъ Вылъ совершенно углубленъ. То были тайныя преданья Сердечной; темной старины, Ни съ чъмъ несвязанные сны, Угрозы, толки, предсказанья, Иль длинной сказки вздоръ живой, Иль письма давы молодой. И постепенно въ усыпленье И чувствъ, и думъ впадаетъ онъ, А передъ нимъ воображенье Свой пестрый мечеть фараонъ. То видить онъ: на таломъ снъгъ, Какъ-будто спящій на ночлегь, Недвижимъ юноша лежитъ, И слышить голось: что-жь? убить! То видить онъ враговъ забвенныхъ, Клеветниковъ и трусовъ злыхъ, И рой измвиницъ молодыхъ, И кругъ товарищей презрънныхъ; То сельскій домъ-- и у окна Сидить она... и все она!...

Мы не будемъ распространяться теперь о сценъ свиданія и объясненія Онъгина съ Татьяной, потому что главная роль въ этой сценъ принадлежить Татьянъ, о которой намъ еще предстоить много говорить. Романъ оканчи-

вается отпов'вдью Татьяны, и читатель навсегда разстается съ Онъгинымъ въ самую злую мипуту его жизни... Что же это такое? Гдв же романь? Какая его мысль? И что за романь безъ конца?-Мы думаемъ, что есть романы, которыхъ мысль въ томъ и заключается, что въ нихъ нътъ конца, потому что въ самой дъйствительности бывають событія безь развязки, существованія безъ ціли, существа неопредізленныя, никому непонятныя, даже самимъ себъ, словомъ-то, что по французски называется les étres manqués, les existences avortées. И эти существа часто бывають одарены большими нравственными преимуществами, большими духовными силами; объщають много, исполняють мало, или ничего не исполняють. Это зависить не оть нихъ самихъ: туть есть fatum, заключающійся въ дійствительности, которой окружены они, какъ воздухомъ, и изъ которой не въ силахъ и не во власти человъка освободиться. Другой поэть представиль намъдругого Онъгина подъ именемъ Печорина; Пушкинскій Онъгинъ съ какимъ-то самоотвержениемъ отдался зъвоть; Лермонтовскій Печоринь бьется на смерть съ жизнью и насильно хочеть у нея вырвать свою долю; въ дорогахъ-разница, а результать одинь: оба романа такъ же безъ конца, какъ и жизнь и дъятельность обоихъ поэтовъ...

Что сталось съ Онъгинымъ потомъ? Воскресила ли его страсть для новаго, болъе сообразнаго съ человъческимъ достоинствомъ страданія? Или убила она всъ силы души его, и безотрадная тоска его обратилась въ мертвую холодную апатію?—Не знаемъ, да и на что намъ знать это, когда мы знаемъ, что силы этой богатой натуры остались безъ приложенія, жизнь безъ смысла, а романъ безъ конца? Довольно и этого знать, чтобъ не захотълось больше ничего знать...

Онъгинъ — характеръдъйствительный вътомъ смыслъ, что въ немъ иътъ ничего мечтательнаго, фантастическаго, что онъ могъ быть счастливъ или несчастливъ только въ дъйствительности и черезъ дъйствительность. Въ Ленскомъ Пушкинъ изобразилъ характеръ совершенно противоположный характеръ Совершенно противоположный характеръ Онъгина, характеръ совершенно отвлеченный, совершенно чуждый дъйствительности. Тогда это было совершенно новое явленіе, и люди такого рода тогда дъйствительно начали появляться въ русскомъ обществъ.

Съ душою прямо геттингенской, Красавецъ въ полномъ цвѣтѣ лѣтъ, Поклонникъ Канта и поэтъ, Онъ изъ Гермапін туманной Привезъ учености плоды: Вольнолюбивыя мечты, Духъ пылкій и довольно странный, Всегда восторженную рѣчь И кудри черныя до плечъ.

Онъ пълъ любовь, любви послушный; И пъснь его была ясна, Какъ мысли дъвы простодушной, Какъ сонъ младенџа, какъ луна Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ, Богиня тайнъ и вздоховъ нъжныхъ. Онъ пълъ разлуку и печалъ, И нъчто, и туманну далъ, И романтическія розы; Онъ пълъ тъ дальнія страны, Гдъ долго въ лонъ тишины Лились его живыя слезы; Онъ пълъ поблеклый экизни цеттъ Безъ малаго еъ восемнадцать льтъ.

Ленскій быль романтикь и по натурѣ, и по духу времени. Нѣть нужды говорить, что это

было существо доступное всему прекрасному, высокому, душа чистая и благородная. Но въ то же время «онъ сердцемъ милый быль невъжда», въчно толкуя о жизни, никогда не зналъ ея. Дъйствительность на него не имъла вліянія: его радости и печали были созданіемь его фантазіи. Онъ полюбиль Ольгу,—и что ему была за нужда, что она не понимала его, что, вышедши замужь, она сдълалась бы вторымъ исправленнымъ изданіемъ своей маменьки, что ей все равно было выйти-и за поэта, товарища ея дътскихъ игръ, и за довольнаго собой и своей лошадью улана?—Ленскій украсиль ее достоинствами и совершенствами, приписалъ ей чувства и мысли, которыхъ въ ней не было и о которыхъ она и не заботилась. Существо доброе, милое, веселое—Ольга была очаровательна, какъ и всѣ «барышин», пока онѣ еще не сдълались «барынями», а Ленскій видъль въ ней фею, сильфиду, романтическую мечту. ни мало не подозръвая будущей барыни. Онъ наинсалъ «надгробный мадригалъ» старику Ларину, въ которомъ, върный себъ, безъ всякой ироніи, умъль найти поэтическую сторону. Въ простомъ желанін Онъгина подшутить надъ нимъ онъ увидълъ и измѣну, и обольщеніе, и кровавую обиду. Результатомъ всего этого была его смерть, заранъе воспътая имъ въ туманно романтическихъ стихахъ. Мы нисколько не оправдываемъ Онъгина, который, какъ говорить поэть,

Выль должень оказать себя Не мячикомь предразсужденій, Не пылкимь мальчикомь, бойномь, Но мужемь сь честью и умомь,—

но тиранія и деспотизмъ світскихъ и житейскихъ предразсудковъ таковы, что требують

для борьбы съ собой героевъ. Подробности дуэли Онъгина съ Ленскимъ—верхъ совершенства въ художественномъ отношенін. Поэтъ любилъ этотъ идеалъ, осуществленный имъ въ Ленскомъ, и въ прекрасныхъ строфахъ оплакаль его паденіе:

Друзья мон, вамъ жаль поэта: Во ивътъ радостныхъ надеждъ, Ихъ не свершивъ еще для свъта; Чуть изъ младенческихъ одеждъ, Увяль! Гдф жаркое волненье, Гдъ благородное стремленье И чувствъ, и мыслей молодыхъ, Высокихъ, нѣжныхъ, удалыхъ? Гдъ бурныя любви желанья, И жажда знаній и труда, И страхъ порока и стыда, И вы, завътныя мечтанья, Вы, призракъ жизии неземной, Вы, сны поэзін святой! Быть можеть онь для блага міра, Иль хоть для славы быль рождень; Его умолкнувшая лира Гремучій, непрерывный звонъ Въ въкахъ поднять могла. Поэта, Быть можеть, на ступеняхъ свъта, Ждала высокая ступень, Его страдальческая тынь, Быть можеть, унесла съ собою Святую тайну, и для насъ Погибъ животворящій гласъ, И за могильною чертою Къ ней не домчится гимиъ временъ, Благословенія племенъ. А можеть быть и то: поэта Обыкновенный ждаль удъль. Прошли бы юношества лъта, Въ немъ пылъ души бы охладълъ;

Во многомъ онъ бы измѣнился. Разстался бы съ музами, женился; Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ, Носилъ бы стеганый халатъ; Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ, Подагру-бъ въ сорокъ лѣтъ нмѣлъ, Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ И наконеџъ въ своей постели Скончался-бъ посреди дѣтей, Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей.

Мы убъждены, что съ Ленскимъ сбылось бы пепремънно послъднее. Въ немъ было много хорошаго, но лучше всего то, что онъ былъ молодъ и во время для своей репутаціи умеръ. Это не была одна изъ твхъ натуръ, для которыхъ жить-значить развиваться и итти впередъ. Это, повторяемъ, былъ романтикъ, и больше ничего. Останься онъ живъ, Пушкину нечего было бы съ нимъ дълать, кромъ какъ распространить на цълую главу то, что онъ такъ полно высказалъ въ одной строфъ. Люди, подобные Ленскому, при всъхъ ихъ неоспоримыхъ достоинствахъ, нехороши тъмъ, что они или перерождаются въ совершенныхъ филистеровъ, или, если сохранять навсегда свой первоначальный типъ, дълаются этими устарълыми мистиками и мечтателями, которые такъ же непріятны, какъ и старыя идеальныя дівы, и которые больше враги всякаго прогресса, нежели люди просто, безъ претензій, пошлые. Въчно копаясь въ самихъ себъ и становя себя центромъ міра, они спокойно смотрять па все, что делается въ міре, и твердять о томъ, что счастье внутри насъ, что должно стремиться душой въ надзвъздную сторону мечтаній и не думать о суетахъ этой земли, гдъ есть и голодъ, и нужда, и... Ленскіе не перевелись и теперь; они только переродились. Въ шихъ уже не осталось ничего, что такъ обаятельно прекрасно было въ Ленскомъ; въ нихъ нътъ дъвственной чистоты его сердца, въ нихъ только претензіи на великость и страсть марать бумагу. Всъ они поэты, и стихотворный балласть въ журналахъ доставляется одинми ими. Словомъ, это теперь самые несносные, самые пустые и пошлые люди.

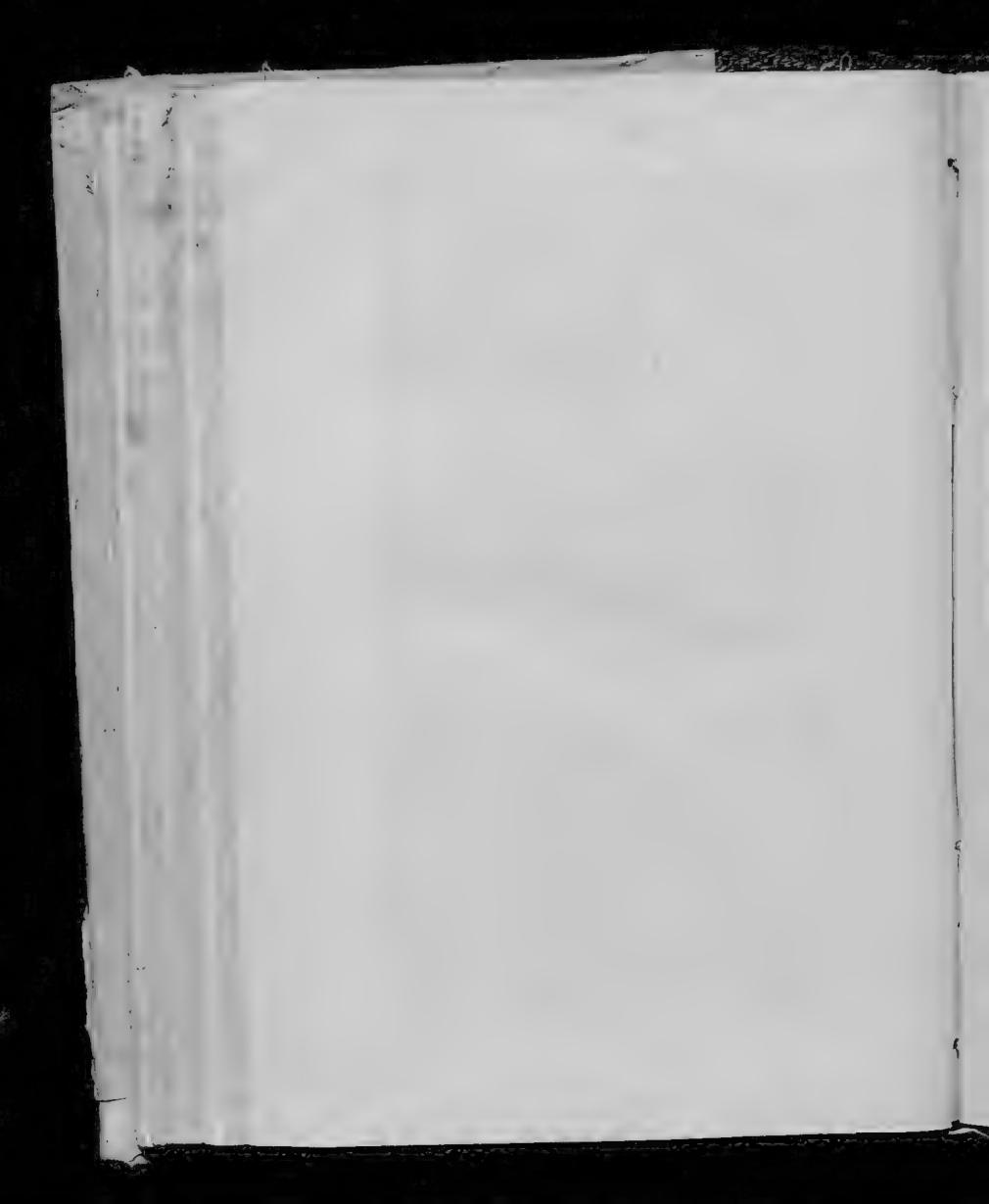
Татьяна... но мы поговоримъ о ней въ слъ-

дующей статьъ.

Великъ подвигъ Пушкина, что онъ первый. въ своемъ романъ поэтически воспроизвелъ русское общество того времени, и въ лицъ Опъгина и Ленскаго показаль его главную, т. е. мужскую, сторону; но едва ли не выше подвигь нашего поэта въ томъ, что онъ первый поэтически произвель, въ лицъ Татьяны, русскую женщину. Мужчина во всъхъ состояніяхъ, во встки слояхи русского общества играеть первую роль; но мы не скажемь, чтобъ женщина нграла у насъ вторую и низшую роль, потому что она ровно никакой роли не играеть. Исключеніе остается только за высшимъ кругомъ, по крайней мъръ до извъстной степени. Давно бы пора намъ сознаться, что, несмотря на нашу страсть во всемъ копировать европейскіе обычаи, несмотря на наши балы съ танцами, несмотря на отчаяние славянолюбовъ, что мы совстви переродились въ нтмцевъ, —песмотря на все это, пора намъ накопецъ признаться, что еще до сихъ поръ мы плохіе рыцари, что наше внимание къ женщинъ, наша готовность жить и умереть для нея до сихъ поръ какъ-то театральны и отзываются модной свътской фразой, и при томъ еще не собственнаго нашего изобрътенія, а заимствованной. Чего добраго! теперь и «поштенное» купечество съ бородой,

оть которой попахиваеть «маненько» капустой и лучкомъ, даже и оно, идя по улицъ съ «хозяйкой», ведеть ее подъ руку, а не толкаеть въ спину колѣномъ, указывая дорогу и заказывая зъвать по сторонамъ; по дома... Однако зачемь говорить, что бываеть дома? зачемь выносить соръ изъ избы?.. Набравшись готовыхъ чужихъ фразъ, кричимъ мы и въ стихахъ, и въ прозъ: «женщина—царица общества; ея очаровательнымъ присутствіемъ украшается общество» и т. п. Но посмотрите на наши общества (за исключеніемъ высшаго свътскаго): вездъ мужчины — сами по себъ, женшины-сами по себъ. И самый отчаянный любезникъ, сидя съ женщинами, какъ-будто жертвуеть собой изъ въжливости; нотомъ встаетъ и съ утомленнымъ видомъ, словно послѣ тяжкой работы, идеть въ комнату мужчинъ, какъ бы для того, чтобы свободно вздохнуть и освъжиться. Въ Европъ женщина — дъйствительно царица общества: весель и гордъ мужчина, съ которымъ она больше говоритъ, чъмъ съ другими. У насъ наобороть: у насъ женщина ждеть, какъ милости, чтобъ мужчина заговорилъ съ нею; она счастлива и горда его винманіемъ. И какъ же быть иначе, если то, что называется тономъ и любезностью, у насъ замѣнено жеманствомъ, если у насъ всѣ любять поэзію только въ книгахъ, а въ жизни боятся ея пуще чумы и холеры. Какъ вы подадите руку дъвушкъ, если она не смъетъ опереться на нее, не испросивъ позволенія у своей маменьки? Какъ вы ръшитесь говорить съ ней много и часто, если знаете, что за это сочтуть вась влюбленнымь въ нее, или даже и огласять ея женихомь? Это значило бы окомпрометировать ее и самому попасть въ бъду. Если васъ сочтутъ влюбленнымъ въ нее, вамъ некуда будеть дъваться отъ лукавыхъ и остроумныхъ намековъ и насмъщекъ друзей вашихъ, оть наивныхъ и добродушныхъ разспросовъ совершенно постороннихъ вамъ людей. Но еще хуже вамъ, когда заключать, что вы хотите жениться на ней: если ея родители не будуть видъть въ васъ выгодной партіи для своей дочери, они откажуть вамъ оть дома и строго запретять дочери быть любезной съ вами въ другихъ домахъ; если они увидять въ васъ выгодную партію, новая бъда, страшнъй прежней: раскинуть съти, ловушки, и вы, пожалуй, увидите себя сочетавшимся законнымъ бракомъ прежде, нежели успъете опомниться и спросить себя: да какъ же и когда же случилось все это? Если же вы человъкъ съ характеромъ и не поддадитесь, то наживете «исторію», которую долго будете помнить. Отчего все это происходить? — Оттого, что у насъ не понимають и не хотять понимать, что такое женщина, не чувствують въ ней никакой потребности, не желають и не ищуть ея, словомъ оттого, что у насъ нъть женщины. У насъ «прекрасный полъ» существуеть только въ романахъ, повъстяхъ, драмахъ и элегіяхъ; но въ дѣйствительности онъ раздъляется на четыре разряда: на дъвочекъ, на невъсть, на замужнихъ женщинъ и наконецъ старыхъ дъвъ и старыхъ бабъ. Первыми, какъ дътьми, никто не интересуется; послъднихъ всъ боятся и ненавидять (и часто подъломъ); слъдовательно нашъ прекрасный полъ состоить изъ двухъ отдъловъ: изъ дъвицъ, которыя должны выйти замужь, и изъ женщинь, которыя уже замужемъ. Русская дъвушка-не женщина въ европейскомъ смыслъ этого слова, не человъкъ: она не что другое, какъ невъста. Еще ребенкомъ она пазываеть своими женихами всъхъ мужчинъ, которыхъ видить въ своемъ домъ, и часто объщаетъ выйти замужъ

за своего папашу, или за своего братца; еще въ колыбели ей говорили и мать и отецъ, и сестры и братья, и мамки и няньки, и весь окружающій ее людъ, что она-невъста, что у ней должны быть женихи. Едва исполнится ей двънадцать лъть, и мать, упрекая ее въ лъности, въ неумъніи держаться и тому подобныхъ недостаткахъ, говорить ей: «не стыдно ли вамъ, сударыня: въдь вы уже невъста!». Удивительно ли послъ этого, что она не умветь, не можеть смотрвть на себя, какъ на женственное существо, какъ на человъка, и видить въ себъ только невъсту? Удивительно ли, что съ раннихъ лътъ до поздней молодости, иногда даже и до глубокой старости всъ думы, всъ мечты, всъ стремленія, всъ молитвы ея сосредоточены на одной idée fixe: на замужествъ, что выйти замужъ ея единственное страстное желаніе, цъль и смыслъ ея существованія, что вив этого она ничего не понимаеть, ни о чемъ не думаеть, ничего не желаеть, и что навсякаго не женатаго мужчину она смотрить опять не какъ на человъка, а только какъ на жениха? И виновата ли она въ этомъ? Съ восемнадцати лътъ она начинаеть уже чувствовать, что она-не дочь своихъ родителей, не любимое дитя ихъ сердца, не радость и счастіе своей семьи, не украшеніе своего родного крова, а тягостное бремя, готовый залежаться товаръ, лишняя мебель, которая того и гляди спадеть съ цвны и не сойдеть съ рукъ. Что же остается ей дълать, если не сосредоточить всъхъ своихъ способностей на искусствъ ловить жениховъ? И тъмъ болъе, что только въ одномъ этомъ отношении н развиваются ея способности, благодаря урокамъ «дражайшихъ родителей», милыхъ тетушекъ, кузинъ и т. д. За что больше всего упрекаеть и бранить свою дочь попечительная ма-



дъйствительно влюблена въ него. Болъзненное стремленіе къ замужеству и радость достиженія способны въ одну минуту возбудить любовь въ сердцъ, которое такъ давно уже раздражено тайными и явными мечтами о бракъ. Притомъ же, когда дъло къ спъху и торопятъ, то поневолъ влюбитесь сразу, и не имъя времени спросить себя, точно ли вы любите, или вамъ только кажется, что любите... Но «дражайшіе родители» учили свою дочь только некусству во что бы то ин стало выйти замужъ; подготовить же ее къ состоянію замужества, объяснить ей обязанности жены, матери, сдълать ее способной къ выполнению этой обязанности, — они не думали. И хорошо сдълали: нъть ничего безполезнъе и даже вреднъе, какъ наставленія, хотя бы и самыя лучшія, если онн не подкрѣпляются примърами, не оправдываются въ глазахъ ученика всей совокупностью окружающей его дъятельности. «Я вамъ примѣръ, сударыня!»-безпрестанно повторяетъ диктаторскимъ тономъ мать своей дочери. П дочь преспокойно копируеть свою мать, готовя въ своей особъ свъту и будущему мужу второй экземпляръ своей маменьки. Если ея мужь-человъкъ богатый, онъ будеть доволенъ своей женой: домъ у нихъ, какъ полная чаша, всего много, хотя все безвкусно, нелъпо, грязно, пыльно, въ безпорядкъ, вычищается только передъ большими праздниками (и тогда въ домъ подымается возня, дълается вавилонское столпотвореніе въ лицахъ); дворня огромная, слугь бездна, а не у кого допроситься стакана воды, некому подать вамъ чашку чаю. А недавняя невъста, теперь молодая дама?— О, она живеть въ «полномъ удовольствін!», она наконецъ достигла цъли своей жизни,она уже не сирота, не пріемышъ, не лишнее бремя въ родительскомъ домъ; она хозяйка у

себя дома, сама себъ госпожа, пользуется полной свободой, вздить куда и когда хочеть. принимаеть у себя кого ей угодно; ей уже не нужно болъе притворяться то невинной овечкой, то кроткимъ ангеломъ; она можетъ капризничать, падать въ обморокъ, повелъвать, мучить мужа, дътей, слугь. У ней бездна затьй: карета-не карета, шаль-не шаль, дорогихъ игрушекъ вдоволь; она живетъ барыней-аристократкой, никому не уступаеть, но всъхъ превосходить, и мужъ ея едва успъваеть закладывать и перезакладывать имфије... Дитя поваго поколънія, она убрала по возможности пышно, хотя и безвкусно, залу и гостиную, кое-какъ наблюдаеть въ нихъ даже какую-то полу-чистоту, полу-опрятность: въдь это комнаты для гостей, комнаты парадныя, комнаты на-показъ; полное торжество грязи можетъ быть только въ спальной и дътской, въ кабинетъ мужа, --- словомъ, во внутреннихъ комнатахъ, куда гости не ходятъ. А у ней безпрестанно гости, возлъ нея безпрестанио кружокъ: но она плъняетъ гостей своихъ не свътскимъ умомъ, не граціей своихъ манеръ, не очарованіемъ своего увлекательнаго разговора, -- нъть, она только старается показать имъ, что у нея всего много, что она богата, что у ней все лучшее-и убранство комнать, и угощеніе, и гости, и лошади, что она не ктонибудь, что такихъ, какъ она, немного... Содержаніе разговоровь составляють сплетни и наряды, наряды и сплетни. Богь благословиль ея замужество-что ни годъ, то ребенокъ. Какъ же она будеть воспитывать дътей своихъ?--Да точно такъ же, какъ сама была воспитана своей маменькой: пока малы, они прозябають вь дътской, среди мамокь и иянекъ, среди горничныхъ, на лонъ холопства, которое должно внущить имъ первыя правила

нравственности, развить въ нихъ благородные инстинкты, объяснить имъ различіе домового оть лешаго, ведьмы оть русалки, растолковать разныя приміты, разсказать всевозможныя исторіи о мертвецахъ и оборотняхъ, выучить ихъ браниться и драться, лгать не краснья, пріучить безпрестанно всть, никогда не наздаясь. И милыя дти очень довольны сферой, въ которой живуть: у нихъ есть фавориты между прислугой, и есть нелюбимые; они живуть дружно съ первыми, ругають и колотять послъднихъ. Но воть они подросли: тогда отецъ делаеть что хочеть съ мальчиками, а девочекъ поучать прыгать и шнуроваться, немножко брешчать на фортешано, немножко по-французски-и воспитаніе кончено: тогда имъ одна наука, одна забота-ловить жениховъ.

Но если наша невъста выйдеть за человъка небогатаго, хотя и не бъднаго, но живущаго немного выше своего состоянія, посредствомъ умвнія строгимь порядкомь сводить концы съ концами: тогда горе ея мужу! Она въ своей деревнъ никогда ничего не дълала (потому что баришня въдь не холопка какая-нибудь, чтобъ стала что-нибудь дълать), ничъмъ не занималась, не знаеть хозяйства, а что такое порядокъ, чистота, опрятность въ домѣ, --этого она нигдъ не видала, объ этомъ она ни отъ кого не слыхала. Для нея выйти замужь-значить сдълаться барыней; стать хозяйкой—значить повельвать всыми въ домы и быть полной госпожей своихъ поступковъ. Ея дъло-не сберегать, не выгадывать, а нокупать и тратить, наряжаться и франтить.

И неужели вы обвините ее во всемъ этомъ? Накое имъете вы право требовать отъ нея, чтобъ она была не тъмъ, чъмъ сами же вы ее сдълали? Можете ли вы обвинять даже ея родителей? Развъ не вы сами сдълали изъ женщины только невъсту и жену, и ничего болъе? Развъ когда-нибудь подходили вы къ ней безкорыстно, просто, безъ всякихъ видовъ, для того только, чтобъ насладиться этимъ ароматомъ, этой гармоніей женственнаго существа, этимъ поэтическимъ очарованіемъ присутствія и общества женщины, которыя такъ кротко, успоконтельно и обаятельно дъйствують на жестокую натуру мужчины? Желали-ль вы когда-нибудь имъть друга въ женщинъ, въ которую вы совсемь не влюблены, сестру въ женщинъ вамъ посторонией?-- Нътъ! если вы входите въ женскій кругь, то не иначе, какъ для выполненія обычая, приличія, обряда; если танцуете съ женщиной, то потому только, что мужчинамъ танцовать съ мужчинами не принято. Если вы обращаете на одну женщину исключительное свое внимание, то всегда съ положительными видами-ради женитьбы или волокитства. Вашъ взглядъ на женщину чисто утилитарный, почти коммерческій: она для васъ-капиталъ съ процентами, деревня, домъ съ доходомъ; если не это, такъ кухарка, прачка, ключница, няпька, много, много, если одалиска...

Конечно, изъ всего этого бывають исключенія; но общество состоить изъ общихъ правиль, а не изъ исключеній, которыя всего чаще бывають бользненными наростами на тыль общества. Эту грустную истину всего лучне подтверждають собой наши такъ называемыя «идеальныя дывы». Онто обыкновенно страстныя любительницы чтенія, и читають много и скоро, такть книги. Но какъ и что читають они, Боже великій!.. Всего достолюбезные въ идеальныхъ дывахъ увтренность ихъ, что онто понимають то, что читають, и что чтеніе приносить имъ большую пользу.

Всв онв обожательницы Пушкина, - что однако-жъ не мъщаетъ имъ отдавать должную справедливость и таланту Бенедиктова; иныя нзъ нихъ съ удовольствіемъ читаютъ даже Гоголя, - что однако-жъ нисколько не мъшаеть имъ восхищаться повъстями Марлинскаго и Полевого. Все, что въ ходу, о чемъ нишуть и говорять въ настоящее время, все это сводить ихъ съ ума. Но во всемъ этомъ онъ видять свою любимую мысль, оправданіе своей настроенности, т. е. идеальность, -- видять ее даже и тамъ, гдв ея вовсе нътъ, или гдъ она осмъивается. У всъхъ у нихъ есть завътныя тетрадки, куда онъ списываютъ стишки, которые имъ нравятся, мысли, которыя поразять ихъ въ книгъ. Онъ любять гулять при лунъ, смотръть на звъзды, слъдить за теченіемъ ручейка. Онъ очень наклонны къ дружбъ, и каждая ведетъ дъятельную переписку съ своей пріятельницей, которая живеть съ ней въ одной деревив, а циотда и въ одномъ домъ, только въ разныхъ комнатахъ. Въ перепискъ (огромными тетрадищами) сообщають онв другь другу свой чувства, мысли, впечатлънія. Сверхъ того каждая изъ нихъ ведеть свой дневникъ, весь наполненный «выписными чувствами», въ которыхъ (какъ во всъхъ дневникахъ идеальныхъ и внутреннихъ патуръ мужеска и женска пола) нътъ ничего живого, истиниаго: только претензіи и идеальничанье. Онъ презирають толпу и землю, питають непримиримую ненависть ко всему матеріальному. Эта ненависть у нихъ часто простирается до желанія вовсе отръшиться оть матерін. Для этого онъ морять себя голодомъ, не ъдять нногда по цълой недълъ, жгутъ на свъчкъ нальцы, кладуть себъ на грудь подъ платье сивгу, пьють уксусь и чернила, отучають

себя отъ сна, — и этимъ стремленіемъ къ высшему, идеальному существованію до успъвають разстронть свои нервы, что скоро превращаются въ одну живую и самую матеріальную болячку... В'єдь крайности сходятся! Всв простыя человъческія и особенно женскія чувства, какъ напр. страстность, способная къ увлеченію чувствъ, любовь материнская, склонность къ мужчинъ, въ которомъ нътъ ничего необыкновеннаго, геніальнаго, который не гонимъ несчастіемъ, не страдаеть, не болень, не бъдень, всъ такія простыя чувства кажутся имъ пошлыми, ничтожными, смъшными и презрънными. Особенно интересны понятія «идеальныхъ дѣвъ» о любви. Всв онв-жрицы любви, думають, мечтають, говорять и нишуть только о любви. Но онъ признають только любовь чистую, неземную, идеальную, платоническую. Бракъ есть профанація любви въ ихъ глазахъ; счастье—опошленіе любви. Имъ непремѣнно надо любить въ разлукъ, и ихъ высочаншее блаженство-мечтать при лунь о предметь своей любви и думать: «можеть быть въ эту минуту и онг смотрить на луну и мечтаеть обо мнв: такъ для любви нътъ разлуки»! Жалкія рыбы съ холодной кровью, идеальныя дѣвы считають себя птицами; плавая въ мутной водъ искусственной нервической экзальтаціи, онъ думають, что парять въ облакахъ высокихъ чувствъ и мыслей. Имъ чуждо все простое, истинное, задушевное, страстное; думая любить все «высокое и прекрасное», онъ любять только себя; онъ и не подозръвають, что только тышать свое мелкое самолюбіе трескучими шутихами фантазіи, думая быть жрицами любви и самоотверженія. Многія изъ нихъ не прочь бы и отъ замужества, и при нервой возможности вдругь измѣняють свои убѣжденія, и изъ идеальныхъ дівь скоро дівлаются самыми простыми бабами; но въ иныхъ, способность обманывать себя призраками фантазін доходить до того, что онв на всю жизнь остаются восторженными девственницами, и такимъ образомъ до семидесяти лътъ сохраняють способность къ сентиментальной экзальтацін, къ нервическому идеализму. Самыя лучшія изъ этого рода женщинъ рано или поздно образумливаются; но прежнее ложное направленіе навсегда дълается чернымъ демономъ ихъ жизни и подобно остаткамъ дурно залъченной бользни отравляеть ихъ спокойствіе и счастье. Ужасиве всѣхъ другихъ тв изъ идеальныхъ дввъ, которыя не только не чуждаются брака, но въ бракъ сь предметомъ любви своей видять высшее земное блаженство: при ограниченности ума, при отсутствіи всякаго нравственнаго развитія и при испорченности фантазін, онъ создають свой идеаль брачнаго счастья, —и когда увидять невозможность осуществленія ихъ пельпаго идеала, то вымещають на мужьяхъ горечь своего разочарованія.

Идеальными дѣвами всѣхъ родовъ бываютъ по большей части дѣвицы, которыхъ развитіе было предоставлено имъ же самимъ. И какъ винить ихъ въ томъ, что, вмѣсто живыхъ существъ, изъ нихъ выходятъ нравственные уроды? Окружающая ихъ положительная дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ очень пошла, и ими невольно овладѣваетъ неотразимое убѣжденіе, что хорошо только то, что не похоже, что діаметрально противоположно этой дѣйствительности. А между тѣмъ самобытное, не на почвѣ дѣйствительности, не въ сферѣ общества совершающееся развитіе всегда доводитъ до уродства. И такимъ образомъ имъ предстоятъ двѣ крайности: или быть пошлыми

на общій манеръ, быть пошлыми какъ всѣ, или быть пошлыми оригинально. Онѣ избирають послѣднее, но думають, что съ земли перепрыгнули за облака, тогда какъ въ самомъ-то дѣлѣ только перевалились изъ положительной пошлости въ мечтательную пошлость. И что всего грустнѣе: между подобными песчастными созданіями бывають натуры, не лишенныя истинной потребности болѣе или менѣе человѣчески-разумнаго существованія

и достойныя лучшей участи.

Но среди этого міра нравственно-ув'вчныхъ явленій изръдка удаются истинно-колоссальныя исключенія, которыя всегда дорого платятся за свою исключительность и дълаются жертвами собственнаго своего превосходства. Натуры геніальныя, не подозрѣвающія своей геніальности, опъ безжалостно убиваются безсознательнымъ обществомъ, какъ очистительная жертва за его собственные гръхи... Такова Татьяна Пушкина. Вы коротко знакомы съ почтеннымъ семействомъ Лариныхъ. Отецъне то, чтобъ ужъ очень глупъ, да и не совсъмъ уменъ; не то, чтобъ человъкъ, да и не звърь, а что-то въ родъ полипа, принадлежащаго въ одно и то же время двумъ царствамъ природырастительному и животному,

Онъ быль простой и добрый баринь, И тамъ, гдъ прахъ его лежить, Надгробный памятникъ гласить: Смиренный гръшникъ Дмитрій Ларинъ, Господній рабъ и бригадиръ, Подъ камнемъ симъ вкушаетъ миръ.

Этоть миръ, вкущаемый подъ камнемъ, былъ продолжениемъ того же самаго мира, которымъ «добрый баринъ» наслаждался при жизни подъ татарскимъ халатомъ. Бываютъ на свътъ

такіе люди, въ жизни и счастіи которыхъ смерть не производить ровно никакой перемъны. Отецъ Татьяны принадлежалъ къ числу такихъ счастливцевъ. Но маменька ея стояла на высшей ступени жизни сравнительно съ своимъ супругомъ. До замужества она обожала Ричардсона, не потому, чтобъ прочла его, а потому, что оть своей московской кузипы наслышалась о Грандиссонъ. Помолвленная за Ларина, она втайит вздыхала о другомъ. Но ее повезли къ вънцу, не спросившись ея совъта. Въ деревнъ мужа она сперва терзалась и рвалась, а потомъ привыкла къ своему положенію и даже стала имъ довольна, особенно съ тъхъ поръ, какъ постигла тайну самовластно управлять мужемъ.

> Она фажала по работамъ, Солила на зиму грибы, Вела расходы, брила лбы, Ходила въ баню по субботамъ, Служанокъ била, осердясь, Все это мужа не спросясь. Бывало писывала кровью Она въ альбомы нфжныхъ дфвъ, Звала Полиною Прасковью И говорила нараспъвъ; Корсеть носила очень узкій, И русскій H, какъ N французскій, Произносить умъла въ носъ. Но скоро все перевелось: Корсеть, альбомъ, княжну Полину, Стишковъ чувствительныхъ тетрадь Она забыла; стала звать Акулькой прежнюю Селину И обновила наконецъ На ватъ шлафрокъ и чепецъ.

Словомъ, Ларины жили чудесно, какъ живутъ на этомъ свътъ цълые милліоны людей. Одно-

образіе семейной ихъ жизии нарушалось го стями:

Подъ вечеръ иногда сходилась Сосъдей добрая семья, Неџеремонныя друзья, И потужить, и позлословить, И посмъяться кой о чемъ.

Ихъ разговоръ благоразумной О сънокосъ, о винъ, О псарнъ, о своей роднъ Конечно не блисталъ ни чувствомъ, Ни поэтическимъ огнемъ, Ни остротою, ни умомъ, Ни общежитія искусствомъ, Но разговоръ ихъ милыхъ женъ Еще былъ менъе ученъ.

И воть кругь людей, среди которыхъ родилась и выросла Татьяна! Правда, туть были два существа, ръзко отдълявшіяся оть этого круга—сестра Татьяны, Ольга, и женихъ послъдней, Ленскій. Но и не этимъ существамъ было понять Татьяну. Она любила ихъ просто, сама не зная за что, частью по привычкъ, частью по тому, что они еще не были пошлы; но она не открывала имъ внутренняго міра души своей; какое-то темное, инстинктивное чувство говорило ей, что они-люди другого міра, что они не поймуть ея. И дійствительно, поэтическій Ленскій далеко не подозрѣвалъ, что такое Татьяна: такая женщина была не по его восторженной натуръ и могла ему казаться скоръе странной и холодной, нежели поэтической. Ольга еще менфе Ленскаго могла понять Татьяну. Ольга—существо простое, непосредственное, которое никогда ни о чемъ не разсуждало, ни о чемъ не спращивала, которому все было ясно и понятно по привычкъ и которое все зависъло отъ привычки. Она очень плакала о смерти Ленскаго, но скоро утъшилась, вышла за улана и изъ граціозной и милой дівочки сділалась дюжинной барыней, повторивъ собою свою маменьку, съ небольшими измъненіями, которыхъ требовало время. Но совстви не такъ легко опредълить характеръ Татьяны. Натура Татьяны не многосложна, но глубока и сильна. Въ Татьянъ нъть этихъ бользненныхъ противоръчій, которыми страдають слишкомъ сложныя натуры; Татьяна создана какъ будто вся изъ одного цъльнаго куска, безъ всякихъ придълокъ и примъсей. Вся жизнь ея проникнута той цълостностью, твмъ единствомъ, которое въ міръ искусства составляеть высочайшее достоинство художественнаго произведенія. Страстно влюбленная, простая деревенская дівушка, потомъ свътская дама, Татьяна во всъхъ положеніяхъ своей жизни всегда одна и та же; портреть ея въ детстве, такъ мастерски написанный поэтомъ, впоследствіи является только развившимся, но не измънившимся,

> Дика, печальна, молчалива, Какъ лань лъсная боязлива, Она въ семьъ своей родной Казалась дъвочкой чужой. Она ласкаться не умъла Къ отџу,ни къ матери своей; Дитя сама, въ толпъ дътей Играть и прыгать не хотъла, И часто џълый день одна Сидъла молча у окна.

Задумчивость была ея подругой съ колыбельныхъ дней, украшая однообразіе ея жизни; пальцы Татьяны не знали иглы, и даже ребенкомъ она не любила куколъ, и ей чужды были дътскія шалости; ей былъ скученъ и шумъ, и звопкій смъхъ дътскихъ игръ; ей больше нравились страшные разсказы въ зимній вечеръ. П потому она скоро пристрастилась къ романамъ, и романы поглотили всю жизнь ея.

Она любила на балконѣ
Предупреждать зари восходъ,
Когда на блѣдномъ небосклонѣ
Звѣздъ исчезаетъ хороводъ,
И тихо край земли свѣтлѣетъ,
И, вѣстникъ утра, вѣтеръ вѣетъ,
И всходитъ постепенно день.
Зимой, когда ночная тѣнь
Полміромъ долѣ обладаетъ,
И долѣ въ праздной тишинѣ,
При отуманенной лунѣ,
Востокъ лѣнивый почнваетъ,
Въ привычный часъ пробуждена,
Вставала при свѣчахъ она!

Итакъ, лѣтнія ночи посвящались мечтательности, зимнія—чтенію романовъ,—и это среди міра, имѣвшаго благоразумно привычку громко храпѣть въ это время! Какое противорѣчіе между Татьяной и окружающимъ ее міромъ! Татьяна—это рѣдкій, прекрасный цвѣтокъ, случайно выросшій въ разсѣлинѣ дикой скалы

Незнаемый въ травѣ глухой Ни мотыльками, ни пчелой.

Эти два стиха, сказанные Пушкинымъ объ Ольгъ, гораздо больше идутъ къ Татьянъ. Какіе мотыльки, какія пчелы могли знать этотъ цвътокъ или илъняться имъ? Развъ безобразные слъпин, оводы и жуки, въ родъ Пыхтина, Буянова, Пътушкова и тому подобныхъ? Да,

такая женщина, какъ Татьяна, можеть плънять только людей, стоящихъ на двухъ крайнихъ ступеняхъ нравственнаго міра, или такихъ, которые были бы въ уровень съ ея натурой, и которыхъ такъ мало на свътъ, или людей совершенно пошлыхъ, которыхъ такъ много на свътъ. Этимъ послъднимъ Татьяна могла нравиться лицомъ, деревенской свъжестью и здоровьемъ, даже дикостью своего характера, въ которой они могли видъть кротость, послушливость и безотвътность въ отношении къ будущему мужу, жачества, драгоцвиныя для ихъ грубой животности, не говоря уже о разсчетахъ на приданое, на родство и т. п.Стоящіе же въ серединъ между этими двумя разрядами людей всего менъе могли оцънить Татьяну. Надобно сказать, что всв эти серединныя существа, занимающія м'єсто между высшими натурами и чернью человъчества, эти таланты, служащіе связью геніальности сь толпой, по большей части—все люди «идеальные», подстать идеальнымъ давамъ, о которыхъ мы говорили выше. Эти идеалисты думають о себъ. что они исполнены страстей, чувствъ, высокихъ стремленій, но въ сущности все діло заключается въ томъ, что у нихъ фантазія развита насчеть всъхъ другихъ способностей, преимущественно разсудка. Въ нихъ есть чувство, но еще больше септиментальности, и еще больше охоты и способности наблюдать свои ощущенія и візчно толковать о нихъ. Въ нихъ есть и умъ, но не свой, а вычитанный, книжный, и потому въ ихъ умѣ часто бываетъ много блеска, но никогда не бываеть дъльности. Главное же, что всего хуже въ нихъ, что составляетъ ихъ самую слабую сторону, ихъ ахиллесовскую пятку, --- это то, что въ нихъ нътъ страстей, за исключеніемъ только самолюбія, и то мелкаго. которое ограничивается въ нихъ тъмъ, что они

бездъятельно и безплодно погружены въ созерцание своихъ внутреннихъ достоинствъ. Натуры теплыя, но такъ же не холодныя, какъ и не горячія, онъ дъйствительно обладають жалкой способностью вспыхивать на минуту оть всего и ни отъ чего. Поэтому онъ только и толкують, что о своихъ пламенныхъ чувствахъ, объ огнъ, пожирающемъ ихъ душу, о страстяхъ, обуревающихъ ихъ сердце, не подозръвая, что все это дъйствительно буря, но только не на моръ, а въ стаканъ воды. И нътъ людей, которые бы менъе ихъ способны были оцънить истинное чувство, понять истинную страсть, разгадать человъка, глубоко чувствующаго, неподдъльно страстнаго. Такіе люди не поняли бы Татьяны: они ръшили бы всъ въ голосъ, что если она не дура пошлая, то очень странное существо, и что во всякомъ случав она холодна какъ ледъ, лишена чувства и неспособна къ страсти. И какъ же иначе? Татьяна молчалива, дика, ничъмъ не увлекается, ничему не радуется, ни отъ чего не приходить въ восторгь, ко всему равнодушна, ни къ кому не ласкается, ни съ къмъ не дружится, никого не любить, не чувствуеть потребности перелить въ другого свою душу, тайны своего сердца, а главное-не говорить ни о чувствахъ вообще, ни о своихъ собственныхъ въ особенности?... Если вы сосредоточены въ себъ и на вашемъ лицъ нельзя прочесть внутренняго пожирающаго васъ огня, -- мелкіе люди, столь богатые прекрасными мелкими чувствами, тотчасъ объявять вась существомъ холоднымъ, эгонстомъ, отнимуть у вась сердце и оставять при васъ одинъ умъ, особенно, если вы имъете наклонность иронизировать надъ собственнымъ чувствомъ, хотя бы то было изъ цъломудреннаго желанія замаскировать его, не любя имъ ни играть, ни щеголять...

Повторяемъ: Татьяна-существо исключительное, натура глубокая, любящая, страстная. Любовь для нея могла быть или величайщимъ блаженствомъ, или величайщимъ бъдствіемъ жизни, безъ всякой примирительной середины. При счастіи взаимности, любовь такой женщины—ровное, свътлое пламя; въ противномъ случат, упорное пламя, которому сила воли можеть быть не позволить прорваться наружу, но которое темь разрушительнее и жгучве, чвмъ больше оно сдавлено внутри. Счастливая жена, Татьяна спокойно, но тъмъ не менве страстно и глубоко любила бы своего мужа, вполнъ пожертвовала бы собою дътямъ, вся отдалась бы своимъ материнскимъ обязанностямь, но не по разсудку, а опять по страсти, и въ этой жертвъ, въ строгомъ выполненіи своихъ обязанностей, нашла бы свое величайшее наслаждение, свое верховное блаженство. И все это безъ фразъ, безъ разсужденій, съ этимъ спокойствіемъ, съ этимъ внышнимь безстрастіемь, сь этой наружной холодностью, которыя составляють достоинство и величіе глубокихъ и сильныхъ натуръ. Такова Татьяна. Но это только главныя и, такъ сказать, общія черты ея личности: взглянемъ на форму, въ которую вылилась эта личность, посмотримь на тв особенности, которыя составляють ея характерь.

Создаеть человъка природа, но развиваеть и образуеть его общество. Никакія обстоятельства жизни не спасуть и не защитять человъка оть вліянія общества, нигдъ не скрыться, никуда не уйти ему оть него. Самое усиліе развиться самостоятельно, внъ вліянія общества, сообщаеть человъку какую-то странность, придаеть ему что-то уродливое, въ чемь опять видна печать общества же. Воть почему у насъ люди съ дарованіями и

хорошими природными расположеніями часто бывають самыми несносными людьми, и воть почему у насъ только геніальность спасаеть человъка отъ пошлости. По этому же самому у насъ такъ мало истинныхъ, и такъ много книжныхъ, вычитанныхъчувствъ, страстей и стремленій, словомъ, —такъ мало истины и жизнивъчувствахъ, страстяхъ и стремленіяхъ, и такъ много фразерства во всемъ этомъ. Повсюду распространяющееся чтеніе приносить памъ величайшую пользу: въ немъ наше спасеніе и участь нашей будущности; но въ немъ же съ другой стороны и много вреда, такъ же, какъ и много пользы для настоящаго. Объяснимся. Наше общество, состоящее изъ образованныхъ сословій, есть плодъ реформы. Оно помнить день своего рожденія, потому что опо существовало оффиціально прежде, нежели стало существовать дъйствительно; потому что наконецъ это общество долго составляль не духъ, а покрой платья, не образованность, а привилегія. Оно началось такъ же, какъ и наша литература: копированіемъ иностранныхъ формъ безъ всякаго содержанія, своего или чужого, потому что оть своего мы отказались, а чужого не только принять, по и попять не были въ состояніи. Были у французовъ трагедіи: давай и мы писать трагедіп, и Сумароковъ въ одномъ лицъ своемъ совмъстилъ и Корнеля, и Расина, и Вольтера. Былъ у французовъ знамешитый баспописецъ Лафонтенъ, и опять тоть же Сумароковь, по словамь его современниковъ, своими притчами далеко обогналъ Лафонтена. Такимъ же точно образомъ въ самое короткое время обзавелись мы своими доморощенными Пиндарами, Гораціями, Анакреонами, Гомерами, Виргиліями и т. п. Иностранныя произведенія всв наполнены были любовными чувствами, любовными приключеніями: имы давай темъ же наполнять наши сочиненія. Но тамъ поззія книги была отраженіемъ поэзін жизни, любовь стихотворная была выраженіемъ любви, составлявшей жизнь и поэзію общества: у насъ любовь вошла только въ книгу, да въ ней и осталась. Это болъе или менъе продолжается и теперь. Мы любимъ читать страстные стихи, романы, повъсти и теперь подобное чтеніе не считается предосудительнымъ даже для дъвушекъ. Иныя изъ нихъ даже сами кропаютъ стишки, и иногда недурные. Итакъ, говорить о любви, читать и писать о ней у насъ любять многіе; но любить... Это дъло другого рода! Оно конечно, если съ позволенія родителей, если страсть можеть увънчаться законнымъ бракомъ, то почему же и не любить! Многіе не только не считають это излишнимь, но даже считають необходимымъ п, женясь на приданомъ, толкують о любви... Но любить потому только, что сердце жаждеть любви, любить безъ надежды на бракъ, всемъ жертвовать увлекающему пламени страсти-помилуйте, какъ можно! въдь это значить сдълать «исторію», произвести скандаль, стать сказкой общества, предметомъ оскорбительнаго винманія, осужденія, презрѣнія; сверхъ того приличіе, правила нравственности, общественная мораль... А! такъ вы люди сколько осторожные и благоразумно предусмотрительные, столько и нравственные! Это хорошо; но зачемъ же вы противоръчите себъ своей охотою къ стихамъ и романамъ, своей страстью къ патетической драмъ?-Но то поэзія, а то жизнь; зачьмъ мъшать ихъ между собою, пусть каждая идетъ своей дорогой: пусть жизнь дремлеть въ апатін, а поэзія снабжаеть ее занимательными снами. Воть это другое дъло!..

Но худо то, что изъ этого другого дъла необходимо родится третье, довольно уродливое. Когда между жизнью и поэзіей нъть естественной, живой связи, тогда изъ ихъ враждебно отдъльнаго существованія образуется поддъльно-поэтическая и въ высшей степени бользненная, уродливая дъйствительность. Одна часть общества, върная своей родной апатіи, спокойно дремлеть въ грязи грубо-матеріальнаго существованія; зато другая, пока еще меньшая числительно, но уже довольно значительная, изъ всъхъ силъ хлопочеть устроить себъ поэтическое существованіе, сочетать поэзію съ жизнью. Это у нихъ дълается очень просто и очень невинно. Не видя никакой поэзіи въ обществъ, они беруть ее изъ книгъ и по ней соображають свою жизнь. Поэзія говорить, что любовь есть душа жизни: итакъ, — надо любить! Силлогизмъ въренъ, само сердце за него вмъстъ съ умомъ! И вотъ нашъ идеальный юноша или наша идеальная двва ищеть, въ кого бы влюбиться. По долгомъ соображеніи, въ какихъ глазахъ больше поэзіи, въ голубыхъ или черныхъ, предметь паконецъ избранъ. Начинается комедія-и пошла потѣха! Въ этой комедіи есть все: и вздохи, и слезы, и мечты, и прогулки при лунъ, и отчаяніе, и ревность, и блаженство, и объясненіе, все, кромъ истины чувства... Удивительно ли, что последній акть этой шутовской комедіи всегда оканчивается разочарованіемъ, и въ чемъ же?въ собственномъ своемъ чувствъ, въ своей способности любить?.. А между тъмъ подобное книжное направление очень естественно: не книга ли заставила добраго, благороднаго и умнаго помъщика Манчекаго едълаться рыцаремъ донъ-Кихотомъ, надъть бумажную кольчугу, взобраться на тощаго Россинанта н пуститься отыскивать по свъту прекрасную

Дульцинею, мимоходомъ сражаясь съ баранами и мельницами? Между поколъніями отъ двадцатыхъ годовъ до настоящей минуты сколько было у насъ разныхъ донъ-Кихотовъ? У насъ были и есть донъ-Кихоты любви, науки, литературы, убъжденій, славянофильства и еще Богъ знаетъ чего, всего не перечесть! Выше мы говорили объ идеальныхъ дъвахъ; а сколько можно сказать интереснаго объ идеальныхъ юношахъ! Но предметъ такъ богатъ и неистощимъ, что лучше не касаться его, чтобъ совсъмъ не потерять изъ виду Татьяны

Пушкина.

Татьяна не избъгла горестной участи подпасть подъ разрядъ идеальныхъ дъвъ, о которыхъ мы говорили. Правда, мы сказали, что она представляеть собою колоссальное исключение въ міръ подобныхъ явленій, -- и теперь не отпираемся отъ своихъ словъ. Татьяна возбуждаеть не смѣхъ, а живое сочувствіе. но это не потому, чтобъ она вовсе не походила на «идеальныхъ дъвъ», а потому. что ея-глубокая, страстная натура заслонила въ ней собой все, что есть смъшного и пошлаго въ идеальности этого рода, и Татьяна осталась естественно простой въ самой искусственности и уродливости формы, которую сообщила ей окружающая ее дъйствительность. Съ одной стороны---

Татьяна върила преданьямъ
Простонародной старины,
И снамъ, и карточнымъ гаданьямъ,
И предсказаніямъ луны.
Ее тревожили примъты:
Таинственно ей всъ предметы
Провозглащали что-нибудь,
Предчувствія тъснили грудь.

Съ другой стороны, Татьяна любила бродить по полямъ,

Съ печальной думою въ очахъ, Съ французской книжкою въ рукахъ.

Это дивное соединение грубыхъ, вульгарныхъ предразсудковъ со страстью къ французскимъ книжкамъ и съ уваженіемъ къ глубокому творенію Мартына Задеки возможно только въ русской женщинъ. Весь внутренній міръ Татьяны заключался въ жаждъ любви; ничто другое не говорило ея душт; умъ ея спалъ, и только развѣ тяжкое горе жизии могло потому разбудить его, -- да и то для того, чтобъ сдержать страсть и подчинить ее разсчету благоразумной морали... Дввическія дни ея ничвиъ не были заняты; въ нихъ не было своей череды труда и досуга, не было техъ регулярныхъ занятій, свойственных образованной жизни, которыя держать въ равновъсіи нравственныя силы человъка. Дикое растеніе, вполит предоставленное самому себъ, Татьяна создала себъ свою собственную жизнь, въ пустотъ которой тымь мятеживе горыль пожиравшій ее внутренній огонь, что ея умъ ничьмъ не былъ занять.

Давно ея воображенье, Сгорая нѣгой и тоской, Алкало пиши роковой; Давно сердечное томленье Тѣснило ей младую грудь; Душа ждала... кого нибудь. И дождалась. Открылись очи; Она сказала: это онъ! Увы! теперь и дни, и ночи, И жаркій, одинокій сопь—Все полно имъ; все дѣвѣ милой

Теперь съ какимъ она вниманьемъ Читаеть сладостный романь, Съ какимъ живымъ очарованьемъ Пьеть обольстительный обмань: Счастливой силою мечтанья Одушевленныя созданья, Любовникъ Юлін Вольмаръ, Малекъ-Адель и де-Линаръ, И Вертеръ, мученикъ мятежной, И безподобный Грандиссонъ, Который намъ наводитъ сонъ, Всв для мечтательницы нъжной Въ единый образъ облеклись, Въ одномъ Онфгинф слились. Воображаясь геронней Своихъ возлюбленныхъ творџовъ, Кларисой, Юліей, Дельфиной, Татьяна въ тишнив лвсовъ Одна съ опасной книгой бродитъ: Она въ ней ищетъ и находитъ Свой тайный жаръ, свои мечты, Плоды сердечной полноты, Вздыхаеть и, себъ присвоя Чужой восторгь, чужую грусть, Въ забвеньи шепчетъ наизусть Письмо для милаго героя...

Здѣсь не книга родила страсть, но страсть все-таки не могла не проявиться немножко по книжному. Зачѣмъ было воображать Онѣгина Вольмаромъ ,Малекъ-Аделемъ, де-Линаромъ и Рертеромъ (Малекъ-Адель и Вертеръ: не все ли это равно, что Ерусланъ Лазаревичъ и корсаръ Байрона)? Затѣмъ, что для Татьяны не сущестовалъ настоящій Онѣгинъ, котораго она не могла ни понимать, ни знать; слѣдова-

тельно ей необходимо было придать ему какоенибудь значеніе, напрокать взятое изъ книги, а не изъ жизни, потому что жизни Татьяна тоже не могла ни понимать, ни знать. Зачъмъ было ей воображать себя Кларисой, Юліей, Дельфиной? Затъмъ, что она и саму себя такъ же мало понимала и знала, какъ и Онфгина. Повторяемъ: создание страстное, глубоко чувствующее, и въ то же время не развитое, наглухо запертое въ темной пустотъ своего интеллектуальнаго существованія. Татьяна, какъ личность, является намъ подобною не изящной греческой статуъ, въ которой все внутрениее такъ прозрачно и выпукло отразилось во внѣшней красоть, но подобною египетской статув, неподвижной, тяжелой и связанной. Безъ книги она была бы совершенно ивмымъ существомъ, и ея пылающій и сохнущій языкъ не обраль бы ни одного живого, страстнаго слова, которымъ бы могла она облегчить себя отъ давящей полноты чувства. И хотя непосредственнымъ источникомъ ея страсти къ Онъгину была ея страстная натура, ея переполнившаяся жажда сочувствія, все же началась она нъсколько идеально. Татьяна не могла полюбить Ленскаго и еще менъе могла полюбить кого-нибудь изъ извъстныхъ мужчинъ: она такъ хорошо ихъ знала, и они такъ мало представляли пищи ея экзальтированному; аскетическому воображенію... вдругъ является Онвгинъ.

Онъ весь окруженъ тайной: его аристократизмъ, его свътскость, неоспоримое превосходство надъ всъмъ этимъ спокойнымъ и пошлымъ міромъ, среди котораго онъ явился такимъ метеоромъ, его равнодушіе ко всему, странность жизни—все это произвело таинственные слухи, которые не могли не дъйствовать на фантазію Татьяны, не могли не расположить, не подгото-

вить ея къ ръшительному эффекту перваго свиданія съ Онъгинымъ. И она увидъла его и онъ предсталь передь ней молодой, красивый, ловкій, блестящій, равнодушный, скучающій, загадочный, непостижимый, весь неразръшимая тайна для ея неразвитого ума, весь обльщеніе для ея дикой фантазіи. Есть существа, у которыхъ фантазія имъеть гораздо болъе вліянія на сердце, нежели какъ думають объ этомъ. Татьяна была изъ такихъ существъ. Есть женщины, которымъ стоить только показаться восторженнымъ, страстнымъ и онъ ваши; но есть женщины, которыхъ внимание мужчина можеть возбудить къ себъ только равнодущіемъ, холодностью и скептицизмомъ, какъ признаками огромныхъ требованій на жизнь, или какъ результатомъ мятежно и полно пережитой жизни: бъдная Татьяпа была изъ числа такихъ женщинъ...

Тоска любви Татьяну гонить,
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонитъ,
И лѣнь ей далѣе ступить:
Приподнялася грудь, ланиты
Мгновеннымъ пламенемъ покрыты,
Дыханье замерло въ устахъ,
И въ слухѣ шумъ, и блескъ въ очахъ...
Настанетъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальній сводъ небесъ,
И соловей во мглѣ древесъ
Напѣвы звучные заводитъ,—
Татьяна въ темнотѣ не спитъ
И тихо съ ияней говоритъ.

Разговоръ Татьяны съ няней—чудо художественнаго совершенства! Эта цълая драма, проникнутая глубокой истиной. Въ ней удивительно върно изображена русская барышня въ разгаръ томящей ее страсти. Сдавленное внутри чувство всегда порывается наружу, особенно въ первый періодъ еще новой, еще неопытной страсти. Кому открыть свое сердце?—сестръ?—она не такъ бы поняла его. Няня вовсе не пойметь; но потому-то и открываетъ ей Татьяна свою тайну—или, лучше сказать, потому-то и не скрываетъ она отъ няни своей тайны.

. «Разскажи мив, няня, Про ваши старые года: Выла ты влюблена тогда?» — И, полно, Таня! Въ эти лѣта Мы не слыхали про любовь; А то бы согнала со свъта Меня покойница свекровь.--«Да какъ же ты вънчалась, няня?» - Такъ, видно, Богъ велълъ. Мой Ваня Моложе быль меня, мой свъть, А было мив тринадцать лвть. Недъли двъ ходила сваха Къ моей роднъ, и наконецъ Благословилъ меня отенъ. Я горько плакала со страха; Мнъ съ плачемъ косу расплели, I съ пъньемъ въ џерковь повели. I вотъ ввели въ семью чужую...

какъ пищетъ истинно-народный, истиніональный поэтъ! Въ словахъ няни, прои народныхъ, безъ тривіальности и позаключается полная и яркая картина ней домашней жизни народа, его на отношеніе половъ, на любовь, на И это сдёлано великимъ поэтомъ одій, вскользь, мимоходомъ брошенной!... оши эти добродушные и простодушИ полно, Таня! Въ эти лъта Мы не знавали про любовь; то бы согнала со свъта свекровь!

топодность не

Но вы, къ моей несчастной долъ Хоть каплю жалости храня, Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотъла; Повърьте: моего стыда Вы не узнали-бъ никогда, Когда-бъ надежду я имъла Хоть ръдко, хоть въ недълю разъ, Въ деревив нашей видъть васъ, Чтобъ только слышать ваши рѣчи, Вамъ слово молвить, и потомъ Все думать, думать объ одномъ, И день, и ночь до новой встръчи. Но, говорять, вы нелюдимь; Въ глуши, въ деревић, все вамъ скучно, А мы... ничемъ мы не блестимъ, Хоть вамъ и рады простодушно. Зачемъ вы посетили насъ? Въ глуши забытаго селенья Я никогда не знала-бъ васъ, Не знала-бъ горькаго мученья. Души неопытной волненья Смиривъ современемъ (какъ знать?). По сердџу я нашла бы друга, Выла бы върная супруга И добродътельная мать.

Прекрасны также стихи въ концъ письма:

Отнынъ я тебъ вручаю, Передъ тобою слезы лью, Твоей защиты умоляю... Вообрази: я здъсь одна, Никто меня не понимаетъ; Разсудокъ мой изпемогаетъ, И молча гибнуть я должна.

Все въ письмъ Татьяны истинно, но не все просто; мы выписали только то, что и истинно

и просто вмъстъ. Сочетаніе простоты съ истиной составляеть высшую красоту и чувства,

и дъла, и выраженія...

Замвчательно, съ какимъ усиліемъ старается поэть оправдать Татьяну за ея решимость написать и послать это письмо; видно, что поэть слишкомъ хорошо зналъ общество, для котораго писалъ...

Я зналъ красавиџъ недоступныхъ, Холодныхъ, чистыхъ, какъ зима, Неумолимыхъ, неподкупныхъ, Непостижимыхъ для ума; Дивился я ихъ спъси модной, Ихъ добродътели природной, И, признаюсь, отъ-нихъ бъжалъ, И, мнится, съ ужасомъ читалъ Надъ ихъ бровями надпись ада: Оставь надежду навсегда. Внушать любовь для нихъ бъда, Пугать людей для нихъ отрада. Выть можеть, на берегахъ Невы Подобныхъ дамъ видали вы. Среди поклонниковъ послушныхъ Другихъ причудниџъ я видалъ, Самолюбиво-равнодушныхъ Для вздоховъ страстныхъ и похвалъ. И что-жъ нашелъ я съ изумленьемъ? Онъ, суровымъ поведеньемъ Пугая робкую любовь, Ее привлечь умъли вновь, По крайней мврв, сожальныемъ, По прайней мфрф, звукъ рфчей Казался иногда нъжнъй. И съ легковърнымъ ослъпленьемъ Опять любовникъ молодой Въжить за милой суетой. За что-жъ виновиће Татьяна? За то-ль; что въ милой простотъ

Она не въдаеть обмана И върить избраниой мечть? За то-ль, что любить безь искусства, Послушная влеченью чувства; Что такъ довърчива она, Что отъ небесъ одарена Воображеніемъ мятежнымъ, Умомъ и волею живой, И своенравной головой, И сердцемъ пламеннымъ и пъжнымъ? Ужели не простите ей Вы легкомыслія страстей! Кокетка судить хладнокровно; Татьяна любить не шутя И предается безусловно Любви, какъ малое дитя. Не говорить она: отложимъ--Любви мы цену темь умножимь, Върнъе въ съти заведемъ; Сперва тщеславіе кольнемъ Надеждой, тамъ недоумъньемъ Измучимъ сердџе, а потомъ Ревнивымъ оживимъ огнемъ; А, то скучая наслажденьемъ, Невольникъ хитрый изъ оковъ Всечасно вырваться готовъ.

Воть еще отрывокъ изъ «Онѣгина», который выключенъ авторомъ изъ этой поэмы и особенно напечатанъ въ IX томѣ:

О вы, которыя любили Безъ позволенія родныхъ, И сердце нѣжное хранили Для впечатлѣній молодыхъ, Для радостей, для нѣги сладкой—Дѣвицы! если вамъ украдкой Случалось тайную печать Съ письма любезнаго срывать

Иль робко въ дерзостныя руки Завътный локонъ отдавать, Иль даже молча дозволять Въ минуту горькую разлуки Дрожацій поцвлуй любви, Въ слезахъ, съ волненіемъ въ крови,--Не осуждайте безусловно Татьяны еттреной (?) моей; Не повторяйте хладнокровно Рфшенья чопорныхъ судей. А вы, о дъвы безъ упрека! Которыхъ даже рѣчь порока Страшить сегодня, какъ змъя-Совътую вамъ то же я: Кто знаеть? пламенной тоскою Сторите, можеть быть, и вы-И завтра легкій судъ молвы Припишетъ модному герою Побъды новой торжество: Любви васъ ищеть божество.

Только едва-ли найдеть, прибавимъ мы отъ себя прозой. Нельзя не жалфть о поэтф, который видить себя принужденнымъ такимъ образомъ оправдывать свою героиню передъ обществомъи въ чемъ же?--въ томъ, что составляетъ сущность женщины, ея лучшее право на существованіе-что у ней есть сердце, а не пустая яма, прикрытая корсетомъ! Но еще болъе нельзя не жалъть объ обществъ, передъ которымъ поэтъ видълъ себя принужденнымъ оправдывать героиню своего романа въ томъ, что она женщина, а не деревяшка, выточенная по подобію женщины. И всего грустите въ этомъ то, что передъ женщинами въ особенности старается онъ оправдать свою Татьяну... И зато сь какой горечью говорить опъ о нашихъ женщинахъ вездъ, гдъ касается общественной мертвенности, холода, чопорности и сухости!

Какъ выдается вотъ эта строфа въ первой главъ «Онъгина»:

Причудницы большого свъта!
Всъхъ прежде васъ оставилъ онъ.
И правда то, что въ наши лъта
Довольно скученъ высшій тонъ,
Хоть, можетъ быть, иная дама
Толкуетъ Сея и Бентама;
Но вообще ихъ разговоръ—
Несносный, хоть невинный вздоръ.
Къ тому-жъ онъ такъ непорочны,
Такъ величавы, такъ умны,
Такъ благочестія полны,
Такъ осмотрительны, такъ точны,
Такъ неприступны для мужчинъ,
Что видъ ихъ ужъ рождаетъ сплинъ.

Это строфа невольно приводить намъ на память слъдующіе стихи, не вошедшіе въ поэму и напечатанные особо (т. ІХ):

Морозъ и солнџе—чудный день!
Но нашимъ дамамъ видно лѣнь
Сойти съ крыльџа и надъ Невою
Блеснуть холодной красотою:
Сидятъ—напрасно ихъ манитъ
Пескомъ усыпанный гранитъ.
Умна восточная система
И правъ обычай стариковъ:
Онъ родились для гарема
Иль для неволи...

Но и на Востокъ есть поэзія въ жизни, страсть закрадывается и въ гаремы... Зато у насъ царствуеть строгая нравственность, по крайней мъръ виъшняя, а за ней иногда бываеть такая не-поэтическая поэзія жизни, которою, если воспользуется поэть, то конечно ужъ не для поэмы...

Если бы мы вздумали следить за всеми красотами поэмы Пушкина, указывать на всъ черты высокаго художественнаго мастерства, въ такомъ случав ни нашимъ выпискамъ, ни нашей стать в не было бы конца. Но мы считаемъ это излишнимъ, потому что эта поэма давно оцівнена публикой, и все лучшее въ ней у всякаго на памяти. Мы предположили себъ другую цъль: раскрыть по возможности отношеніе поэмы къ обществу, которое она изображаеть. На этоть разъ предметь нашей статьихарактеръ Татьяны, какъ представительницы русской женщины. И потому пропускаемъ всю четвертую главу, въ которой главное для нась-объяснение Онъгина съ Татьяной въ отвътъ на ея письмо. Какъ подъйствовало на пее это объясненіе, понятно: всв надежды бѣдной дівушки рушились, и она еще глубже затворилась въ себъ для внъшняго міра. Но разрушенная надежда не погасилавъней пожирающаго ее пламени: онъ началъ горъть тъмъ упорнъе и напряженнъе, чъмъ глуше и безвыходиве. Несчастіе даеть новую энергію страсти у натуръ съ экзальтированнымъ воображеніемъ. Имъ даже нравится исключительность ихъ положенія; онв любять свое горе, лелвють свое страданіе, дорожать имъ можеть быть еще больше, нежели сколько дорожили бы онъ своимъ счастіемъ, если бъ оно выпало на ихъ долю... И притомъ, въ глухомъ лесу нашего общества, гдв бы и скоро ли бы встрътила Татьяна другое существо, которое, подобно Онъгину, могло бы поразить ея воображение и обратить огонь ея души на другой предметь? Вообще несчастная, нераздъленная любовь, которая упорно переживаетъ надежду, есть явление довольно бользненное, причина котораго, по слишкомъ ръдкимъ и въроятно чисто физіологическимъ причинамъ, едва ли не 19*

скрывается въ экзальтаціи фантазіи, слишкомъ развитой насчетъ другихъ способностей души. Но какъ бы то ни было, а страданія, происходящія оть фантазін, падають тяжело на сердце и терзають его иногда еще сильнъе, нежели страданія, корень которыхъ въ самомъ сердцъ. Картина глухихъ, никъмъ не раздъленныхъ страданій Татьяны изображена въ пятой главъ съ удивительной истиной и простотой. Посъщение Татьяной опустылаго дома Опъгина (въ седьмой главъ) и чувства, пробужденныя въ ней этимъ оставленнымъ жилищемъ, на всъхъ предметахъ котораго лежаль такой резкій отпечатокъ духа н характера оставившаго его хозянна, принадлежить къ лучшимъ мъстамъ поэмы и драгоцъннъйшимъ сокровищамъ русской поэзіи. Татьяна не разъ повторила это посъщение.

И въ молчаливомъ кабинеть, Забывъ на время все на свъть, Осталась наконецъ одна, И долго плакала она. Потомъ за книги принялася. Сперва ей было не до нихъ; Но показался выборъ ихъ Ей страненъ. Чтенью предалася Татьяна жадною душой: И ей открылся міръ шюй.

И начинаеть по-немногу
Моя Татьяна понимать
Теперь яснве, слава Богу,
Того, по комъ она вздыхать
Осуждена судьбою властной...

Уже-ль загадку разръшила, Уже-ли *слово* найдено?..

Итакъ, въ Татьянъ наконецъ совершился акть сознація: умь ея проснулся. Она поняла наконецъ, что есть для человъка интересы, есть страданія и скорби кром'в интереса страданій и скорби любви. Но поняла ли она, въ чемъ именно состоять эти другіе интересы и страданія, и если поняла, послужило ли это ей къ облегчению ея собственныхъ страданій? Конечно поняла, но только умомъ, головой, потому что есть нден, которыя надо пережить и душой, и тъломъ, чтобъ понять ихъ вполнъ, и которыхъ нельзя изучить въ книгъ. И потому книжное знакомство съ этимъ новымъ міромъ скорбей если и было для Татьяны откровеніемъ, это откровеніе произвело на нее тяжелое, безотрадное и безплодное впечатлъніе; оно испугало ее, ужаснуло и заставило смотръть на страсти, какъ на гибель жизни, убъдило ее въ необходимости покориться дъйствительности, какъ она есть, и если жить жизнью сердца, то про себя, въ глубинъ своей души, въ тиши уединенія, во мракв ночи, посвященной тоскъ и рыданіямъ. Посъщеніе дома Онтгина и чтеніе его книгъ приготовили Татьяну къ перерожденію изъ деревенской дѣвочки въ свътскую даму, которое такъ удивило и поразило Онъгина. Въ предшествовавшей стать в мы уже говорили о письмъ Онъгина къ Татьянъ и о результатъ всъхъ его страстныхъ посланій къ ней; теперь перейдемъ прямо къ объяснению Татьяны съ Онъгинымъ. Въ этомъ объяснении все существо Татьяны выразилось вполнъ. Въ этомъ объяснении высказалось все, что составляеть сущность русской женщины съ глубокой натурой, развитой обществомъ, -- все: и пламенная страсть, и задушевность простого, искрешняго чувства, и чистота, и святость нанвныхъ движеній благородной натуры, и резоперство, и оскорбленное самолюбіе, и тщеславіе добродѣтелью, подъ которой замаскирована рабская боязнь общественнаго мнѣнія, и хитрые силлогизмы ума, свѣтской моралью парализировавшаго великодушныя движенія сердца... Рѣчь Татьяны начинается упрекомъ, въ которомъ высказывается желаніе мести за оскорбленное самолюбіе:

Онвгинъ, помните-ль тотъ часъ, Когда въ саду въ аллев насъ Судьба свела, и такъ смиренио Урокъ вашъ выслушала я. Сегодня очередъ моя. Онвгинъ, я тогда моложе, Я лучше, кажется, была, И я любила васъ; и что же? Что въ сердџѣ вашемъ я нашла? Какой отвѣтъ? Одну суровость. Не правда-ль? Вамъ была не новость Смиренной дѣвочки любовь? И нынче—Боже!—стынетъ кровь, Какъ только вспомню взглядъ холодной И эту проповѣдь...

Въ самомъ дълъ, Онътинъ былъ виноватъ передъ Татьяной въ томъ, что онъ не полюбилъ ее тогда, какъ она была моложе и лучше и любила его! Въдь для любви только и нужно, что молодость, красота и взаимность! Вотъ понятія, заимствованныя изъ плохихъ сентиментальныхъ романовъ! Нъмая деревенская дъвочка съ дътскими мечтами—и свътская женщина, испытанная жизнью и страданіемъ, обрътшая слово для выраженія своихъ чувствъ и мыслей, какая разница! И все-таки, по мнънію Татьяны, она болъе способна была внущить любовь тогда, нежели теперь, потому что она тогда была моложе и лучше... Какъ въ этомъ взглядъ на вещи видна русская женщи-

на! А этоть упрекь, что тогда она нашла со стороны Онъгина одну суровость? «Вамъ была не новость смиренной дъвочки любовь?» Да, это уголовное преступленіе—не дорожить любовью нравственнаго эмбріона!.. Но за этимъ упрекомъ тотчасъ слъдуеть и оправданіе:

...... Но васт Я не виню: въ тотъ страшный часъ Вы поступили благородно, Вы были правы предо мной; Я благодарна всей душой...

Основная мысль упрековъ Татьяны состоить въ убъжденіи, что Онъгинъ потому только не полюбиль ее тогда, что въ этомъ не было для него очарованія соблазна; а теперь приводить къ ея ногамъ жажда скандалезной славы... Во всемъ этомъ такъ и пробивается страхъ за свою добродътель...

Тогда-не правда ли?-въ пустынъ, Вдали отъ суетной молвы, Я вамъ не нравилась... Что-жъ нынъ Меня преслъдуете вы? Зачемъ у васъ я на приметь? Не потому-ль что въ высшемъ свътв Теперь являться я должна, Что я богата и знатна; Что мужъ въ сраженьяхъ изувъченъ; Что насъ за то ласкаетъ дворъ? Не потому-ль, что мой позоръ Теперь бы всеми быль замечень, И могъ бы въ обществъ принесть Вамъ соблазнительную честь? Я плачу... Если вашей Тани Вы не забыли до сихъ поръ, То знайте: колкость вашей брани, Холодный; строгій разговоръ,

Когда-бъ въ моей лишь было власти; Я предпочла-бъ обидной страсти И этимъ письмамъ, и слезамъ. Къ моимъ младенческимъ мечтамъ Тогда имъли вы хоть жалость, Хоть уваженіе къ лътамъ... А нынче?—что къ моимъ ногамъ Васъ привело? Какая малость! Какъ съ вашимъ сердџемъ и умомъ Быть чувства мелкаго рабомъ?

Въ этихъ стихахъ такъ и слышится трепеть за свое доброе имя въ большомъ свътъ, а въ слъдующихъ затъмъ представляются неоспоримыя доказательства глубочайшаго презрънія къ большому свъту... Какое противоръчіе! И что всего грустиве, то и другое истинно въ Татьянъ...

А мить, Онтринъ, пышность эта, Постылой жизни мишура, Мои усптан въ вихрт свта, Мой модный домъ и вечера,— Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада Всю эту ветошь маскарада, Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ За полку книгъ, за дикій садъ, За наше бъдное жилище, За тъ мъста, гдт въ первый разъ, Онтинъ, видъла я васъ, Да за смиренное кладбище, Гдт нынче крестъ и тънь втвей Надъ бъдной нянею моей.

Повторяемъ: эти слова такъ же непритворны и искренни, какъ и предшествовавшія имъ. Татьяна не любить свъта и за счастье почла бы навсегда оставить его для деревни; но пока она въ свъть—его миъніе всегда будеть ея

идоломъ, и страхъ его суда всегда будеть ея добродътелью...

А счастье было такъ возможно,
Такъ близко!.. Но судьба моя
Ужъ ръшена. Неосторожно,
Быть можетъ, поступила я;
Меня съ слезами заклинаній
Молила мать; для бъдной Тани
Всъ были жребіи равны....
Я вышла замужъ. Вы должны,
Я васъ прошу меня оставить;
Я знаю: въ вашемъ сердцъ есть
И гордость, и прямая честь.
Я васъ люблю (къ чему лукавить?),
Но я другому отдана,—
Я буду въкъ ему върна.

Последніе стихи удивительны—подлинно «конецъ вънчаеть дъло!» Этоть отвъть могь бы итти въ примъръ классическаго «высокаro» (sublime) наравив съ отвътомъ Медеи; «moi!» и стараго Горація: «qu'il mourût!» Воть истинная гордость женской добродътели! «Но я другому отдана», —именно отдана, а не отдалась! Въчная върность - кому и въ чемъ? Върность такимъ отношеніямъ, которыя составляють профанацію чувства и чистоты женственности, потому что нъкоторыя отношенія неосвящаемыя любовью, въ высшей степени безнравственны... Но у насъ какъ-то все это клентся вмъсть: поэзія—и жизнь, любовь—и бракъ по разсчету, жизнь сердцемъ-и строгое исполнение вившнихъ обязанностей, внутренио ежечасно парушаемыхъ... Жизнь женщины по преимуществу сосредоточена въ жизни сердца, любить-значить для нея жить, а жертвоватьзначить любить. Для этой роли создала природа Татьяну; но общество пересоздало ее.. Татьяна невольно напомнила намъ Въру въ «Героъ нашего времени», женщину слабую по чувству, всегда уступающую ему, и прекрасную, высокую въ своей слабости. Правда, женщина поступаеть безнравственно, принадлежа вдругъ двумъ мужчинамъ, одного любя, а другого обманывая: противъ этой истины не можетъ быть никакого спора; но въ Вфрф этотъ гръхъ выкупается страданіемъ отъ сознанія своей несчастной роли. И какъ бы могла опа поступить решительно въ отношении къ мужу, когда опа видъла, что тотъ, кому она всю себя пожертвовала, принадлежалъ ей не вполнъ и любя ее, все-таки не захотълъ бы слить съ ней свое существование? Слабая женщина, она чувствовала себя подъ вліяніемъ роковой силы этого человъка съ демонической натурой, и не могла ему сопротивляться. Татьяна выше ея по своей натуръ и по характеру, не говоря уже объ огромной разницъ въ художественномъ изображенін этихъдвухъженскихълицъ: Татьяна-портреть во весь рость; Втра-не больше, какъ силуэтъ. И, несмотря на то, Въра-больше женщина... но зато и больше исключение, тогда какъ Татьяна-типъ русской женщины... Восторженные идеалисты, изучившіе жизнь и женщину по повъстямъ Марлинскаго, требуютъ оть необыкновенной женщины презранія къ общественному мнѣнію. Это ложь: женщина не можеть презирать общественнаго мития, но можеть имъ жертвовать скромно, безъ фразъ, безъ самохвальства, понимая всю великость своей жертвы, всю тягость проклятія, которое она береть на себя, новинуясь другому высшему закопу, — закону своей натуры, а ея натура любовь и самоотвержение...

Итакъ въ лицъ Онъгина, Ленскаго и Татьяны Пушкинъ изобразилъ русское общество въ одномъ изъ фазисовъ его образованія, его раз-

витія, и съ какой истиной, съ какой върностью, какъ полно и художественно изобразилъ онъ его! Мы не говоримъ о множествъ вставочныхъ портретовъ и силуэтовъ, вошедшихъ въ его поэму и довершающихъ собой картину русскаго общества высшаго и средняго; не говоримъ о картинахъ сельскихъ баловъ и столичныхъ раутовъ: все это такъ извъстно нашей публикъ и такъ давно оцънено ею по достоинству... Затымь одно: личность поэта, такъ полно и ярко отразившаяся въ этой поэмъ, вездъ является такой прекрасной, такой гуманной, но въ то же время по преимуществу артистической. Вездв видите въ немъ человъка, душой и тъломъ принадлежащаго къ основному принципу, составляющему сущность изображаемаго имъ класса; короче, вездъ видите русскаго помъщика... Онъ нападаеть въ этомъ классъ на все, что противоръчить гуманности; но принципъ класса для него-въчная истина... И потому въ самой сатиръ его такъ много любви, самое отрицаніе его такъ часто похоже на одобреніе и на любованіе... Вспомните описаніе семейства Лариныхъ во второй главъ, и особенно портретъ самого Ларина... Это было причиной, что въ «Онъгнит» многое устаръло теперь. Но безъ этого можеть быть и не вышло бы изъ «Онъгина» такой полной и подробной поэмы русской жизни, такого опредъленнаго факта для отрицанія мысли, въ самомъ же этомъ обществъ такъ быстро развивающейся...

«Онвгинъ» писанъ былъ въ продолжение нъсколькихъ лътъ, —и потому самъ поэтъ росъ вмъстъ съ нимъ, и каждая новая глава поэмы была интереснъе и зрълъе. По послъднія двъ главы ръзко отдъляются отъ первыхъ шести: онъ явно принадлежатъ уже къ высшей, зрълой эпохъ художественнаго развитія поэта. О красотъ отдъльныхъ мъстъ нельзя наговориться довольно; притомъ же ихъ такъ много! Къ лучшимъ принадлежать: ночная сцена между Татьяной и пяней, дуэль Онтгина съ Ленскимъ и весь конецъ шестой главы. Въ послъднихъ двухъ главахъ мы не знаемъ, что хвалить особенно, потому что въ нихъ все превосходно; но первая половина седьмой главы (описаніе весны, воспоминаціе о Ленскомъ, посъщеніе Татьяной дома Онъгина) какъ-то особенио выдается дивно-прекрасными стихами... Отступленія, дълаемыя поэтомъ отъ разсказа, обращенія его къ самому себъ исполнены необыкновенной граціи, задушевности, чувства, ума, остроты; личность поэта въ нихъ является такой любящей, такой гуманной. Въ своей поэмъ онъ умълъ коснуться такъ многаго, намекнуть о столь многомъ, что принадлежить исключительно къ міру русской природы, къ міру русскаго общества! «Онъгина» можно назвать энциклопедіей русской жизии, и въ высшей степени народнымъ произведеніемъ. Удивительно ли, что эта поэма была принята съ такимъ восторгомъ публикой и имъла такое огромное вліяніе и на современную ей, и на послъдующую русскую литературу? А ея вліяніе на нравы общества? Она была актомъ сознанія для русскаго общества; почти первымъ, но зато какимъ великимъ шагомъ впередъ для него! Этотъ шагъ былъ богатырскимъ размахомъ, и послъ него стояніе на одномъ мъстъ сдълалось уже невозможнымъ... Пусть идетъ время и приводить съ собой новыя потребности, новыя идеи, пусть растеть русское общество и обгоняеть «Онъгина»: какъ бы далеко опо ни ушло, по всегда будеть оно любить эту поэму, всегда будеть останавливать на ней исполненный любви и благодарности взоръ... Эти строфы, которыя такъ и просятся въ заключение нашей статьи, своимъ непосредственнымъ впечатлъніемъ на душу читателя, лучше насъ выскажуть то, что бы хотвлось намь высказать:

Увы! на жизпенныхъ браздахъ, Мгновенной жатвой, поколънья, По тайной волъ Провидънья, Восходять, зръють и падуть; Другія имъ во сл'вдъ идуть... Такъ наше вътреное племя Растеть, волнуется, кипить И къ гробу прадъдовъ тъснитъ. Придеть, придеть и наше время, И наши внуки въ добрый часъ Изъ міра вытеснять и насъ. Покамъсть упивайтесь ею, Сей легкой жизнію, друзья! Ея ничтожность разумъю И къ ней привязанъ мало я; Для призраковъ закрылъ я въжды; Но отдаленныя надежды Тревожать сердце иногда: Безъ непримътнаго слъда Мнъ было-бъ грустно міръ оставить. Живу, пишу не для похвалъ; Но я бы, кажется, желалъ Печальный жребій свой прославить, Чтобъ обо мнъ, какъ върный другъ, Напомнилъ хоть единый звукъ. И чье нибудь онъ сердџе тронетъ; И сохраненная судьбой, Выть можеть, -- лестная надежда!--Укажеть будущій невѣжда На мой прославленный портреть, И молвить: «то-то былъ поэть!» Прими-жъ мое благодаренье, Поклонникъ мирныхъ аонидъ. О ты, чья память сохранитъ Мои летучія творенья Чья благосклонная рука Потреплеть лавры старика!

«Борисъ Годуновъ».

Совершенно новая эпоха художнической дѣятельности Пушкина началась «Полтавой» и «Борисомъ Годуновымъ». Хотя первая вышла въ 1829 году, а последній въ 1831 году, темъ не менъе ихъ должно считать почти современными другъ другу произведеніями, потому что «Борисъ Годуновъ» написанъ былъ гораздо раньше 1831 года, и знамешитая сцена между Пименомъ и Самозванцемъ была напечатана въ «Московскомъ Въстникъ» 1828 года; небольшая сцена между Курбскимъ и Самозванцемъ,-въ «Стверныхъ Цвтахъ» на 1828 годъ, вышедшихъ въ 1827 году. «Полтава», со стороны художественности, относится къ «Борису Годунову», какъ стремленіе относится къ достиженію. Публика приняла «Полтаву» холодите, нежели прежнія поэмы Пушкина; «Борисъ Годуновъ» былъ принятъ совершенио холодио, какъ доказательство совершеннаго паденія таланта, еще недавно столь великаго, такъ много едфлавшаго и еще такъ много объщавшаго. Какъ тогда, такъ и теперь, у «Бориса Годунова» были жаркіе поклоницки; но какъ тогда, такъ и теперь, число этихъ поклонниковъ было очень малочисленно, а число порицателей огромно. Которые изъ нихъ правы, которые виноваты? Тѣ и другіе равно правы и равно виноваты, потому что дѣйствительно ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній не достигалъ Пушкинъ до такой художественной красоты,—и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисъ Годуновъ». Эта пьеса для него была истинно Ватерлооской битвой, въ которой онъ развернулъ во всей широтъ и глубинъ свой геній и, несмотря на то, все-таки потериълъ рѣшительное пораженіе.

Прежде всего скажемъ, что «Борисъ Годуновъ» Пушкина-совсимъ не драма, а разви эпическая поэма въ разговорной формъ. Дъйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорять, и мъстами говорять превосходно; но они не живуть, не дъйствують. Слыните слова, часто исполненныя высокой поэзін, по не видите ни страстей, ни борьбы, ни дъйствій. Это одинь изъ первыхъ и главныхъ педостатковъ драмы Пушкина; но этоть недостатокъ не вина поэта: его причина—въ русской исторіи, изъ которой поэть заимствовалъ содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра Векаго тъмъ и отличается отъ исторіи западноевропейскихъ государствъ, что въ ней преобладаеть чисто эпическій или, скорфе, квіетическій характеръ, — тогда какъ въ тѣхъ преобладаеть характеръ чисто-драматическій. До Петра Великаго въ Россіи развивалось начало семейственное и родовое; по не было и признаковъ развитія личнаго: а можеть-ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей? Что составляеть содержание Шекспировскихъ драматическихъ хроникъ? борьба личностей, которыя стремятся къ власти и оспаривають ее другь у друга. Это бывало и у насъ: весь удъльный періодъ есть не что иное, какъ ожесточенная борьба за великокняжескій и за удъльные престолы; въ періодъ Московскаго царства мы видимъ сряду трехъ претендентовъ такого рода; но все-таки не видимъ пикакого драматическаго движенія. Въперіодъ удівловъ одинъ киязь свергалъ другого и овладъваль его удъломъ; потомъ, побъжденный имъ, снова уступалъ ему его владъніе, потомъ опять захватывалъ его; но въ удълъ отъ этого ровно ничего не измънялось: перемънялись лица, а ходъ и сущность дълъ оставались тв же, потому что ни одно новое лицо не приносило съ собой никакой новой идеи, никакого новаго принципа. Отсюда объясняется, почему народонаселение того или другого княжества, того или другого города, съ одинаковой ревностью билось и за стараго князя противъ новаго, и за новаго противъ стараго. И одному Богу извъстно, чъмъ бы кончилась для Руси эта усобица, если бы такъ кстати не подоспъли татары. Съ одной стороны ихъ жестокое и позорное иго гибельно подъйствовало на нравственную сторону русскаго племени, а съ другой было для него благод тельно потому, что чувствомъ общей опасности и общаго страданія связало разъединенныя русскія княжества и способствовало развитію государственной централизаціи черезъ преобладаніе Московскаго княженія надъ всеми другими. Единство болъе виъшнее, нежели внутрениее, но тъмъ не менъе все же оно спасло Россію! Іоаннъ III, котораго не безъ основанія и которые историки называють великимъ, былъ творцомъ неподвижной крѣпости Московскаго царства, положивъ въ его основу идею восточнаго абсолютизма, столь благод втельнаго для абстрактнаго единства созданной имъ новой державы. И этоть великій, повидимому, перевороть совершился тихо и мирно, безъ всякихъ потрясеній, Іоаннъ III обпаружиль въ этомъ дѣлѣ геніальную односторонность, переходившую почти въ ограниченность, твердую волю, силу характера; онъ постоянно стремился къ одной цѣли, дъйствовалъ неослабно, но не боролся, потому что не встрътилъ никакого дъйствительнаго и энергического сопротивленія. Дізло обощлось безъ борьбы, и такимъ образомъ одно изъ самыхъ драматическихъ событій древней русской исторін совершилось безъ всякаго драматизма. Драматизмъ, какъ поэтическій элементь жизни. заключается въ столкновеніи и сшибкъ (коллизін) противоположно и враждебно направленныхъ другъ противъ друга идей, которыя проявляются какъ страсть, какъ паеосъ. Идея самодержавнаго единства Московскаго царства, въ лицъ Іоанна III торжествующая надъ умирающей удъльной системой, встрътила въ своемъ безусловно побъдоносномъ шествіи не противниковъ сильныхъ и ожесточенныхъ, на все готовыхъ, а развъ нъсколько безсильныхъ и жалкихъ жертвъ. Роды удъльныхъ князей, потомковъ Рюрика, скоро выродились въ простую боярщину, которая передъ престоломъ была покорна наравив съ народомъ, но которая стала между престоломъ и народомъ не какъ посредникъ, а какъ непроницаемая ограда, раздълившая царя съ народомъ. Разрядныя книги служать неоспоримымь доказательствомъ, что въ древней Россіи личность инкогда и ничего не значила, но все значиль родъ, и торжество боярина было торжествомъ цълаго рода боярскаго. Такимъ образомъ удъльная борьба княжескихъ родовъ переродилась въ дворскую борьбу боярскихъ родовъ. Но эта борьба це представляеть никакого содержанія для драматическаго поэта, нотому что при дворъ московскомъ одинъ родъ торжествовалъ надъ другимъ въ милости царской, но ни одинъ изъ торжествующихъ родовъ не вносилъ ни въ думу, ни въ администрацію пикакой новой иден, инкакого новаго принцина, никакого новаго элемента. Новый любимецъ вездъ гналъ своихъ прежнихъ противниковъ и ихъ родичей, постригалъ ихъ насильно въ монахи, сажалъ въ тюрьмы, разсылаль по дальнимъ городамъ то въ позорную неволю, то въ почетную опалу. II такимъ образомъ боролись и менялись лица, а не идеи. Подобная борьба и подобныя смъны могли много значить для боярскихъ родовъ, для дворской интриги и крамолы, но для государства онъ ровно ничего не значили; историческая же драма можеть брать содержание только изъ государственной жизни. Царствованіе Грознаго, повидимому, больше всего представляеть матеріаловъ для драмы, какъ зрълище нещадной войны, объявленной абсолютизмомъ боярской крамолы; но это только такъ можеть казаться и едва-ли такъ было на самомъ дълъ, ибо мы не видимъ, чтобъ Грозный чъмъ-нибудь думаль заміннть гонимый имъ принципь боярщины. Словомъ, видно ожесточение къ боярскимъ родамъ, но изтъ въ то же время никакого особеннаго вниманія къ народу; туть замътно слъдовательно личное чувство, а не идея, не принципъ, не убъждение. Стало быть, и туть нъть ничего для драмы... Но воть является Годуновъ, —и чемъ бы ни достигъ онъ престола-злодъйствомъ-ли, какъ въ этомъ увъренъ Карамзипъ, или только смълымъ и гибкимъ умомъ безъ преступленія, во всякомъ случав онъ также не внесъ въ русскую жизнь никакого новаго элемента, и его возвышеніе, равно какъ и его паденіе ничего не значили для будущихъ судебъ русскаго народа: безъ Годунова все пошло бы такъ же точно, какъ и съ Годуновымъ. У Самозванца были разные политические замыслы, которые могли бы измънить ходъ нашей исторіи; по эти замыслы были не что иное, какъ удалыя мечты человъка ръшительнаго, пылкаго, умнаго, но. что называется, безъ царя въ головъ, а потому они и кончились такъ, какъ следовало кончиться мечтамъ. Шуйскій хотыль изъ боярщины образовать аристократію; но какъ это желаніе было плодомъ не мысли, а трусости и низости, —оно и кончилось бъдой для Шуйскаго и ровно ничемъ не кончилось для государства... Итакъ, вотъ сряду три лица, которыя уже по необыкновенности употребленныхъ ими способовъ для достиженія верховной власти должны были бы внести въ государственную жизнь новыя основанія, и которыя ровно инчего не внесли въ нее, и прошли въ исторіи безь сліда, какъ будто бы ихъ и не было... Не такъ бывало въ государствахъ Западной Европы. Для англичанъ, напримъръ, было великимъ событіемъ царствованіе Іоанна Безземельнаго, -- этого слабаго и ничтожнаго брата Ричарда Львинаго Сердца, овладъвшаго властью въ отсутствіи героя, который гонялся въ Палестинъ за безполезными лаврами. Во Францін, напримітрь, очень важно было рішеніе вопроса: кто будеть управлять Людовикомъ XIII-его мать, Катерина Медичи, или кардиналъ Ришелье. Такихъ примъровъ можно было бы найти множество, но для поясненія нашей мысли довольно и этихъ двухъ.

Итакъ, если въ «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина почти нѣтъ никакого драматизма,—это вина не поэта, а исторіи, нзъ которой онъ взялъ содержаніе для своей «эпической драмы». Можеть быть отъ этого онъ и ограничился только одной

попыткой въ этомъ родъ.

А между темъ Борисъ Годуновъ можеть быть больше, чемъ какое-инбудь другое лицо русской исторіи, годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формъ,—для по-

эмы, въ которой такой поэть, какъ Пушкинъ, могь бы развернуть всю силу своего таланта и избъжать тъхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ, и въ эстетическомъ отношеніяхъ, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его исторического значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяпіемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину,-и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодвемъ, котораго мучить совъсть и который въ своемъ злодъйствъ нашель себъ кару. Мысль нравственная и почтепная, но уже до того избитая, что таланту

ничего нельзя изъ нея сдълать!..

Отдавая полную справедливость огромнымъ заслугамъ Карамзина, въ то же время можно и даже должно безпристрастными глазами видъть мъру, объемъ и границы его заслугъ. Человъкъ многостороние-даровитый, Карамзинъ нисаль стихи, повъсти, быль преобразователемъ русскаго языка, публицистомъ, журналистомъ, можно сказать, создалъ и образовалъ русскую публику и следовательно упрочиль возможность существованія и развитія русской литературы; наконецъ далъ Россіи ея исторію, которая далеко оставила за собой вст прежиія попытки въ этомъ родъ, и безъ которой можетъ быть еще и теперь знаніе русской исторіи было бы возможно только для записныхъ тружениковъ науки, но не для публики. И во всемъ этомъ Карамзинъ обнаружилъ много таланта, но пе геніальности, и потому все сдъланное имъ весьма важно, какъ факты исторіи русской литературы и образованія русскаго общества, но совершенно лишено безусловнаго достоинства

Важивишій его трудь безь сомивнія есть «Исторія Государства Россійскаго», которая читается и перечитывается до сихъ поръ, когда уже всъ другія его сочиненія пользуются только почетной памятью, какъ произведенія, им'ввшія большую ціну въ свое время. И дійствительно, до техъ поръ, пока русская исторія не будеть изложена совершенно съ другой точки зрвнія и съ твмъ умвньемъ, которое дается только талаптомъ, до техъ поръ «Исторія» Карамзина поневолъ будеть единственной въ своемъ родъ. Но уже и теперь ея недостатки видны для всвхъ, можеть быть еще больше, нежели ея достоинства. Въ недостаткахъ фактически нельзя винить Карамзина, приступившаго къ своему великому труду въ такое время, когда историческая критика въ Россіи едва начиналась, и Карамзинъ долженъ былъ, пиша исторію, еще заниматься исторической разработкой матеріаловъ. Гораздо важние недостатки его исторіи, происшедшіе изъ его способа смотръть на вещи. Сначала его исторія—поэма въ родъ тъхъ, которыя писались высокопарной прозой и были въ большомъ ходу въ концъ прошлаго въка. Потомъ мало-по-малу, входя въ духъ жизни древней Руси, онъ можетъ быть незамътно для самого себя, увлекаясь своимъ трудомъ, увлекся и духомъ древне-русской жизни. Съ Іоанна III Московское царство, въ глазахъ Карамзина, становится высшимъ идеаломъ государства, вмфсто исторіи до-Петровской Россін, онъ пишеть ея панегирикъ. Все въ ней кажется ему безусловно великимъ, прекраснымъ, мудрымъ и образцовымъ. Къ этому присоединяется еще мелодраматическій взглядъ на характеры историческихъ лицъ. У Карамзина ин въ чемъ нътъ средины: у него нъть людей, а есть только или герои добродътели, или злодви. Этотъ мелодраматизмъ простирается до того, что одно и то же лицо у него сперва является свътлымъ ангеломъ, а потомъчернымъ демономъ. Таковъ Грозный: пока имъ управляють, какъ машиной, Сильвестръ н Адашевъ, онъ-сама добродътель, сама мудрость; но умираеть царица Анастасія, —и Грозный вдругь является бичомъ своего народа, безумнымъ злодвемъ. Историкъ пересказываеть всв ужасы, сдъланные Грознымъ, и взводить на него такіе, которыхъ онъ и не дфлаль, заставляя его убивать два раза въ разныя эпохи однихъ и тъхъ же людей. Жертвы Грознаго часто говорять ему передъ смертью эффектныя ръчи, какъ будто бы переведенныя изъ Тита Ливія. Такого же мелодраматическаго злодъя сдълалъ Карамзинъ и изъ Бориса Годунова. Подверженный увлеченію, которое больше всего вредить историку, онъ объ убіеніи царевича Димитрія говорить утвердительно, какъ о дълъ Годунова, какъ будто бы въ этомъ уже невозможно никакое сомнине. Юноша Годуновъ, прекрасный лицомъ, свътлый умомъ, блестящій красноръчіемт, зять палача Малюты Скуратова, и въ рядахъ опричины умълъ остаться чистымъ отъ разврата, злодъйства и крови. Черта характера необыкновеннаго! Но въ ней еще не видно строгой и глубокой добродвтели: по крайней мъръ послъдующая жизнь Годунова не подтверждаеть этого. Будучи царемъ, онъ не долго сдерживалъ порывы своей подозрительности и скоро сдълался мучителемъ и тираномъ. Вообще, если онъ при Грозномъ не запятналъ себя кровью, -- въ этомъ видно больше ловкости, умънья и разсчета, нежели добродътели. Годуновъ былъ необыкновенно уменъ, и потому не могъ не гнушаться злодъйствомъ, совершеннымъ безъ нужды и безъ причины. Впрочемъ, мы этимъ не хотимъ сказать, чтобъ Годуновъ быль лицемърный злодъй; нъть, мы хотимъ только сказать, что можно въ одно и то же время не быть ни злодвемъ, ни героемъ добродвтели и не любить злодъйства въ одно и то же время по чувству и по разсчету... Карамзинскій Годуновълицо совершенно двойственное, подобно Грозному: онъ и мудръ и ограниченъ, и злодъй и добродътельный человъкъ, и ангелъ и демонъ. Онъ убиваетъ законнаго наслъдника престола, сына своего перваго благодътеля и брата своего второго благодътеля, мудро править государствомъ и, пришимая корону, клянется, что въ его царствъ не будетъ нищихъ и убогихъ, и что послъдней рубашкой будетъ онъ дълиться съ народомъ. И честно держить онъ всое объщание: онъ дълаетъ для народа все, что только было въ его средствахъ и силахъ сдълать. А между тъмъ народъ хочеть любить его-и не можеть любить! Онъ приписываеть ему убіеніе царевича; онъ видить въ немъ умышленнаго виновника всъхъ бъдствій, обрушившихся надъ Россіей; взводить на него обвиненія самыя неліпыя н безсмысленныя, какъ, напримъръ, смерть датскаго царевича, нареченнаго жениха его милой дочери. Годуновъ все это видитъ и знаетъ.

Пушкинъ безподобно передалъ жалобы Ка-

рамзинскаго Годунова на народъ:

Мив счастья ивть. Я думаль свой народъ Въ довольствіи, во славть успокоить, Щедротами любовь его снискать, Но отложиль пустое попеченье: Живая власть для черни ненавистна,—Они любить умтють только мертвыхъ. Безумны мы, когда народный плескъ Иль ярый вопль тревожить сердце наше. Богъ насылаль на землю нашу гладъ: Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;

Я отвориль имъ житницы; я злато Разсыпаль имъ; я имъ сыскаль работы,—Они-жъ меня, бъснуясь, проклинали! Пожарный огнь ихъ домы истребилъ; Я выстроилъ имъ новыя жилнца,—Они-жъ меня пожаромъ упрекали! Воть черни судъ, ищи-жъ ея любви!

Это говорить царь, который справедливо жалуется на судьбу и на пародъ свой. Теперь послушаемъ голоса, если не народа, то цълаго сословія, которое тоже кажется, не безъ основанія, жалуется на своего царя:

Какъ џарь Иванъ (не къ ночи будь помянуть). Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нътъ, Что на полу кровавомъ всенародно Мы не поемъ каноновъ Інсусу, Что насъ не жгутъ на площади, а џарь Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей? Увърены-ль мы въ бъдной жизни нашей! Насъ каждый день опала ожидаетъ, Тюрьма, Сибирь, клобукъ, иль кандалы, А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

Воть—Юрьевъ день задумаль уничтожить, Не властны мы въ помъстьяхъ своихъ, Не смъй согнать лънивџа! Радъ не радъ, Корми его. Не смъй переманить Работника! Не то—въ приказъ холопій. Ну, слыхано-ль хоть при царъ Иванъ Такое зло? А легче ли народу? Спроси его. Попробуй самозванецъ Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Такъ и пойдетъ потъха.

Въ чемъ же заключается источникъ этого противоръчія въ характеръ и дъйствіяхъ Годунова? Чъмъ объясняеть его нашъ историкъ и

вследь за нимъ нашъ поэть? Мученіями виновной совъсти!.. Вотъ, что заставляеть говорить Годунова поэть, рабски вфрный историку: Ахъ, чувствую, ничто не можетъ насъ Среди мірскихъ печалей успокоить; Ничто... едина развъ совъсть. Такъ, здравая, она восторжествуетъ Надъ злобою, надъ темной клеветою; Но если въ ней единое пятно, Единое случайно завелося, Тогда бъда: какъ язвой моровой Душа сгорить, нальется сердце ядомъ, Какъ молоткомъ стучитъ въ ушахъ упрекомъ, И все тошнить, и голова кружится, И мальчики кровавые въ глазахъ... И радъ бъжать, да некуда... ужасно! Да, жалокъ тотъ, въ комъ совъсть нечиста...

Какая жалкая мелодрама! Какой мелкій ограниченный взглядь на натуру человѣка! Какая бѣдная мысль—заставить злодѣя читать самому себѣ мораль, вмѣстѣ того, чтобъ заставить его всѣми мѣрами оправдывать свое злодѣйство въ собственныхъ глазахъ! На этотъ разъ историкъ сыгралъ съ поэтомъ плохую шутку... И вольно же было поэту дѣлаться эхомъ историка, забывъ, что ихъ раздѣляетъ другъ отъ друга цѣлый вѣкъ!.. Оттого то въ философскомъ отношеніи этотъ взглядъ на Годунова сильно напоминаетъ собой добродушный павосъ Сумароковскаго «Димитрія Самозванца»...

Прежде всего замѣтимъ, что Карамзинъ сдѣлалъ великую ошибку, позволивъ себѣ до того увлечься голосомъ современниковъ Годунова, что въ убіеніи царевича увидѣлъ неопровержимо и несомиѣнно доказанное участіе Бориса... Изъ нашихъ словъ впрочемъ отнюдь не слѣдуеть, чтобъ мы прямо и рѣшительно оправды-

вали Годунова отъ всякаго участія въ этомъ преступленіи. Нътъ, мы въ криминально-историческомъ процессъ Годунова видимъ совершенную недостаточность доказательствъ за н противъ Годунова. Судъ исторіи долженъ быть осторожень и безпристрастень, какъ судъ присяжныхъ по уголовнымъ дъламъ. Гръшно н стыдно утвердить недоказанное преступление за такимъ замъчательнымъ человъкомъ, какъ Борисъ Годуновъ. Смерть царевича Димитрія дъло темное и неразръшимое для потомства. Не утверждаемъ за достовърное, но думаемъ, что съ большей основательностью можно считать Годунова невиннымъ въ преступленін, нежели виновнымъ. Одно уже то сильно говоритъ въ пользу этого мивнія, что Годуновъ, человъкъ умный и хитрый, администраторъ искусный и дипломать тонкій, —едва ли бы совершилъ свое преступление такъ неловко, нельно, нагло, какъ свойственно было бы совершить его какому-нибудь удалому пройдохв, въ родъ Димитрія Самозванца, который увлекался только минутными движеніями своихъ страстей и хотълъ пользоваться настоящимъ, не думая о будущемъ. Годуновъ имълъ всъ средства совершить свое преступление тайно, ловко, не навлекая на себя явныхъ подозръній. Онъ могъ воспитать царевича такъ, чтобъ сдълать его неспособнымь къ правлению и довести до монашеской рясы; могь даже искусно оспаривать законность его права на наслъдство, такъ какъ царевичъ былъ плодомъ седьмого брака Іоанна Грознаго. Самое въроятное предположение объ этомъ темпомъ событи нашей исторіи должно, кажется, состоять въ томъ, что нашлись люди, которые слишкомъ хорошо поняли, какъ важна была для Годунова смерть младенца, заграждавшаго ему доступъ къ престолу, и которые, не сговариваясь съ нимъ и

не открывая ему своего умысла, думали этимъ страшнымъ преступленіемъ оказать ему великую и давно ожидаемую услугу. Это напоминаетъ намъ сцену изъ «Антонія и Клеопатры» Шекспира, на палубъ Помпеева корабля, гдъ Менасъ, сторонникъ Помпея, вызывается сдфлать его властелиномъ всего міра, давъ ему возможность овладъть тремя пирующими у него соперниками: Цезаремъ, Антоніемъ и Лепидомъ (дъйств. II, сцена 7). И если услужники Годунова были догадливъе и умнъе Менаса, нельзя не видъть, что они оказали Годунову очень дурную услугу не въ одномъ нравственномъ отношеніи. Если-жъ Годуновъ внутренно, втайнъ, доволенъ былъ ихъ услугой, -- нельзя не согласиться, что на этоть разъ онъ былъ очень близорукъ и недальновиденъ. Радоваться этому преступленію-значило для него радоваться тому, что у его враговъ было наконецъ странное противъ него оружіе, которымъ они при случав хорошо могли воспользоваться. Нъть, еще разъ: скоръе можно предположить (какъ ни странно подобное предположение), что царевичь погибъ отъ руки враговъ Годунова, которые, сваливъ на него это преступленіе, какъ только для него одного выгодное, могли разсчитывать на върную его гибель. Какъ бы то ни было, върно одно: ни историкъ «Государства Россійскаго», ни рабски слъдовавшій ему авторъ «Бориса Годунова» не имъли ни малъйшаго права считать преступление Годунова доказаннымъ и неподверженнымъ сомивнію.

Но—скажуть намь—убъждение Карамзина оправдывается единодушнымь голосомь современниковъ Годунова, убъждениемъ всего народа въ его время; а въдь гласъ Божій—гласъ народа! Такъ; но здъсь главный фактъ есть убъждение тогдашняго народа въ представлении

Годунова, а готовность, расположение народа къ этому убъждению, прасположение, причина котораго заключалась въ нелюбви, даже въ пенависти народа къ Годунову. За что же эта пенависть къ человъку, который такъ любилъ народъ, столько сдълалъ для него, и котораго самъ народъ спачала такъ любилъ повидимому?—Въ томъ-то и дъло, что тутъ съ объихъ сторонъ была лишь «любовь повидимому»—н въ этомъ заключается трагическая сторона личности Годунова и судьбы его. Если бы Пушкинъ видълъ эту сторону, тогда, вмъсто характера вполовину мелодраматическаго, у него вышель бы характерь простой, естественный, поиятный и вмъстъ съ тъмъ трагическивысокій. Правда, и тогда у Пушкина не было бы драмы въ строгомъ значенін этого слова; по зато была бы превосходная драматическая поэма, или эпическая трагедія.

Итакъ, разгадать историческое значение и историческую судьбу Годунова—значить объяснить причину: почему Годуновъ, новидимому столь любившій народъ и столь много для него сдѣлавшій, не быль любимъ народомъ? Понытаемся объяснить этоть вопросъ такъ, какъмы его понимаемъ.

Карамзинъ и Пушкинъ видятъ въ этой новидимому незаслуженной ненависти народа къ Годунову кару за его преступленіе. Слабость и неръщительность мъръ, принятыхъ Годуновымъ противъ Самозванца, они принисывають смущенію виновной совъсти. Это взглядъ чистомелодраматическій и въ историческомъ, и въ поэтическомъ отношеніяхъ, особенно въ примъненіи къ такому необыкновенному человъку, каковъ былъ Борисъ! Въ поэмъ Пушкина самъ Годуновъ объясияеть причину народной къ себъ ненависти такъ:

Живая власть для черни ненавистна,— Они любить ум'вють только мертвыхъ. Безумны мы, когда народный плескъ, Иль ярый вопль тревожить сердце наше.

Это оправдание—не голосъ истины, а голосъ оскорбленнаго самолюбія, не твердая рѣчь великаго человѣка, а плаксивая жалоба неудавшагося кандидата въ геніи, раздосадованнаго неудачей. Нѣтъ, пародъ никогда не обманывается въ своей симпатіи и антипатіи къ живой власти: его любовь или его нелюбовь къ ней—высшій судъ! Гласъ Божій—гласъ народа!

Изъ всвхъ страстей человъческихъ, послъ самолюбія, самая сильная, самая свиръпаявластолюбіе. Можно навірное сказать, что ни олна страсть не стоила человъчеству столько страданій и крови, какъ властолюбіе. Во времена просвъщенныя и у народовъ цивилизованныхъ властолюбіе является всегда въ соединеніи съ честолюбіемь, такъ что иногда трудно ръшить, которая изъ этихъ страстей господствующая въ человъкъ, и властолюбіе кажется только результатомъ честолюбія. Во времена варварскія у народовъ необразованныхъ властолюбіе имъеть другое значеніе, потому что соединяется не только съ честолюбіемъ, но еще сь чувствомь самохраненія: гдв, не будучи первымъ, такъ легко погибнуть ни за что, - такъ всякому вдвойнъ хочется быть первымъ, чтобъ никого не бояться, но всъхъ страшить. Но такъ какъ каждому изъ всъхъ или многихъ невозможно быть первымъ, то право перваго естественнымъ ходомъ исторін вездъ утвердилось потомственно въ одномъ родъ на основаніи права въ прошедшемъ или преданія. Время освятило и утвердило это право за немногими родами. Это отняло у всвхъ и у многихъ всякую возможность губить другь друга и цълый

народъ притязаніями на верховное первенство. Передъ правомъ избраннаго Провидъніемъ рода умолкла зависть, смирилось властолюбіе: родъ признанъ высшимъ надо всеми по праву свыше, и равные между собой охотно повинуются высшему передъ всеми ими. Но когда царствующій родъ прекращается послѣ наслѣдственнаго владычества въ продолжение нъсколькихъ въковъ, и когда право высшей власти захватываеть челов'єкь, вчера бывшій равнымъ со всеми передъ верховной властью, а сегодня долженствующій начать собой новую династію, тогда естественно разнуздывается у встхъ страсть властолюбія. Каждый думаеть: если оно могь быть избрань, почему же я не могь? Чъмъ оно лучше меня, и почему не я лучше его? Но счастливый властолюбецъ силой и хитростью заставляеть молчать всъхъ и все: страсти умолкають, но до времени, до случая...

Естественно, у кого иътъ въ отношенін пріобрътенія верховной власти освященнаго въками права закопнаго наследія, тому, чтобъ заставить въ себв видъть не похитителя власти, а властелина по праву, остается опереться только на право личнаго превосходства надъ всъми, на право генія. Только на условін этого права толпа согласится безусловно признать владычество человіка, который въ гражданскомъ отношенін еще вчера стоялъ наравив съ ней. Было ли за Годуновымъ это право?— Нътъ!--И вотъ гдъ разгадка его историческаго значенія и его исторической судьбы: онъ хотълъ играть роль генія, не будучи геніемъ, и за то палъ трагически и увлекъ за собой паденіе своего рода...

Такой человъкъ есть лицо трагическое; такая участь есть законное достояніе трагедіи. И что бы могъ сдълать Пушкинъ изъ своей

поэмы, если-бъ взглянулъ на идею Бориса Годунова съ этой точки! Въ какой бы сферѣ челов вческой двятельности ни проявился геній, онъ всегда есть олицетвореніе творческой силы духа, въстникъ обновленія жизни. Его назначеніе—ввести въ жизнь новые элементы и чрезъ это двинуть ее впередъ на высшую ступень. Явленіе генія-эпоха въ жизни народа. Генія уже н'вть, а народъ долго еще живеть въ формахъ жизни, имъ созданной, долгодо новаго генія. Такъ Московское царство, возникшее силою обстоятельствъ при Іоаннъ Калитъ и утвержденное геніемъ Іоанна III, жило до Петра Великаго. Тоть не геній въ исторіи, чье твореніе умираеть вмість съ нимъ: геній по пути исторіи пролагаеть глубокіе слъды своего существованія долго послъ своей

смерти.

Борисъ Годуновъ былъ человъкъ необыкновенно умный и способный. Царедворецъ жестокаго царя, онъ умѣлъ попасть къ нему въ милость, не замаравъ себя ни каплею крови, ни безчестнымъ поступкомъ. Но это умънье объясняется отчасти ловко разсчитанной женитьбой на дочери палача, Малюты Скуратова. Въ этой чертв высказывается ловкій царедворець, но генія еще не видно. Всякій, даже самый ограниченный, но хитрый человъкъ сумълъ бы разсчесть выгоды такого брака въ царствование Грознаго; но гений можеть быть и не решился бы на такой разсчеть, тая въ себв огромные замыслы на будущее: титло зятя палача Малюты Скуратова было ненавистно тому народу, владыкой котораго впослъдствіи сдълался Годуновъ. Повторяемъ: разсчеть тонкій, хитрый, но не геніальный; въ немъ виденъ придворный интриганъ, а не будущій великій государь... Годуновъ дълается зятемъ наслъдника, а по смертн Грознаго-членомъ верховной думы, -и Грозный ему въ особенности, мимо старшихъ бозавъщалъ блюсти царство. въдьмы не предсказывали этому новому Макбету его будущаго величія; но его головъ было оть чего закружиться и безъ предсказаній! Это фантастическое счастье онъ могь принять за лучшее изъ всъхъ предсказаній! Онъ уничтожилъверховную думу и оффиціально былъ названъ правителемъ государства: только для вида подавалъ голосъ въ царской думъ, но решалъ все дела самовластно, принималъ пословъ, договаривался съ ними и давалъ ихъ свить цъловать свою руку... На троив сидълъ царь по имени, молчальникъ и молельщикъ въ сущности, который вручиль своему родственнику и любимцу всю свою власть, «избывая мірскія суеты и докуки»... Чего не доставало Годунову?-только престола... И онъ достигъ ero.

Какъ правитель и какъ царь, Годуновъ обнаружилъ много ума и много способности, но нисколько генія. Въ томъ и другомъ случав это быль не больше, какъ умный и способный министръ, -- но не Сюлли, не Кольберъ, которые умъли открыть новые источники государственной силы тамъ, гдв никто не подозръвалъ ихъ: иътъ, это былъ министръ, который съ успъхомъ велъ государство по старой, уже проложенной колеи, на основании сохранения statu quo. Насильственная смерть царевича,кто бы пи былъ ея причиной, -- уже бросила на него твиь подозрвнія въ глазахъ народа, и это подозрвніе всвии силами возбуждали и поддерживали враги его-бояре, которые естественно никакъ не могли простить ему присвоеніе того, на что каждый изъ нихъ считаль себя точно въ такомъ же, какъ и онъ, правъ. Какъ правитель, Годуновъ не могъ

вносить новыхъ элементовъ въ жизнь государства, которымъ управлялъ не отъ своего нмени. Подобная попытка могла бы разстроить всъ его планы и погубить его. Но когда онъ сдълался царемъ, -- тогда онъ непремънно должень быль явиться реформаторомъ-зиждителемъ, чтобъ заставить и народъ и враговъ своихъ-бояръ-забыть, что еще недавно былъ онъ такимъ же, какъ и они, подданнымъ. Но что же онъ сдълалъ для Россін, сдълавшись ея царемъ?-- и какимъ царемъ-- самовластнымъ, воля котораго для народа была воля Божья! Чего бы нельзя было сдълать съ такой властью, подкрепляемой геніемъ! Но н сдълавшись царемъ, Годуновъ остался тъмъ же умнымъ и ловкимъ правителемъ, какимъ былъ и при Өеодоръ. Надъ окружающими его боярами онъ имълъ личныхъ преимуществъ не больше, какъ на столько, чтобъ оскорбить своимъ превосходствомъ ихъ самолюбіе, ихъ ограниченность и посредственность, по не на столько, чтобъ покорить ихъ этимъ превосходствомъ, заставить ихъ пасть передъ нимъ, какъ передъ существомъ высшаго рода... Онъ ловко разыгралъ комедію, по счастливому выражению Пушкина, «морщившись передъ короной, какъ пьяница передъ чаркой вина»; онь заставиль себя избрать, а не самь объявиль себя царемъ; онъ долго обнаруживалъ какой-то ужась къ мысли о верховной власти, и долго заставляль себя умолять. Но эта комедія даже черезчуръ тонко была разыграна н въ ней проглядываетъ не образъ великаго человъка, который всегда прямо идеть къ своей цвли, даже и тогда, когда идетъ къ ней не прямой дорогой, а образъ «маленькаго великаго человъка», смълаго интригана. Это сейчасъ же и обнаружилось, какъ скоро избраніе было рішено, и візнчаніе осталось уже

только обрядомъ, который не опасно было и отложить на время. Когда Сиксть V былъ избранъ конклавомъ, онъ вдругъ выпрямился и, противъ обыкновенія, самъ запълъ «Те Deum»: въ этой поспъшности виденъ великій человъкъ, достигшій своей ціли и принимающій власть, не какъ нищій копейку съ низкими поклонами, но съ увъренностью и гордостью силы, сознающей свое право на власть. Сиксть не началь разсыпаться въ объщаніяхъ: буду-де таковъ-то и таковъ, сдълаю то и другое; а сейчасъ началъ быть и дълать, никому не угрожая, ни къ кому не подлаживаясь, и заставляя трепетать техъ, которые никого не трепетали и которыхъ всв трепетали... Не такъ поступилъ Годуновъ. При вънчаніи на царство онъ клянется быть отцомъ народа, показываеть свою рубашку, говоря, что всегда будеть готовъ раздълить ее съ послъднимъ своимъ подданнымъ... Кто просилъ, кто требоваль отъ него этихъ объщаній и клятвъ? И что значать они, что видно въ нихъ, если не чрезмірная радость о достиженін давно желанной цъли, если не благодарность, рожденная этой радостью-благодарность за блестящее бремя не по силамъ, за великое титло не по достоинству, за высшую власть не по заслугъ?.. Не такъ принимаетъ подобную власть геній, великій человъкъ: онъ береть ее, какъ что-то свое, принадлежащее ему по праву, никому не кланяясь, никого не благодаря, никому не дълая объщаній, не давая клятвъ въ порывъ дурно скрытаго восторга. Вскоръ послъ Годунова въ русской исторіи спова повторилось эрълнще объщаній и клятвъ: ничтожный Шуйскій въ благодарность за корону, которой онъ сознавалъ себя внутренно недостойнымъ, предлагалъ боярщинъ права, которыхъ она отъ него не просила и взять не хотъла... Но воть Годуновъ — царь. Ласкамъ народу нътъ конца, милости на всѣхъ льются рѣкой... Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и слъдовательно самый обширный слой... Это была какая-то нъжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь. Народъ долженъ бы былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всъхъ бывшихъ до него царей русскихъ... Въ такомъ случав, что ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражи его стояла лучшая и надежнъйшая изъ всъхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій-любовь народная... и въ самомъ дълъ, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова-и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головъ только, а не въ сердцъ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ... Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удвояеть свои благодъянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса. Еще прежде его царствованія, когда еще онъ былъ только правителемъ, тънь убитаго царевича начала его преслъдовать; Борисъ дълаетъ счастливый отпоръ наглому нашествію на Россію крымскаго хана, проникшаго до ствнъ самой Москвы, а народъ говорить, что самъ Борись призваль хана, чтобъ отвратить общее винмание отъ смерти царевича и дешевой цъной прославиться избавителемъ отечества... Царица родила дочь: заговорили

что она родила сына, а Борисъ подмѣнилъ его дѣвочкой; а когда маленькая царевна умерла, прошелъ слухъ, что Годуновъ отравилъ ее, боясь, чтобъ Өеодоръ не передалъ ей престола... Въ Москвѣ начались пожары: Борисъ казнилъ зажигателей и помогъ погорѣвшимъ; а народъ обвинялъ его самого въ зажигательствѣ и жалѣлъ о казненныхъ, какъ о невинныхъ жертвахъ... Годуновъ сталъ преслѣдовать распускателей этихъ слуховъ и казнить ихъ: ничего худшаго не могъ онъ выдумать— это значило согласиться въ справедливости слуховъ... Ясно, что слухи эти распускали бояре; но народъ ловилъ ихъ жаднымъ ухомъ...

Но вотъ вънчаніе на царство ослъпило народъ: и Борисъ, и самъ народъ приняли удивленіе за любовь.... Комедія продолжалась только одинъ годъ: Борисъ не выдержалъ своей роли и сорвалъ съ себя маску, не имъя силы дальше носить ее. Интриганъ становится тираномъ и напоминаетъ собой Грознаго. У него есть свой Малюта Скуратовъ: это презрънный, подлый рабъ его—Семенъ Годуновъ. Лаская и награждая явно, онъ мучить и казнить тайно, и все по поводу слуховь, все по подозрвнію въ ненависти къ царю и злыхъ противъ него умысловъ. Бъльскаго, уже разъ сосланнаго въ ссылку, онъ ссылаеть снова, выщипавъ ему всю бороду по одному волоску,какое татарское наказапіе!.. Тюрьмы были набиты биткомъ, шпіонство сдівлалось не только выгоднымъ, но и почетнымъ ремесломъ... Явныхъ казней было мало; большей частью все умирали скоропостижно; этотъ человъкъ не умълъ быть даже тираномъ открыто, какъ Грозный, и тиранствоваль во мракв, тайкомъ... Открывается страшный голодъ въ Россін; народъ гибнетъ тысячами, шайки разбойниковъ грабять и ръжуть безпаказанно; Борись строго

наказываеть скупщиковъ хлъба, сыплеть на пародъ деньгами, даеть пріють голоднымь и нищимъ, посылаетъ отряды противъ разбойниковъ, строитъ башню Ивана Великаго, чтобъ дать народу работу, словомъ, онъ честно, върно исполняетъ свою клятву-дълить съ народомъ послъднюю рубашку свою... II все напрасно, и все тщетно!.. Проносятся слухи о Самозванцъ; наконецъ Самозванецъ уже поддерживается Польшей, идеть въ Россію, къ нему передаются русскіе толпами; а Годуновъ инчего не дълаетъ, ничего не предпринимаеть, онь только собираеть, жжеть манифесты Самозванца и требуеть отъ Шуйскаго клятвы, что царевичь точно умеръ. Какой жалкій царь! Онъ могъ бы раздавить Самозванца—и палъ подъ его ударами. Подозръвають, что онъ отравиль себя ядомъ: можеть быть: но также можеть быть, что онъ умерь скоропостижно отъ страшнаго напряженія силь, вследствіе внутреннихь волненій. Въ обонхъ случаяхъ онъ умеръ малодушно. Первое извъстіе о Самозванцъ Годуновъ принялъ даже очень холодно; это можеть служить доказательствомъ не одному тому, что онъ былъ увъренъ въ смерти царевича, но и тому, что онъ былъ невиненъ въ ней; въ то же время это служить доказательствомь, какъ мало быль опъ дальновиденъ, какъ худо понималъ свое положеніе. Онъ бы долженъ былъ знать, что тынь царевича-самый ужасный врагь его во всякомъ случав, быль онъ убійцей царевича, или нътъ: въ первомъ случат эта тънь была его неизбъжной карой за преступление; во второмъ-она была превосходнымъ предлогомъ для народной ненависти. Бояре могли знать невинность Годунова: но если народъ не любиль его-этого было уже слишкомъ достаточно, чтобъ для народа преступленіе его было

яснъе дня. Пока царевичь жиль въ Угличъ съ матерью, —на него никто не обращаль вниманія: въдь онь быль плодомъ седьмого брака Грознаго, и личный характеръ его матери не возбуждаль ни участія, ни уваженія; Грозный хотъль ее отослать отъ себя и жениться въ восьмой разъ, но смерть помъщала ему выполнить это намъреніе. Когда же царевичь быль убить, и народная ненависть запылала, —младенець, святой мученикъ, сдълался предметомъ

народнаго благоговънія...

На всъхъ дъйствіяхъ Бориса, даже самыхъ лучшихь, лежить печать отверженія. Всъ дъла его неудачны, не благодатны, потому что всъ они выходили изъ ложнаго источника. Любовь его къ народу была не чувствомъ, а разсчетомъ, и потому въ ней есть что-то ласкательное, льстивое, угодническое, и потому народъ не обманулся ею и отвътилъ на нее ненавистью. Удивительное существо—народъ! Почти всегда невъжественный, грубый, ограниченный, слъпой, — онъ непогръщительно истиненъ и правъ въ своихъ инстинктахъ; если онъ иногда обманывается съ этой стороны, то на одну минутуне болье, и кто не любить его по внутренней, живой, сердечной потребности любить его,тотъ можеть осыпать его деньгами, умирать за него, — онъ будеть имъ превозносимъ и восхваляемъ, но любимъ никогда не будетъ. Если же кто любить его не по разсчету, а по внутренней инстинктуальной потребности любить, тоть можеть итти вопреки всемь его желаніямъ, — и за это народъ будеть его осуждать, будеть на него роптать и въ то же время будеть любить его. Какъ Годуновъ служить живымъ доказательствомъ первой истины, такъ Петръ Великій служить живымъ доказательствомъ второй. Онъ задумалъ страшную реформу, пошелъ наперекоръ духу, преданіямъ,

исторіи, обычаямь, привычкамь народа, — и не только умивншіе изъ людей его времени имъли полное право смотръть на его реформу, какъ на самую несбыточную и противную здравому смыслу фантазію, но въроятно и у него самого бывали горькія минуты сомнінія и разочарованія, когда и самъ онъ думаль то же. Реформа его встрътила сильную оппозицію—но со стороны только мятежныхъ стръльцовъ и невъжественныхъ раскольниковъ: эта оппозиція была слишкомъ безсильна передъ его двойнымъ правомъ дъйствовать самовластно-правомъ наслъдства и правомъ генія; но и со стороны всего народа, котораго съ теплыхъ палатей лъни и невъжества стащиль онъ на трудъ живой и дъятельный. Народъ, повинуясь ему безусловно, осуждаль его дъйствія и ропталь на него, но вмъстъ съ тъмъ и любилъ его до готовности отдать за него последнюю каплю своей крови... Между тъмъ Петръ никогда не дълалъ ему объщаній, не давалъ ему клятвъ, но шелъ гордо и прямо, требуя повиновенія, а не умоляя о немъ; но зато все объщанное народу Годуновымъ онъ исполнялъ на дълъ, и еще гораздо лучше, потому что дъйствоваль въ этомъ случав не по разсчету, а по влеченио сердца... Таковъ геній: затьявь дьло, которое, по всемъ разсчетамъ человеческой мудрости, не могло не казаться безуміемь, онь доводить его до конца, торжествуя надъ всеми препятствіями... Въ чемъ состоить тайна этого успъха?—въ творческой силъ, присущей организму генія, какъ инстинкть, больше ни въ чемъ! Геній часто дъйствуеть инстинктивно, безумно, и всегда успъваеть, -- между тъмъ какъ таланть разсчитываетъ върно, соображаетъ тонко, дъйствуеть мудро, всв это видять и всв одобряють эту цъль и средства, никто не сомнъвается въ успѣхѣ, —а между тѣмъ, глядь, —вся

эта мудрость сама собой обратилась въ безуміе и великол'єпное зданіе, воздвигавшееся съ такимътрудомъ, очутилось карточнымъ домикомъ, дунулъ вѣтеръ—и иѣтъ его... Вотъ талантъ,

который берется за роль генія!..

Борисъ Годуновъ не былъ человъкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ, напротивъ, это быль человъкь ума великаго, который цълой головой стоялъ выше многихъ предразсудковъ своего времени: первый изъ царей русскихъ решился онъ выдать дочь за иностраннаго и иновърнаго принца; говорять, хотълъ и сына женить на иностранной принцессъ; это вовлекло бы Россію въ болѣе живыя и плодотворныя отношенія съ Европой, нежели въ какихъ она была съ ней до того времени, и потому имъло бы огромное вліяніе на ея будущую судьбу. Борись уважаль просвъщение, тщательно, сколько было въ его средствахъ, воспитываль дътей своихъ, особенно сына; хотълъ основать въ Москвъ университеть и послалъ въ Европу за учеными людьми. Уже одно то, что онъ попяль необходимость опереться преимущественно на любовь народа, показываеть, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастья. Но всв предпріятія его не состоялись, именно потому (а не почемунибудь другому), что у него быль только умъ и даровитость, по не было геніальности, -- тогда какъ судьба поставила его въ такое положение, что геніальность была ему необходима. Будь опъ законный, наследный царь, — опъ былъ бы однимъ изъ замъчательнъйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не измъняя его; адля этого и безъ геніальности достало бы у него ума и способности-н онъ много сдълалъ бы полезнаго для Россін. Но онъ былъ выскочка (parvenu) и потому должень быль быть бы геніемъ или пасть—и палъ... Ведя Русь по старой колеф, онъ самъ не могъ не споткнуться на той колев, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видъла его бояриномъ прежде, чъмъ увидъла царемъ своимъ. Чтобъ утвердиться самому на престолъ и упрочить его за своимъ потомствомъ, -- ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь повые элементы. Но для этого у него не было никакой иден, пикакого принципа. Онъ быль только умиће своего времени, но не выше его. Въ немъ самомъ жила старая Русь, доказательство—его тиранія и борода Бъльскаго... А между тъмъ онъ чувствовалъ, что по его положению ему необходимо быть преобразователемъ, но вмъсть съ тъмъ, какъ человъкъ не геніальный, думаль, что для этого достаточно только прибавить кое-что новаго. И воть онъ учреждаеть въ Москвъ патріаршій престоль и сажаеть на него не лучшаго, а преданнъйшаго нзъ духовныхъ лицъ, который и короновалъ его впоследствін. Это нововведеніе было совершенно въ духъ того времени, -- новое доказательство, что Годуновъ не былъ выше своего времени и пичего не видълъ за нимъ... Другое нововведеніе было еще болѣе въ современномъ ему духѣ, и по тому самому было вредно для Россіи того въка и для новой Россіи, и гибельно для самого Годунова: мы говоримъ о томъзаконъ Годунова, который- увъковъченъ русской пословицей: «Воть тебъ, бабушка, Юрьевъ день!». Этимъ нововведеніемъ Годуновъ раздражиль объ стороны, которыхъ оно касалось, -- и помъщиковъ, и крестьянь. Первые жаловались, что они не могуть теперь выгнать изъ своего помъстья лъннваго или развратнаго холопа и обязаны кормить его за то, что онъ ничего не дълаетъ, или за то, что онъ воруетъ и пьетъ. Вторые-говоря

языкомъ римскаго права, изъ personae сдълались res. Значить, до Годунова у насъ не было
кръпостного сословія, и въ этомъ отношеніи не
мы у Европы, а Европа у насъ могла бы съ
большей для себя пользой позаимствоваться.
Вмъсто кръпостного права, у насъ было только
помъстное право—право владъть землей и обрабатывать ее руками пролетаріевъ на свободныхъ съ ними условіяхъ, обратившихся въ обычай. Этотъ новый законъ былъ такъ въ духъ
тъхъ временъ, что утвердился и укоренился
падолго—до временъ Екатерины, уничтожившей даже слово «рабъ» и измънившей положеніе этого сословія. И вотъ чъмъ пережиль себя

Годуновъ въ потомствъ...

У великаго человъка и сердце великое. Идя своей дорогой и опираясь на свою силу, онъ ничего не боится; онъ разить своихъ враговъ, но не мстить имъ; въ ихъ паденіи для него заключается торжество его дъла, а не удовлетвореніе обиженнаго самолюбія. Петръ Великій умтлъ карать враговъ своего дъла и умълъ прощать личныхъ враговъ, если видълъ, что они ему не опасны. Его кара была актомъ правосудія, а не дізломъ личнаго мщенія, и онъ каралъ открыто, среди бълаго дня, но не отравляль во мракъ; принявъ публично доносъ, публично изследоваль дело и публично наказываль, если донось оказывался справедливымь. Когда бунть стрълецкій заставиль его воротиться изъ путеществія, -- кровь стрѣльцовь лилась ръкой въ глазахъ грознаго царя, и онъ не боялся показаться тираномъ, потому что не быль имъ. Не такъ дъйствовалъ Годуновъ. Сперва онъ крѣпился, надъясь лаской и милостью обезоружить тайныхъ враговъ и прекратить неблагопріятные о себъ толки; но видя, что это не дъйствуетъ, —не вытерпълъ, и тогда настала эпоха террора, шпіонства, доносовъ

пытокъ и скоропостижныхъ смертей... У Годунова не было великаго сердца, и потому опъ не могъ не мучиться подозрѣніями, не бояться крамолы, не увлекаться личнымъ мщеніемъ и наконецъ не сдѣлаться тираномъ. Словомъ, онъ былъ только замѣчательный, а не великій человѣкъ, умпый и талантливый администраторъ, но не геній.

Итакъ, върно понять Годунова исторически и поэтически—значить понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ—виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевнча или невиновенъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человъкомъ, тогда какъ его положеніе непремѣнно требовало отъ него

геніальности. Это просто и ясно.

Отчего же не понялъ этого Пушкинъ? Или не достало у него художественной проницательности, поэтическаго такта? Нътъ, оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему. Вообще надобно замътить, что чъмъ больше понималъ Пушкинъ тайну русскаго духа и русской жизни, тъмъ больше иногда и заблуждался въ этомъ отношеніи. Пушкинъ былъ слишкомъ русскій человѣкъ, и потому не всегда върно судилъ обо всемъ русскомъ: чтобъ что-нибудь върно оцвнить разсудкомъ, необходимо это что-нибудь отдълить отъ себя и хладнокровно посмотръть на него, какъ на что-то чуждое себъ, внъ себя находящееся, а Пушкинъ не всегда могъ дълать это, потому именно, что все русское слишкомъ срослось съ нимъ. Такъ, напримъръ, онъ въ душъ былъ больше помъщикомъ и дворяниномъ, нежели сколько можно ожидать этого отъ поэта. Говоря въ своихъ запискахъ о своихъ предкахъ, Пушкинь осуждаеть одного изъ нихъ за то, что тоть подписался подъ соборнымъ дѣяніемъ объ уничтоженіи мъстничества. Первыми своими произведеніями онъ прослыль на Руси за русскаго Байрона, за человъка отрицанія. Но ничего этого не бывало: невозможно предположить болье анти-байронической, болье консервативной натуры, какъ натура Пушкина. Вспоминая о тъхъ его «стишкахъ». которые молодежь того времени такъ любила читать въ рукониси, нельзя не улыбнуться ихъ дътской невинности и не воскликнуть:

То кровь кипить, то силь избытокъ!

Пушкинъ былъ человъкомъ преданія гораздо больше, нежели какъ объ этомъ еще и теперь думають. Пора его «стишковъ» скоро кончилась потому что скоро поняль онь, что ему падо быть только художникомъ, и больше ничъмъ, ибо такова его натура, а слъдовательно таково и призвание его. Онъ началъ съ того, что написалъ эпиграмму на Карамзина, совътуя ему лучше локончить «Илью Богатыря», нежели приниматься за исторію Россін, а кончиль темъ, что одно изъ лучшихъ своихъ произведеній написалъ подъвліяніемъ этого историка и посвятилъ «драгоцівньой для россіянь памяти Николая Михайловича Карамзина сей трудъ, геніемъ вдохновенный». Нельзя не согласиться, что есть что-то оффиціальное и капцелярское въ самомъ складъ и языкъ этого посвященія, написаннаго по Ломоносовской конструкціи, съ зав'ятнымъ «сей». Кстати о сихъ, оныхъ и таковыхъ: Пушкинъ всегда употреблялъ ихъ по любви къ преданію, хотя къ его сжатому, опредъленному, выразительному и поэтическому языку они такъ же плохо шли, какъ грязныя пятна идутъ къ модному платью свътскаго человъка, собравшагося на балъ. Но когда «Библіотека для Чтенія» воздвигла гоненіе на эти «старопечатныя» слова, Пушкинъ еще болъе, еще чаще началъ

унотреблять ихъ къ явному вреду своего слога. Въ этомъ поступкъ не было духа противоръчія, ни на чемъ неоснованнаго, напротивъ, тутъ дъйствовалъ духъ принципа-слъпого уваженія къ преданію. Если уваженіе къ преданію такъ сильно выразилось въ отношеніи къ симъ, онымъ, таковымъ и коимъ, то естественно, что оно еще сильнъе должно было проявляться въ Пушкинъ въ отношеніи къ живымъ и мертвымъ авторитетамъ русской литературы. Пушкинъ не зналъ, какъ и возвеличить поэтическій таланть Баратынскаго, и видъль большого поэта даже и въ Дельвигћ; Катенинъ, по его мивнію, воскресиль величавый геній Корнеля-бездълица!.. Изъ старыхъ авторитетовъ Пушкинъ не любилъ одного Сумарокова, котораго очень неосновательно ставиль ниже даже Тредьяковскаго. Всякая сколько-нибудь рѣзкая, хотя бы въ то же время и основательная критика на извъстный авторитеть огорчала его и не нравилась ему, какъ посягательство на честь и славу родной литературы. Но въ особенности не знало мфры его уважение и, можно сказать, его благоговъніе къ Карамзину, чему причиной отчасти было и то, что Пушкинъ былъ окруженъ людьми Карамзинской эпохи и самъ былъ воспитанъ и образованъ въ ея духъ. Если онъ мощно, побъдоносно выходиль изъ духа этой эпохи, то не иначе, какъ поэтъ, а не какъ мыслящій человъкъ, и не мысль дълала его великимъ, а ноэтическій инстинкть. Конечно, Пушкина не могли бы такъ сильно покорить мелкія произведенія Карамзина, и Пушкинъ не могъ находить особенной поэзін въ его стихотвореніяхъ и повъстяхъ, не могъ особенно увлечься пріятнымъ и сладкимъ слогомъ его статей и ихъ направленіемъ; но Карамзинъ не одного Пушкина, насколько поколаній увлекь окончательно своей «Исторіей Государства Россійскаго», которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣщительнымъ рыцаремъ «Исторіи» Карамвина и оправдывалъ ее не просто какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться

такимъ навсегда.

Удивительно ли послѣ этого что Пушкинъ смотрълъ на Годунова глазами Карамзина, и столько заботился объ истинъ и поэзіи, сколько о томъ, чтобъ не погрѣшить противъ «Исторіи Государства Россійскаго»? Ппотому его поэтическій инстинкть видень не въ цізлости (l'ensemble), а только въ частностяхъ его трагедін. Лицо Годунова, получивъ характеръ мелодраматическаго злодъя, мучимаго совъстью. лишилось своей целости и полноты; изъ живописнаго изображенія, какимъ бы должно было оно быть, оно сдълалось мозаической картиной или, лучше сказать, статуей, которая вырублена не изъ одного цъльнаго мрамора, а сложена изъ золота, серебра, мъди, дерева, мрамора, глины. Отъ этого Пушкинскій Годуновъ является читателю то честнымъ, то низкимъ человъкомъ; то героемъ, то трусомъ; то мудрымъ и добрымъ царемъ, то безумнымъ злодъемъ, и нътъ другого ключа къ этимъ противоръчіямъ, кромъ упрековъ невинной совъсти... Оть этого, за отсутствіемъ истинной и живой поэтической идеи, которая давала бы целость и полноту всей трагедін, «Борисъ Годуновъ» Пушкина является чъмъ-то неопредъленнымъ и не производить ръзкаго, сосредоточеннаго впечативнія, какого въ правъ ожидать отъ нея

читатель, безпрестанно поражаемый ея художественными красотами, безпрестанно восхищающійся ея удивительными частностями.

И дъйствительно, если, съ одной стороны, эта трагедія отличается большими недостатками, --- то, съ другой стороны, она же блистаетъ и необыкновенными достоинствами. Первые выходять изъ ложности идеи, положенной въ основаніе драмы; вторыя—изъ превосходнаго выполненія со стороны формы. Пушкинъ былъ такой поэть, такой художникь, который какъ будто не умълъ, если-бъ и хотълъ, и дурную идею воплотить не въ превосходную форму. Прежде всего спросимъ всъхъ, сколько-нибудь знакомыхъ съ русской литературой: до Пушкинскаго «Бориса Годунова», изъ русскихъ читателей, или русскихъ поэтовъ и литераторовъ, имълъ-ли кто-нибудь какое-нибудь понятіе о языкв, которымь должень говорить въ драмв русскій человікь до-Петровской эпохи? Не только врежде, даже послѣ «Бориса Годунова» явилась-ли на русскомъ языкъ хотя одна драма, содержание которой взято изъ русской исторіи, и въ которой русскіе люди чувствовали бы, понимали и говорили по-русски? И читая всъхъ этихъ «Ляпуновыхъ», «Скопиныхъ-Шуйскихъ», «Баторіевъ», «Іоанновъ Третьихъ», «Самозванцевъ», «Царей-Шуйскихъ», «Еленъ Глинскихъ», «Пожарскихъ», которые съ тридцатыхъ годовънастоящаго столътія наводнили русскую литературу и русскую сцену,-что видите вы въ почтенныхъ ихъ сочинителяхъ, если не Сумароковыхъ нашего времени? Не будемъ говорить о русскихъ трагедіяхъ, появлявшихся до Пушкинскаго «Бориса Годунова»: чего же можпо и требовать отъ нихъ! Но что русскаго во всъхъ этихъ трагедіяхъ, которыя явились уже послѣ «Бориса Годунова»? И не можно-ли подумать скоръе, что это нъмецкія пьесы, только

переложенныя на русскіе правы?—Словно гигантъ между пигмеями до сихъ поръ высится между множествомъ quasi-русскихъ трагедій Пушкинскій «Борись Годуновь», въ гордомъ и суровомъ уединеніи, въ недоступномъ величін строгаго художественнаго стиля, благородной классической простоты... Довольно уже расточено было критикой похваль и удивленія на спену въ кельв Чудова монастыря между отцомъ Пименомъ и Григоріемъ... Въ самомъ дълъ, эта сцена, которая была напечатана въ одномъ московскомъ журналъ года за четыре, нли лъть за пять до появленія всей трагедін, и которая тогда же надълала много шума,эта сцена въ художественномъ отношении, по строгости стиля, по неподдъльной и неподражаемой простоть, выше всъхъ похвалъ. Это что-то великое, громадное, колоссальное, никогда не бывалое, никъмъ не предчувствованное. Правда, Пименъ ужъ слишкомъ идеализированъ въ его первомъ монологъ, и потому чъмъ болъе поэтическаго и высокаго въ его словахъ, твмъ болве грвшитъ авторъ противъ истины н правды дъйствительности; не русскому, но и никакому европейскому отшельнику-лътописцу того времени не могли войти въ голову подобныя мысли-

На старости я сызнова живу; Минувшее проходить предо мноюДавио-ль оно неслось, событій полно, Волнуяся, какъ море-океанъ? Теперь оно безмолвно и спокойно: Немного лиџъ мнѣ память сохранила, Немного словъ доходитъ до меня, А прочее погибло невозвратно.

Ничего подобнаго не могъ сказать русскій отшельникъ-лѣтописецъ конца XVI и начала XVII въка; слъдовательно эти прекрасныя слова-ложь... но ложь, которая стоить истины: такъ исполнена она поэзіи, такъ обаятельно дъйствуетъ на умъ и чувство! Сколько лжи въ этомъ родъ сказали Корнель и Расипъ-и однако-жъ просвъщенивіншая и образованивішая нація въ Европъ до сихъ поръ рукоплещеть этой поэтической лжи! И не диво: въ ней, въ этой лжи относительно времени, мъста и правовъ есть истина относительно человъческаго сердца, человъческой натуры. Во лжи Пушкина тоже есть своя истина, хотя и условная, предположительная; отшельникъ Пименъ не могъ такъ высоко смотръть на свое призванье, какъ льтописець; но если-бъ въ его время такой взглядъ былъ невозможенъ, Пименъ выразился бы не иначе, а именно такъ, какъ заставиль его высказаться Пушкинь. Сверхъ того, мы выписали изъ этой сцены рашительно все, что можно осуждать, какъ ложь въ отношенін къ русской дъйствительности того времени: все остальное такъ глубоко проникнуто русскимъ духомъ, такъ глубоко върно исторической истинъ, какъ только могъ это сдълать лишь геній Пушкина—истинно-національнаго русскаго поэта. Какая, напримъръ, глубоко върная черта русскаго духа заключается въ этихъ словахъ Пимена:

Да вѣдаютъ потомки православныхъ Земли родной минувшую судьбу, соч. в. г. вълинскаго. ч. п. 22

Своихъ џарей великихъ поминаютъ За ихъ труды, за славу, за добро— А ва гръхи, за темныя дъянья Спасителя смиренно умоляютъ.

Вообще, въ этой сценъ удивительно хорошо обрисованы, въ ихъ противоположности, характеры Пимена и Григорія; одинь—идеалъ безмятежнаго спокойствія въ простотъ ума и сердца, какъ тихій свъть лампады, озаряющей въ темномъ углу иконы византійской живописи; другой—весь безпокойство и тревога. Григорію трижды снится одна и та же греза. Проснувшись, онъ дивится спокойствію, съ которымъ старецъ пишетъ свою льтопись,—и въ это время рисуетъ идеалъ историка, который въ то время былъ невозможенъ, другими словами, выговариваетъ превосходнъйшую поэтическую ложь:

Ни на челѣ высокомъ, ни во взорахъ Нельзя прочесть его сокрытых думъ; Все тотъ же видъ смиренный, величавый. Такъ точно дьякъ, въ приказахъ посѣдѣлый, Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ, Добру и злу внимая равнодушно, Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва.

Затъмъ онъ разсказываетъ старцу о «бъсовскомъ мечтаніи», смущавшемъ сонъ его:

Мить снилося, что лъстница крутая Меня вела на башню; съ высоты Мить видълась Москва, что муравейникъ; Внизу народъ на площади кипълъ И на меня указывалъ со смъхомъ; И стыдно мить, и страшно становилось, И, пацая стремглавъ, я пробуждался...

Въ этомъ тревожномъ снѣ—весь будущій Самозванець... И какъ по-русски обрисованъ онъ, какая вѣрность въ каждомъ словѣ, въ каждой чертѣ! Вотъ еще два монолога—факты глубоко-вѣрнаго, глубоко-русскаго изображенія этихъ двухъ чисто-русскихъ и такъ противоположныхъ характеровъ:

Пименъ.

Младая кровь играеть; Омиряй себя молитвой и постомь, И сны твои видфий легкихь будуть Исполнены. Донынф—если я, Невольною дремотой обезсилень, Не сотворю молитвы долгой къ ночи— Мой старый сонь не тихь и не безгрфшень; Мнф чудятся то шумные пиры, То ратный стань, то схватки боевыя, Везумныя потфхи юныхь льть!

Григорій.

Какъ весело провелъ свою ты младость! Ты воевалъ подъ башнями Казани, Ты рать Литвы при Шуйскомъ отражалъ, Ты видълъ дворъ и роскошь Іоанна! Счастливъ! а я отъ отроческихъ лътъ По келіямъ скитаюсь, бъдный инокъ! Зачъмъ и мнъ не тъшиться въ бояхъ, Не пировать за џарскою трапезой? Успълъ бы я, какъ ты, на старость лътъ Отъ суеты, отъ міра отложиться, Произнести монашества обътъ И въ тихую обитель затвориться.

Слѣдующій затѣмъ длинный монологъ Пимена о суетѣ свѣта и преимуществѣ затворнической жизни—верхъ совершенства! Тутъ рус-

скій духь, туть Русью пахнеть! Ничья, никакая исторія Россіи не дасть такого яснаго, живого созерцанія духа русской жизни, какъ это простодушное, безхитростное разсуждение отшельника. Картина Іоапна Грозпаго, искавшаго уснокоенія «въ подобін монашескихъ трудовъ»; характеристика Өеодора и разсказъ о его смерти, --- все это чудо искусства, неподра-жаемые образы русской жизни до-Петровской эпохи! Вообще вся эта превосходная сцена сама по себъ есть великое художественное произведеніе, полное и оконченное. Она показала какъ, какимъ языкомъ должны писаться драматическія сцены изъ русской исторін, если ужъ онъ должны писаться, и если не навсегда, то надолго убила возможность этихъ сценъ въ русской литературъ, потому что скоро-ли можно дождаться такого таланта, который послъ Пушкина могъ бы подвизаться на этомъ поприщъ?.. А при этомъ еще нельзя не нодумать, не истощиль-ли Пушкинъ своей трагедіей всего содержанія русской жизни до Петра Великаго такъ, что касаться другихъ эпохъ и другихъ событій историческихъ значило бы только-съ другими именами и названіями повторить одну и ту же основную мысль, и потому быть убійственно однообразнымъ?

Теперь о частностяхъ. Вся трагедія какъ будто состоить изъ отдѣльныхъ частей или сценъ, изъ которыхъ каждая существуеть какъ будто независимо отъ цѣлаго. Это показываетъ, что трагедія Пушкина есть драматическая хроника, образецъ который созданъ Шекспиромъ, Кромѣ превосходной сцены въ Чудовомъ монастырѣ, между старцемъ Пименомъ и Отрепьевымъ, въ трагедіи Пушкина есть много прекрасныхъ сценъ. Таковы: первая—въ кремлевскихъ палатахъ между Воротынскимъ и Пуйскимъ, въ которой и исторически, и поэти-

чески върно обрисованъ характеръ Шуйскаго; вторая—сцена народа и дьяка Щелкалова на площади; третья—въ кремлевскихъ налатахъ, между Борисомъ, согласившимся царствовать, натріархомъ и боярами. Въ этой сценъ превосходно обрисовано добросовъстное лицемърство Годунова,—въ томъ смыслъ добросовъстное, что, обманывая другихъ, онъ прежде всъхъ обманывалъ самого себя, какъ всякій талантъ, обольщаемый ролью генія. Прекрасно также окончаніе этой сцены, происходящее между Воротынскимъ и Шуйскимъ, гдъ характеръ послъдняго все болъе и болъе развивается; его слова—

Теперь не время помнить, Совътую порой и забывать,—

такъ оригинальны, что должны современемъ обратиться въ любимую пословицу для благоразумныхъ и осторожныхъ людей въ родъ Шуйскаго. Превосходна маленькая сцена между патріархомъ и игуменомъ, написанная прозой: это одинъ изъ драгоцъннъйшихъ перловъ тра-

гедіи.

Мы уже говорили по поводу шестой сцены о целой трагедіи; въ ней Борисъ является злодемъ, сперва сваливающимъ вину своихъ перудачъ и оскорбленій на неблагодарность народа, и посліть разсуждающій о томъ, какъ жалокъ тотъ, въ комъ нечиста совість. Намъ кажется, что это не драма, а мелодрама: истиннодраматическіе злодіти никогда не разсуждають сами съ собой о невыгодахъ нечистой совісти и о пріятности добродітели. Вмісто этого они дійствують, чтобъ дойти до ціли или удержаться у ней, если уже дошли до нея.

Седьмая сцена въ корчмъ на литовской границъ превосходна. Жаль только, что желаніе

выказать рѣзче дерзость Отрепьева увлекло поэта въ мелодраматизмъ, заставивъ его спровадить Самозванца въ окно корчмы, въ которое и курица проскочила бы съ трудомъ. Къ лучшимъ сценамъ трагедіи принадлежитъ восьмая—въ домѣ Шуйскаго. Превосходио, выше всякой похвалы, передалъ въ ней поэтъ, устами Шуйскаго, ропотъ и жалобы на Годунова его современниковъ. Выше мы уже выписали этотъ монологъ.

Слъдующая затъмъ большая сцена представляеть собой двъ части. Въ первой-Борисъ превосходно очерченъ, какъ примърный семьянинъ, нъжный отецъ; онъ утъшаетъ дочь, овдовъвшую невъсту, говорить съ сыномъ о сладкомъ плодъ ученія, о томъ, какъ помогаеть наука державному труду. Все это такъ просто, такъ естественно, —и Борисъ является въ этой сценъ во всемъ свъть своихъ лучшихъ качествъ. Во второй части сцены Борисъ узнаетъ отъ Шуйскаго о появленіи Самозванца. Странное волнение, обнаружение Борнсомъ при этомъ нзвъстіи, основано поэтомъ на виновной совъсти Годунова, — и его поспъшность къ ръшительнымъ мърамъ противоръчитъ исторической истинъ: извъстно, что Годуновъ вначалъ приняль слишкомъ слабыя мфры противъ Отрепьева, въроятно, не считая его за опаснаго врага. Но если смотръть на эту сцену съ точки зрвнія Пушкина, въ ней много драматическаго движенія, много страсти. Борись въ стращномъ волненіи, а Шуйскій, не теряя присутствія духа отъ мысли, что это волнение можетъ стоить головы, ни на минуту не перестаеть быть придворной лисой.

Сцена въ Краковъ, въ домъ Вишневецкаго, между Самозванцемъ и іезунтомъ Черниковскимъ очень хороша, за исключеніемъ Ломоносовской фразы—«сыны славянъ», не кстати вло-

женной поэтомъ въ уста Самозванцу. Продолженіе и конецъ этой сцены, гдѣ Самозванецъ говоритъ съ сыномъ Курбскаго, съ разными русскими, приходящими къ нему, съ полякомъ Собаньскимъ и поэтомъ,—не представляютъ

никакихъ особенно ръзкихъ чертъ.

За маленькой, но прелестной сценой въ замкъ Мнишка въ Самборъ слъдуеть знаменитая сцена у фонтана. Въ ней Самозванецъ является удальцомъ, который готовъ забыть свое дело для любви, а Марина—холодной, честолюбивой женщиной. Вообще эта сцена очень хороша; по въ ней какъ будто чего-то не достаетъ или какъ будто проглядывають какія-то ложныя черты, которыя трудно указать, по которыя тъмъ не менъе производять на читателя не совсъмъ выгодное для сцены впечатлѣніе. Кажется, пе преувеличиль ли поэть любовь Самозванца къ Маринъ, не сдълалъ ли онъ изъ минутной прихоти чувственнаго человъка какую-то глубокую страсть? Самозванець въ этой сценъ слишкомъ искрененъ и благороденъ; порывы его слишкомъ чисты: въ нихъ не видно будущаго растлителя песчастной дочери Годунова... Кажется, въ этомъ заключается ложная сторона этой сцены. Безразсудство Самозванца, его безумное признаніе передъ Мариной въ самозванствъ совершенно въ его характеръ, нылкомъ, отважномъ, дерзкомъ, на все готовомъ, но ръшительно неспособномъ ни на что великое, ни на какой глубоко обдуманный планъ; совершенно въ его характеръ и мгновенные порывы животной чувственности, но едва ли въ его характеръ человъческое чувство любви къ женщинъ. Характеръ Марины удивительно хорошо выдержань въ этой сценъ.

Сцена на литовской границъ между молодымъ Курбскимъ и Самозванцемъ до того приторна, фразиста и исполнена пустой декламаціи; выдаваемой за паоосъ, что трудно повірить, чтобъ она была написана Пушкинымъ...

Сцена въ царской думѣ между Годуновымъ, патріархомъ и боярами можетъ быть хороша, даже превосходна только съ Пушкинской точки зрѣнія на участіе Годунова въ смерти царевича; если же смотрѣть на нее иначе, она покажется искусственной, и потому ложной. Но въ ней есть двѣ превосходиѣйшія черты: это рѣчь патріарха о чудесахъ, творимыхъ останками царевича, и о чудномъ исцѣленіи стараго пастуха отъ слѣпоты. Вторая черта—ловкій обороть, которымъ хитрый Шуйскій выводитъ Годунова изъ замѣшательства, въ какое привело его неожиданное предположеніе патріарха.

Сцена на равнинъ, близъ Новгорода-Съверскаго, очень интересна своей живостью, характеромъ Маржерета и даже пестрой смъсью языковъ и лицъ. Сцена юродиваго на кремлевской площади можетъ быть сочтена даже за превосходную, но только съ Пушкинской точки зрънія на виновную совъсть Бориса. Въ сценъ подъ Съвскомъ Самозванцемъ обрисованъ очень удачно, особенно хороша эта черта:

Самозванецъ.

Ну! обо миъ какъ судять въ вашемъ станъ?

Плвиникъ.

А говорять о милости твоей, Что ты-дескать—будь не во гивеъ—и ворь, А молодень.

Самозванецъ (смъясь).

Такъ это я на дълъ Имъ докажу.

Въ сценъ въ царскихъ палатахъ, между Го дуновымъ и Басмановымъ, оба эти лица явля-

ются въ какомъ-то странномъ свѣтѣ. Годуновъ сбирается упичтожить мъстинчество (!!). Басмановъ этому, разумѣется, радъ. Оба они разсуждаютъ объ управленіи народомъ, и Годуновъ окончательно рѣшаетъ:

Нътъ, милости не чувствуетъ народъ. Твори добро— не скажетъ опъ спасибо; Грабь и казни—тебъ не будетъ хуже.

Басмановъ за это величаетъ его «высокимъ державнымъ духомъ», желаетъ ему поскоръе управиться съ Отрепьевымъ, чтобъ потомъ «сломить рогъ родовому боярству». Но вотъ Борисъ умираетъ, вотъ даетъ онъ послъднія наставленія своему наслъднику; что же особеннаго въ этихъ наставленіяхъ?—Изъ нихъ замъчательно только одно:

Не измѣняй теченья дѣлъ. Привычка— Душа державъ...

Въ этомъ, какъ и во всемъ остальномъ, что говорить умирающій Годуновъ своему сыну виденъ царь умный, способный и опытный, который быль бы однимъ изъ лучшихъ царей русскихъ, если-бъ престолъ достался ему по праву наслѣдія,—но слишкомъ ограниченный умъ для того, чтобъ усидѣть на захваченномъ тронѣ...

Крикъ мужика на амвонъ лобнаго мъста: «вязать Борисова щенка»! ужасенъ; — это голосъ всего народа или, лучше сказать, голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ несчастнаго честолюбца, взявшаго на себя бремя не по силамъ... Пушкинъ непремънно хотълъ тутъ выразить голосъ судьбы, обрекшей на гибель родъ злодъя, цареубійцы... Можетъ быть это было такъ; но спрашиваемъ: который изъ Годуновихъ болъе трагическое лицо—цареубійца, на-

казанный за элодъянія, или достойный человъкь, падшій за недостаткомъ геніальности? Трагическое лицо непремвино должно возбуждать къ себв участіе. Самъ Ричардъ III,— это чудовище злодъйства, возбуждаеть къ себв участіе исполинской мощью духа. Какъ злодъй, Борисъ не возбуждаеть къ себв никакого участія, потому что онь—элодъй мелкій, малодушный; но, какъ человъкъ замъчательный, такъ сказать, увлеченный судьбой взять роль не по себв, онъ очень и очень возбуждаеть къ себв участіе: видишь необходимость его паденія и все-таки жалѣешь о немъ...

Превосходно окончаніе трагедін. Когда Мосальскій объявиль народу о смерти дѣтей Годунова,—«народь въ ужасѣ молчить»... Отчего же онъ молчить? Развѣ не самъ онъ хотѣмъ гибели Годуновскаго рода, развѣ не самъ онъ кричалъ: «вязать Борисова щенка»... Мосальскій продолжаетъ: «Что-жъ вы молчите? Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Ива-

новичъ»!-«Народъ безмолствуетъ».

Это послѣднее слово трагедіи, заключающее въ себѣ глубокую черту, достойную Шекспира.. Въ этомъ безмолвіи народа слышенъ страшный, трагическій голосъ новой Немезиды, изрекающей судъ свой надъ новой жертвой—надъ тѣмъ, кто погубилъ родъ Годуновыхъ...

Домикъ въ Коломив. — Родословная Моего Героя (отрывокъ изъ сатирической поэмы). — Мъдный Всадникъ. — Галубъ. — Египетскія ночи. — Анджело. — Сцена изъ Фауста. — Пиръ во время чумы. — Моцартъ и Сальери. — Скупой Рыцарь. — Русалка. — Каменный Гость. — Сцены изъ рыцарскихъ временъ. — Сказки: о Царъ Салтанъ, о Мертвой Царевит и о семи Богатыряхъ; о Золотомъ Пътушкъ; о Рыбакъ и Рыбкъ; о Кузьмъ Остолопъ и о Работникъ его Валдъ — Поепсти: Арапъ Петра Великаго; Повъсти Бълкина; Пиковая дама; Капитанская дочка; Дубровскій. — Лътопись села Горохина. — Кирджали. — Исторія Пугачевскаго бунта. — Журнальныя статьи. — Заключеніе.

При разборѣ остальныхъ сочиненій Пушкина, о которыхъ нами не было еще говорено, мы нѣсколько отступимъ отъ того хронологическаго порядка, въ какомъ появлялись въ свѣть эти сочиненія, чтобы, окончивъ съ поэмами, драматическія произведенія обозрѣть вмѣстѣ.

«Домикъ въ Коломиъ»—игрушка, сдъланная рукой великаго мастера. Несмотря на видимую незначительность ея со стороны содержанія, эта шуточная повъсть тъмъ не менъе отличается большими достопиствами со стороны

формы. Остроты, шутки, разсказъ, въ одно время и легкій и занимательный, мъстами проблески чувства, на всемъ какой-то особенный колорить, и наконецъ превосходный стихъвсе это тотчась же обличаеть великаго мастера. Когда нечаянно попадается вамъ подъ руку эта теперь уже столь старая пьеса, и взоръ вашъ небрежно падаетъ на первую попавшуюся строфу или стихъ, все равно, съ начала это или съ середины, но только вы незамътно для самого себя непремънно прочтете до конца, и на душъ вашей отъ этого чтенія останется впечатлъніе легкое, но невыразимо сладостное, хотя бы вы уже ето разъ читали и перечитывали эту пьесу прежде. Многихъ удивить подобное мивніе; по «Домикь въ Коломив» мы считаемъ однимъ изъ замъчательныхъ произведеній, въ которомь, подъ легкой небрежной формой и при видимой незначительности содержанія, скрыто много искусства. Эта: пьеса доказываеть ту простую истину, что жизпь, лишь бы искусство втрно воспроизводило ее, всегда высоко для насъ занимательна, и что люди, ищущіе въ произведеніяхъ искусства только эффектныхъ сюжетовъ, не понимаютъ ни жизни, ни искусства. Поэтическія произведенія также имфють свой колорить, какъ н произведенія живописи, и если колорить въ картинахъ цвнится такъ высоко, что иногда только онъ одинъ и составляетъ все ихъ достоинство, то такъ же точно колоритъ долженъ цѣниться и въ поэтическихъ произведеніяхъ. Правда, онъ меньше всего доступенъ большинству читателей, которые по обыкновенію прежде всего хватаются за содержаніе, за мысль, мимо формы, и потому часто дюжинныя произведенія принимаются ими за великія, а великія—за дюжинныя. Мы увърены, что есть много читателей, которымъ «Домикъ въ Коломив» очень правится, но которые твмъ не менъе считають его только миленькой, по очень ничтожной вещью. Такъ всегда судить большинство!

«Родословная Моего Героя», названная отрывкомъ изъ сатирической повъсти, вмъстъ съ «Графомъ Нулинымъ» и «Домикомъ въ Коломиъ» составляеть типь особеннаго рода поэмъ, которыя такъ любитъ новая «натуральная» школа нашей литературы, пошедшая, какъ извъстно, не отъ Карамзина и Дмитріева, а отъ Пушкина и Гоголя. Это по преимуществу поэмы нашего времени, потому что ихъ больше другихъ любятъ въ наше время. И немудрено: въ нихъ поэтъ не прячется за своими героями или за событіемь, но прямо оть своего лица обращается къ читателю съ твми вопросами, которые равно интересны и для самого поэта, и для читателей. Въ поэмахъ этого рода даже важное и патетическое само по себъ выказывается съ оттънкомъ процін, юмористически, и иногда тъмъ сильиве дъйствуеть на читателя, чемь небрежнее говорить поэтъ.

Нельзя сказать положительно, хотъль-ли Пушкинъ написать цълую поэму и почемунибудь остановился на началъ; но иътъ никакого сомивнія, что отрывокъ «Родословная Моего Героя» во всякомъ случать представляетъ собой итчто цтое, потому что выражаетъ мысль совершенно полную и опредъленную. Судя по словамъ автора, отрывокъ этотъ можно принять за сатиру на людей, которые потому только не уважаютъ знатности породы, что сами не могутъ похвалиться ею (по крайней мтртъ Пушкинъ тутъ ясно даетъ чувствовать, что не понимаетъ другой возможности равнодушія къ гербамъ и пергаментамъ); но, всмотртвинсь ближе въ его произведеніе, нельзя не

увидъть, что это очень острая сатира, написанная поэтомъ на самого себя. Съ неподражаемымъ остроуміемъ шутить поэть надъ преджами своего героя, излагая его генеалогію:

Изъ нихъ Езерскій Варлаамъ Гордыней славился боярской; За споръ то съ тѣмъ онъ, то съ другимъ Съ большимъ безчестьемъ выводимъ Бывалъ изъ-за трапезы џарской, Но снова шелъ подъ тяжкій гнѣвъ И умеръ, Сицкихъ пересѣвъ.

Этотъ намекъ на мъстничество, составлявшее point d'honneur нашей боярщины, блещетъ истинно Вольтеровскимъ остроуміемъ, которое конечно, не возбудитъ въ читателъ особеннаго уваженія къ «родословнымъ»; но вслъдъ затъмъ иронія поэта бросается совсъмъ въ противоположную сторону.

Но извините; статься можеть, Читатель, вамъ я досадилъ; Рашъ умъ духъ въка просвътилъ, Насъ спесь дворянская не гложеть, ?1 нужды нътъ вамъ никакой До вашей книги родовой. Кто-бъ ни былъ вашъ родоначальникъ,--Мстиславъ, князь Курбскій, иль Ермакъ Или Митюшка цъловальникъ,— Вамъ все равно. Конечно такъ: Вы презираете отцами, Ихъ славой, честію, правами Великодушно и умно; Вы отреклись отъ нихъ давно Прямого просвъщенья ради, Гордясь (какъ общей пользы другъ) Красою «собственныхъ заслугъ», Звъздой двоюроднаго дяди, Иль приглашеніемъ на балъ, Туда, гдф дфдъ вашъ не бывалъ.

Эти мысли изумительны своей наивностью, достойной техъ времень, когда Варлаама Езерскаго за споры то съ тъмъ, то съ другимъ съ безчестіемъ выводили изъ-за царскаго стола. Изъ чего хлопочетъ поэтъ? Противъ чего возстаеть онь?-Противь того, чего самь не могь не осмъять... Что за упрекъ такой: «Васъ спесь дворянская не гложеть»? Неужто спесь дворянская или мъщанская есть добродътель, а не порокъ-признакъ грубости нравовъ и невъжества?.. Вамъ все равно, кто бы ни былъ вашъ родоначальникъ-князь или целовальникъ Митюшка?.. Гордиться происхожденіемъ оть князя такъ же смъшно, какъ и стыдиться происхожденія отъ цвловальника, потому что какъ въ первомъ случав заслуга, такъ во второмъ-преступленіе-суть чистьйшая случайность. Не происхождение, а жизнь приносить человъку честь или безчестіе. Иначе Сусанинъ и Мининъ были бы пизкими людьми въ сравнении со всякимъ глупенькимъ и пошленькимь князькомь, какихь довольно бываеть на бъломъ свътъ между князьями, достойными всякаго уваженія по ихъ личнымъ достоинствамъ. Поэть обвиняеть родословныхъ людей нашего времени въ томъ, что они презираютъ своими отцами, ихъ славой, правами и честью, --- упрекъ столь же ограниченный, сколько и неосновательный. Если человъкъ не чванится тымь, что происходить по прямой линіи оть какого-нибудь великаго человъка, неужели это непремънно значить, что онъ презираеть своего великаго предка, его славу, его великія дъла? Кажется, туть слъдствіе выведено совсъмъ произвольно. Презирать предковъ, когда они и ничего не сдълали хорошаго, -- смъшно и глупо: можно не уважать ихъ, если не за что уважать, но въ то же время и не презирать, если не за что презирать. Гдв ивть

мъста уважению, тамъ не всегда есть мъсто презранію: уважается хорошее, презпрается дурное; но отсутствие хорошаго не всегда предполагаеть присутствіе дурного, и наобороть. Еще смъшнъе гордиться чужимъ величіемъ или стыдиться чужой пизости. Первая мысль превосходно объяснена въ превосходной басиъ Крылова «Гуси»; вторая ясна сама по себъ. Извъстно, что цъловальники (въ древностиприсяжные чиновники) не отличались особенной честностью, не отличаются и нынв. какъ продавцы вина въ питейныхъ домахъ; но если сынъ цъловальника, по своей натуръ оказался неспособнымъ къ званію своего отца, и вмѣсто того, чтобъ обмърнвать въ кабакъ пьяныхъ мужиковъ, прожилъ въкъ свой-пожалуй, не великимъ, даже не даровитымъ, а просто честнымь человъкомь, — скажите: зачъмь ему стыдиться, что онъ сынъ своего отца?... Притомъ же мы нисколько не споримъ, что Тамерланъ быль большой аристократь, по крайней мъръ при его жизни въ этомъ никто не смълъ усомниться подъ опасеніемъ быть посажену па колъ: но прежде, нежели сдълаться великимъ ханомъ. онъ былъ кузнецомъ, заплатившимъ за покражу овцы увъчьемъ поги. Такъ и всякій родъ начать быль однимь человъкомъ незнатнаго происхожденія, у котораго въ родив быль не одинъ сапожникъ, или портной. Но все это истины немного пошлыя, потому именно, что онъ ужъслишкомъ истинны. Тъмъ, новидимому странные, что великій поэть видыль въ нихъ ложь, а во лжи-истину. Но здась въ поэта оказался человъкъ, не могшій; на зло себъ, отръшиться отъ предразсудковъ, надъ которыми самъ смъялся... Но далъе-

Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно Собратья надо мной трунятъ,

Я мвинанинь, какъ вамъ извъстно, И въ этом смысль (въ какомъ же?) демократь; Но каюсь, новой Ходаковской, Люблю отъ бабушки московской Я толки слушать о родив; О толстобрюхой старинь.

Признаніе поистинѣ наивное! На вкусъ товарища нѣть, говорить русская пословица; но кому какое дѣло до чужихъ вкусовъ, и кто свои личные и притомъ странные вкусы въ правъ выдавать другимъ за законъ? Одинъ любить говорить съ московской бабушкой о роднѣ и о «толстобрюхой старинѣ», другой любитъ разсуждать съ своимъ крѣпостнымъ псаремъ о личныхъ качествахъ и добродѣтеляхъ его гончихъ: оба правы, и мы никому изъ нихъ мѣшать не намѣрены, а только считаемъ себя въ правъ попросить обоихъ не навязывать намъ своихъ вкусовъ, какъ правилъ нравственности и добродѣтели.

Мнѣ жаль, что нашей славы звуки Уже намъ чужды;

Дъйствительно, жаль, если правда, что звуки нашей славы намъ чужды. Только едва-ли правда: равнодушіе къ «толстобрюхой старинъ» и равнодушіе къ народной славъ—совсьмъ не одно и то же. Если поэтъ хотълъ этимъ упрекомъ намекцуть на то, что мы, какъ молодой, исполненный надеждъ народъ, больше заняты своимъ настоящимъ и больше смотримъ на свое будущее, нежели на прошедшее, то ему слъдовало бы выразиться ясиъе и понять лучше причину этого явленія, совершенно необходимаго и нисколько не предосудительнаго въ его источникъ...

Что спроста Изъ бояръ мы лъземъ въ tiers-état...

Полно, спроста-ли? Мы вообще убъждены, что ни одно историческое явление не дълается спроста, и не въ одномъ не виноваты люди, Предки нашихъ баръ шли все въ гору, хотъли быть только барами и жили широко, не заботясь о будущемъ, а ихъ дъти принуждены были понять, что барство поддерживается прежде всего деньгами, и что безъ денегъ барствосуета суеть! Туть видна скор ве см втливость и догадливость, нежели простота. Фабрики, компаніи, акціи, спекуляціи, предпріятія, оборотывсе это вещи, можеть быть действительно нисколько не аристократическія, зато уже и совсъмъ не простоватыя... Въ наше время простаковъ мало, и простакъ въ наше время именно тоть, кого гложеть какая-нибудь спесь...

Что намъ не впрокъ пошли науки; И что спаснбо намъ за то Не скажетъ, кажется, никто.

Да изъ чего же слъдуеть, что науки пошли намъ не впрокъ? Ужъ не изъ того ли, что онъ избавили насъ отъ дворянской спеси?.. Странный выводъ!.. Впрочемъ, пошедши отъ ложнаго начала, нельзя не дойти до ложныхъ выводовъ. Странное зрълище: великій поэтъ видитъ зло въ успъхахъ просвъщенія, которое безъ насильственныхъ переворотовъ смягчило грубость правовъ и сблизило между собой дотолъ раздъленныя сословія!..

Мив жаль, что твхъ родовъ боярскихъ Бледиветъ блескъ и никнетъ духъ: Мив жаль, что ивтъ князей Пожарскихъ, Что о другихъ пропалъ и слухъ; Что ихъ поноситъ и Фигляринъ;

Что русскій вытреный бояринь (баринь?)
Считаєть грамоты царей
За пыльный сборь календарей;
Что вь нашемь теремь забытомь
Растеть пустынная трава,
Что геральдическаго льва
Демократическимь конытомь
Теперь лягаеть и осель:
Духь въка воть куда зашель!

Многимъ показалось ужасно остроумной выходка о демократическомъ копытъ осла, ляга-ющаго геральдическаго льва, и они такъ восхитились ею, что повърнли древности этого геральдическаго льва, по наивному незнанію, что существование нашей геральдики есть некусственное и не простирается даже за полувъкъ отъ настоящаго дня... Отъ этихъ стиховъ такъ и въетъ «Литературной Газетой» 1830 г... Ничего не можеть быть нелѣпѣе, какъ приложение къ нашему русскому быту фактовъ исторіи Западной Европы, съ ея католическими и рыцарскими преданіями, вовсе для насъ чуждыми и нисколько къ намъ не идущими. И оттого слова: «аристократическій», «демократическій», встръчающіяся нэръдка въ русскихъ стихахъ или русской прозъ, тъмъ смъшнъе и забавиње, чъмъ серьезиње смотрять они... Пушкипа, кажется, очень занимало общественное положение Байрона, гордившагося тымь, что въ его жилахъ текла королевская кровь, и болъе дорожившаго своимъ званіемъ лорда, нежели своимъ значеніемъ перваго поэта Европы XIX въка. Но Байронъ-другое дъло. Онъангличанинь, его предразсудки имъли значеніе историческое и національное. Если-бъ опъ и не сдълался великимъ человъкомъ, опъ все бы остался важнымъ лицомъ въ своемъ отечествъ: обладателемъ огромнаго наслъдства, по праву

рожденія членомъ палаты лордовъ... Аристократизмъ---въ этомъ словъ заключается вся политическая конструкція Англіи, какъ государства, и потому тамъ къ партіи тори принадлежать не одни дворяне, но и люди всъхъ другихъ сословій, которые въ сохраненіи statu quo видять для себя великій вопрось: быть или не быть?.. Какъ потомка старинной фамиліи, Нушкина зналъ бы только его кругъ знакомыхъ, а не Россія, для которой въ этомъ обстоятельствъ не было ничего интереснаго; но какъ поэта, Пушкина узнала вся Россія и теперь гордится имъ, какъ сыномъ, дѣлающимъ честь своей матери... Кому нужно знать, что бъдный дворянинь, существующій литературными трудами, богать длиннымъ рядомъ предковъ, мало извъстныхъ въ исторіи? Гораздо интересиве было знать, что напишеть новаго этоть геніальный поэть...

Забавны въ сатирическомъ смыслъ послъдніе

стихи отрывка:

Вото почему, архивы роя,

Я разбираль въ досужный часъ Всю родословную героя, О комъ затъяль свой разсказъ И здъсь потомству заповъдаль. Езерскій самъ же твердо въдаль, Что дъдъ его, великій мужо, Имъль двънадцать тысячь душъ Изъ нихъ отцу его досталась Осьмая часть, и та сполна Выла давно заложена И ежегодно продавалась; А самъ онъ жалованьемъ жилъ И регистраторомъ служилъ.

Увы! Sic transit gloria mundi! На кого же туть пенять, на кого жаловаться? Какіе туть ари-

стократы и демократы? Туть дізло должно итти просто о мотовствъ, о незнаніи хозяйства, о неразсчетливой жизни на авось, о естественномъ раздробленіи иміній черезь право наслъдства... Тъмъ, которые туть проиграли, остается одно-вступить въ tiers-état, по не спроста, а для того, чтобъ, во-нервыхъ, что-нибудь дълать, а во-вторыхъ, чтобъ имъть болъе върныя средства къ существованію... Вмъсто этой юмористической повъсти, Пушкину лучше было бы написать дидактическую поэму о пользъ свекло-сахарныхъ заводовъ или о превосходствъ плодоперемънной системы земледълія надъ трехпольной, какъ Ломоносовъ написалъ посланіе о пользв стекла, начинающееся этими наивными стихами:

Не право о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ, Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.

А между тъмъ «Родословная Моего Героя» написана стихами до того прекрасными, что пъть никакой возможности противиться ихъ обаянію, несмотря на ихъ содержаніе. И потому эта пьеса—истинный шалашъ, построенный великимъ мастеромъ изъ драгоцъннаго паросскаго мрамора...

Теперь перейдемъ къ тремъ лучшимъ, въ художественномъ отношенін, поэмамъ Пушкина—«Мѣдному Всаднику», «Галубу» и «Египетскимъ

Ночамъ».

«Мѣдный Всадникъ» многимъ кажется какимъ-то страннымъ произведеніемъ, потому что тема его повидимому выражена не вполиѣ. По крайней мѣрѣ страхъ, съ какимъ побѣжалъ помѣшанный Евгеній отъ конной статун Петра, нельзя объяснить ничѣмъ другимъ, кромѣ того, что пропущены слова его къ монументу. Иначе, шочему же вообразилъ онъ, что грозное лицо царя, возгорѣвъ гнѣвомъ, тихо оборотилось къ нему, и почему, когда стремглавъ побѣжалъ онъ, ему все слышалось,

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой?..

Условьтесь въ томъ, что въ напечатанной поэмъ не достаетъ словъ, обращенныхъ Евгеніемъ къ монументу,—и вамъ сдълается ясна идея поээмы, безъ того смутная и неопредълениая. Настоящій герой ея—Петербургъ. Оттого и начинается она грандіозной картиной Петра, задумывающаго основаніе повой столицы, и яркимъ изображеніемъ Петербурга въ его теперешнемъ видъ.

На берегу пустынныхъ волнъ Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ, И въ даль глядълъ. Предъ пимъ широко Ръка неслася; бъдный челнъ По ней стремился одиноко. По мшистымъ, топкимъ берегамъ Чернъли избы здъсь и тамъ, Пріютъ убогаго чухонџа; И лъсъ, невъдомый лучамъ Въ туманъ спрятаннаго солнџа, Кругомъ шумълъ.

И думалъ Онъ:

«Отсель грозить мы будемъ шведу; «Здъсь будеть городъ заложенъ,

«На эло надменному сосъду;

«Природой здѣсь намъ суждено

«Въ Европу прорубить окно,

«Ногою твердой стать при морѣ;

«Сюда, по новымъ имъ волнамъ,

«Всв флаги въ гости будутъ къ намъ-

«И запируемъ на просторъ!»

Прошло сто леть—и юный градъ, Полночныхъ странъ краса и диво, Изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ Вознесся пышно, горделиво: Гдв прежде финскій рыболовь, Печальный пасынокъ природы, Одинъ у низкихъ береговъ Бросалъ въ невъдомыя воды Свой ветхій неводъ, нынъ тамъ По оживленнымъ берегамъ Громады стройныя тъснятся Дворновъ и башенъ; корабли Толной со всфхъ концовъ земли Къ богатымъ пристанямъ стремятся; Въ гранитъ одълася Нева; Мосты повисли надъ водами; Темнозелеными садами Ея покрылись острова-И передъ младшею столиџей Главой склонилася Москва, Какъ передъ новою царицей Порфироносная вдова.

Не перепечатываемъ «вполнъ» этого описанія, исполненнаго такой высокой и мощной поэзіи; но, чтобъ прослъдить идею поэмы въ ея развитіи, напомнимъ читателю заключеніе:

Красуйся градъ Петровъ, и стой Неколебимо, какъ Россія! Да умирится же съ тобой И побъжденная стихія: Вражду и плѣнъ старинный свой Пусть волны финскія забудутъ И тщетной злобою не будутъ И тщетной злобою не будутъ Тревожить вѣчный сонъ Петра! Выла ужасная пора: Объ ней свѣжо воспоминанье... Объ ней, друзья мои, для васъ

Начну свое повъствование. Печаленъ будетъ мой разсказъ.

Содержаніе этого разсказа составляеть описаніе страшнаго наводненія, постигшаго Петербургь въ 1824 году. Это плачевное событіе имъеть прямое отношеніе къ построенію Петромъ Великимъ Петербурга, не по одной этой причинъ столь дорого стоившаго Россіи. Съ исторіей наводненія, какъ историческаго событія, поэть искусно слилъ частную исторію любви, сдълавшейся жертвой этого происшествія. Герой повъсти—Евгеній,—имя, такъ сдружившееся съ перомъ нашего поэта, который съ грустью описываеть его незначительность, не соотвътствующую его понятіямъ о родословіи:

Прозванье намъ его не нужно— Хотя въ минувши времена Оно, быть можетъ, и блистало И, подъ перомъ Карамзина, Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало. Но нынъ свътомъ и молвой Оно забыто. Нашъ герой Живетъ въ Коломиъ; гдъ-то служитъ; Дичится знатныхъ и не тужитъ Ни о покойниџъ роднъ, Ни о забытой старинъ.

Однажды легь онь съ грустными мечтами о своемъ жить в-быть в; вечеръ быль мраченъ и буренъ. На другой день сдвлалось наводнение.

И всплыль Петрополь какъ тритонъ, По поясъ въ воду погруженъ.

Картина наводненія написана у Пушкина красками, которыя цізною жизни готовь бы быль купить поэть прошлаго візка, помішавшійся на мысли написать эпическую поэму— «Потопь»... Туть не знаешь, чему больше дивиться,—громадной-ли грандіозности описанія, или его почти прозаической простоть,— что, вмѣстѣ взятое, доходить до высочайшей поэзін. Однакожь, боясь перепечатать всю поэму, пропускаемъ начало описанія, чтобъ поспѣшить къ герою поэмы:

Тогда на площади Петровой-Гдв домъ въ углу вознесся новый, Гдв подъ возвышеннымъ крыльцомъ Съ подъятой лапой, какъ живые, Стоять два льва сторожевые,— На звъръ мраморномъ верхомъ, Везъ шляпы, руки сжавъ крестомъ, Сидълъ недвижный, страшно блъдный Евгеній. Онъ страшился, бъдный, Не за себя. Онъ не слыхаль, Какъ подымался жадный валъ, Ему подошвы подмывая; Какъ дождь ему въ лиџо хлесталъ; Какъ вътеръ, буйно завывая, Оъ него и шляпу вдругъ сорвалъ. Его отчаянные взоры На край одинъ наведены Недвижно были. Словно горы, Изъ возмущенной глубины Вставали волны тамъ и злились, Тамъ буря выла, тамъ носились Обломки... Боже, Боже!.. тамъ--Увы! близехонько къ волнамъ. Почти у самаго залива-Заборъ некрашенный да нва И ветхій домикъ; тамъ онъ Вдова и дочь, его Параша, Его мечта... Или во снъ Онъ это видить? Иль вся наша И жизнь не что, какъ сонъ пустой,

Насмѣшка рока надъ землей? И онъ какъ будто околдованъ, Какъ будто къ мрамору прикованъ, Сойти не можетъ! Вкругъ него Вода—и больше ничего! И, обращенъ къ нему спиною, Въ неколебимой вышинъ, Надъ возмущенною Невою Сидитъ съ простертою рукою Гигантъ на бронзовомъ конъ.

Когда наводненіе утихло, Евгеній на мѣстѣ, гдѣ стоялъ домъ Параши, нашелъ одну иву—и ничего больше. Несчастный сошелъ съ ума. Бродя по улицамъ, преслѣдуемый мальчишками, получая удары отъ кучерскихъ плетей, разъ—

Онъ очутился подъ столбами Большого дома. На крыльцѣ, Съ подъятой лапой, какъ живые Стояли львы сторожевые, И прямо въ темной вышинъ, Надъ огражденною скалою, Гигантъ съ простертою рукою Сидълъ на бронзовомъ конъ.

Въ этомъ безпрестанномъ столкновеніи несчастнаго съ «гигантомъ на бронзовомъ конѣ» и въ впечатлѣніи, какое производить на него видъ Мъднаго Всадника, скрывается весь смыслъ поэмы; здѣсь ключъ къ ея идеѣ...

Евгеній вздрогнуль. Прояснились Въ немъ страшно мысли. Онъ узналь, И мѣсто, гдѣ потокъ игралъ, Гдѣ волны хишныя толпились, Бунтуя грозпо вкругъ него, И львовъ, и площадь, и Того, Кто неподвижно возвышался

Во мракъ съ мъдной головой И съ распростертою рукой-Какъ будто градомъ любовался. Безуменъ бъдный обощелъ Кругомъ скалы съ тоскою дикой, И надпись яркую прочель, И сердце скорбію великой Стеснилось въ немъ. Его чело Къ ръшеткъ хладной прилегло. Глаза подернулись туманомъ, По членамъ холодъ пробъжалъ, И вздрогнулъ онъ-- и мраченъ сталъ Предъ дивнымъ русскимъ великаномъ. И, перстъ свой на него поднявъ, Задумался... Но вдругъ стремглавъ Бъжать пустился... Показалось Ему, что грознаго царя, Мгновенно гивомъ возгоря, Лицо тихонько обращалось... И онъ по площади пустой Въжитъ и слышитъ за собой Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканьс По потрясенной мостовой-H, озарень луною блыдной, Простерии руки къ вышинь. За нимъ несется Всадникъ Мъдный На звонко-скачущемъ конъ,---И во всю ночь, безумецъ бъдный Куда стопы ни обращаль, За нимъ повсюду Всадникъ Мъдный Съ тяжелымъ топотомъ скакалъ... И съ той поры, куда случалось Идти той площадью ему, Въ его лицъ изображалось Смятенье: къ сердцу своему Онъ прижималъ поспъшно руку. Какъ бы его смиряя муку; Картузъ изношенный сымалъ,

Смущенныхъ глазъ не подымалъ, И шелъ сторонкой...

Въ этой поэмъ видимъ мы горестную участь личности, страдающей какъ бы вслъдствіе избранія мъста для новой столицы, гдъ подверглось гибели столько людей,—и наше сокрушенное сочувствіемъ сердце, вмъстъ съ несчастнымъ, готово смутиться; но вдругъ взоръ нашъ, упавъ на изваяніе виновника нашей славы, склоняется долу,—и въ священномъ трепетъ, какъ бы въ сознаніи тяжкаго гръха, бъжить стремглавъ, думая слышать за собою,

Какъ будто грома грохотанье, Тяжело-звонкое скаканье По потрясенной мостовой...

Мы понимаемъ смущенной душой, что не произволъ, а разумная воля одицетворены въ этомъ Мѣдномъ Всадникъ, который, въ неколебимой вышинъ, съ распростертой рукой, какъ бы любуется городомъ... И намъ чудится, что, среди хаоса и тьмы этого разрушенія, изъ его м'вдныхъ устъ исходить творящее «да будеть»! а простертая рука гордо повелъваеть утихнуть разъяреннымъ стихіямъ... И смиреннымъ сердцемъ признаемъ мы торжество общаго надъ частнымъ, не отказываясь отъ нашего сочувствія къ страданію этого частнаго... При взглядъ на Великана, гордо и неколебимо возносящагося среди всеобщей гибели и разрушенія, и какъбы символически осуществляющаго собой несокрушимость его творенія, тмы, хотя и не безь содроганія сердца, но сознаемся, что этоть бронзовый гиганть не могь уберечь участи индивидуальностей, обезпечивая участь народа и государства; что за него историческая необходимость, и что его взглядь на насъ есть уже его

оправданіе... Да, эта поэма-аповеоза Петра Великаго, самая смълая, самая грандіозная, какая могла только прійти въ голову поэту, вполнъ достойному быть пъвцомъ великаго преобразователя Россіи... Александръ Македонскій завидоваль Ахиллу, имівшему Гомера своимъ пъвцомъ: въ глазахъ насъ, русскихъ, Петру некому завидовать въ этомъ отношени... Пушкинъ не паписалъ ни одной «Петріады», но его «Стансы» (Въ надеждъ славы и добра), многія мъста въ «Полтавъ», «Пиръ Петра Великаго» и наконецъ этотъ «Мъдный Всадникъ» образують собой самую дивную, самую великую «Петріаду», какую только въ состояніи создать геній великаго національнаго поэта... И мърой трепета при чтеніи этой «Петріады» должно опредъляться, до какой степени въ правъ называться русскимъ всякое русское сердце...

Намъ хотълось бы сказать что-нибудь о стихахъ «Мъднаго Всадника», о ихъ упругости, силъ, энергіи, величавости; но это выше силъ нашихъ; только такими же стихами, а не нашей бъдной прозой можно хвалить ихъ... Нъкоторыя мъста, какъ напримъръ, упоминовеніе о графъ Хвостовъ, показываютъ, что по этой поэмъ еще не былъ проведенъ окончательно ръзецъ художника, да и напечатана она, какъ извъстно, послъ его смерти; но и въ этомъ видъ

она-колоссальное произведение...

Въ статъв Пушкина «Путешествіе въ Арзрумъ» находятся следующія строки: «Здёсь нашель я измаранный списокъ «Кавк вскаго Пленника» и, признаюсь, перечель его съ большимъ удовольствіемъ. Все это слабо, мол до, неполно; но многое угадано и выражено верно». Насъ всегда поражала благородная и безпристрастная верность этой оценки, и нельзя не согласиться, что эта лучшая критика на «Кавказскій Пленникъ»

вышель въ свъть въ 1822 году и быль однимъ нзъ первыхъ произведеній Пушкина, наибол'ве способствовавшихъ его народности въ Россін. Истиннымъ героемъ ея былъ не столько плѣнникъ, сколько Кавказъ; исторія пленника была только рамкой для описанія Кавказа. Случилось такъ, что и одно изъ послъднихъ произведеній Пушкина опять посвящено было тому же Кавказу, темъ же горцамъ. Но какая огромная разница между «Кавказскимъ Плѣпникомъ» и «Галубомъ». Словно въ разные въка и разными поэтами написаны эти двъ поэмы! Въ «Путешествія въ Арэрумъ» Пушкинъ разсказываеть между прочимь о похоронахъ у горцевъ, которыхъ свидътелемъ ему случилось быть. Это даеть право догадываться, что впечатлѣнія, плодомъ которыхъ былъ «Галубъ», собраны были поэтомъ во время его путешествія въ Арзрумъ, въ 1829 году, и что эта поэма была написана имъ послъ 1829 года. Если ее раздъляль отъ «Кавказскаго Плънника» промежутокъ только десяти лътъ, какой великій прогрессъ! И что бы написалъ намъ Пушкинъ, если-бъ прожилъ еще хоть десять латъ?

> Сколькихъ добрыхъ жизнь поблекла! Сколькихъ низкихъ рокъ щадитъ! Нътъ великаго Патрокла! Живъ презрительный Тирситъ!..

Въ «Галубъ» глубоко гуманная мысль выражена въ образахъ столько же отчетливо върныхъ, сколько и поэтическихъ. Старикъ чеченецъ, похоронивъ одного сына, получаетъ другого изъ рукъ его воспитателя. Но этотъ второй сынъ не замѣнилъ ему своего брата и обманулъ надежды отца. Безъ образованія, безъ всякаго знакомства съ другими идеями, или другими формами общественной жизни, но

единственно инстинктомъ своей натуры юный Тазитъ вышелъ изъ стихіи своего родного племени, своего родного общества. Онъ не понимаетъ разбоя ни какъ ремесла, ни какъ поэзіи жизни; не понимаетъ мщенія ни какъ долга, ни какъ наслажденія.

Среди родимаго аула Онъ все чужой; онъ цѣлый день Въ горахъ одинъ молчитъ и бродитъ. Такъ въ саклъ пойманный олень Все въ лѣсъ глядитъ, все въ глушь уходитъ Онъ любитъ по крутымъ скаламъ Скользить, ползти тропой креминстой, Внимая буръ голосистой И въ бездив воющимъ волнамъ. Онъ иногда до поздней ночи Сидить печалень надъ горой, Недвижно въ даль уставя очи, Опершись на руку главой. Какія мысли въ немъ проходять? Чего желаеть онь тогда? Изъ міра дальняго куда Младые сны его уводять? Какъ знать? Незрима глубь сердецъ! Въ мечтаньяхъ отрокъ своеволенъ, Какъ вътеръ въ небъ...

Въ самомъ дѣлѣ, что онъ такое—поэтъ, художникъ, жрецъ науки или просто одна изътѣхъ внутреннихъ, глубоко сосредоточенныхъ въ себѣ натуръ, рождающихся для мирныхъ трудовъ, мирнаго счастія, мирнаго и благодѣтельнаго вліянія на окружающихъ его людей? Какъ знать это кому-пибудь, если онъ самъ того не знаетъ? Явись онъ въ цивилизованномъ обществѣ—хотя съ трудомъ, съ борьбой, надѣлавъ тысячи ошибокъ, но созналъ бы онъ свое назначеніе, нашелъ бы его и отдался бы ему.

Но онь родился среди патріархально-разбойническаго, дикаго и невъжественнаго племени, съ которымъ у него нъть ничего общаго, -- и ему нътъ мъста на землъ, онъ отверженъ, проклять; его родные—враги его... Отецъ Тазита чеченецъ душой и тъломъ, чеченецъ, которому непонятны, которому ненавистны всв не-чеченскія формы общественной жизни, который признаеть святой и безусловно истинной только чеченскую мораль, и который слъдовательно можеть въ сынъ любить только истаго чеченца. Въ отношении къ сыну онъ не дъйствуетъ нначе, какъ за-одно съ чеченскимъ обществомъ, во имя его національности. Трагическая коллизія между отцомъ и сыномъ, т.е. между обществомъ и человъкомъ, не могла не обнаружиться скоро. Разъ Тазитъ, въ своихъ горныхъ разъездахъ, встрътилъ армянина съ товарами-и не ограбилъ, не убилъ или не привелъ его домой на арканъ. Другой разъ повстръчалъ онъ бълаго раба—и оставиль его невредимымь; въ третій—

Отеџъ.

Кого ты видълъ?

Сынъ.

Убійцу брата.

Отеџъ.

Убійцу сына моего?.. Тазить! гдъ голова его? Дай, нагляжусь!

Сынъ.

Убійца былъ Одинъ, израпенъ, безоруженъ...

Отеџъ.

Ты долга крови не забылъ... Врага ты навзничь опрокинулъ... Неправда ли? ты шашку вынулъ, Ты въ горло сталь ему воткнулъ И трижды тихо повернулъ? Упился ты его стенаньемъ, Его змвинымъ издыханьемъ?.. Гдъ-жъ голова? Подай!.. Нътъ силъ... Но сынъ молчить, потупя очи. И сталь Галубъ чернъе ночи И сыну грозно возопилъ: «Поди ты прочь-ты мив не сынъ! «Ты не чеченеџъ-ты старуха, «Ты трусъ, ты рабъ, ты армянинъ! «Будь проклять мной, поди-чтобъ слуха «Никто о робкомъ не имълъ, «Чтобъ въчно ждалъ ты грозной встръчи «Чтобъ мертвый брать тебъ на плечи «Окровавленной кошкой сълъ «И къ безднъ гналъ тебя нещадно; «Чтобъ ты, какъ раненый олень, «Бѣжалъ, тоскуя безотрадно; «Чтобъ дъти русскихъ деревень «Тебя веревкою поймали «И какъ волченка растерзали-«Чтобъ ты. . бъгн, бъгн скоръй! «Не оскверняй моихъ очей!

Здѣсь въ лицѣ отца говорить общество. Такія чеченскія исторіи случаются и въ цивилизованныхь обществахъ: Галилея въ Италіи чуть не сожгли живого за его несогласіе съ чеченскими понятіями о міровой системѣ. Но тамъ человѣкъ знаніемъ опередиль свое общество и если-бъ былъ сожженъ, могъ бы имѣть хоть то утѣшеніе передъ смертью, что иден-то его не сожгутъ невѣжественные палачи... Здѣсь же человѣкъ вышелъ изъ своего народа своей

патурой, безъ всякаго сознанія объ этомъ,— самое трагическое положеніе, въ какомъ только можеть быть человъкъ!.. Одинъ среди множества, и ближніе его—враги ему; стремится онъ къ людямъ и съ ужасомъ отскакиваеть отъ нихъ, какъ отъ змѣи, на которую паступилъ нечаянно... И винить, и презираеть, и проклинаеть онъ себя за это, потому что его сознаніе не въ силахъ оправдать въ собственныхъ его глазахъ его отчужденіе отъ общества... И вотъ она—вѣчная борьба общаго съ частнымъ, разума—съ авторитетомъ и преданіемъ, человѣческаго достоинства—съ общественнымъ варварствомъ. Она возможна и между чеченцами!..

Превосходны, выше всякой похвалы послѣдніе стихи «Галуба», представляющіе живое изображеніе черкесскихъ правовъ и трогательную картину отчужденныхъ отъ общества лю-

бовниковъ:

Они въ толпъ четою странной Стоять, не видя ничего. И горе имъ: онъ-сынъ изгнанный, Она-любовница его... О, было время! Съ ней украдкой Видался юноша въ горахъ; Онъ пилъ огонь отравы сладкой Въ ея смятеньи, въ рвчи краткой, Въ ея потупленныхъ очахъ, Когда съ домашняго порогу Она смотръла на дорогу, Съ подружкой развой говоря, И вдругъ садилась и бледиела. И отвъчая не глядъла, И разгоралась, какъ заря; Или у водъ когда стояла, Текущихъ съ каменныхъ вершинъ, И долго кованый кувшинъ Волною звонкой наполняла...

И онъ, невластный превозмочь
Волненій сердца, разъ приходитъ
Къ ея отцу, его отводитъ
И говоритъ: «Твоя мив дочь
«Давно мила; по ней тоскуя,
«Одинъ и сиръ давно живу я;
«Влагослови любовь мою;
«Я бъденъ, но могучъ и молодъ;
«Я агнецъ дома, звърь въ бою;
«Къ намъ въ саклю не впущу я голодъ;
«Тебъ я буду сынъ и другъ
«Послушный, преданный и нъжный,
«Твоимъ сынамъ—кунакъ надежный,
«А ей приверженный супругъ...»

Увы! бъдный юноша говорилъ все это, не зная самъ себя. Онъ былъ могучъ и молодъ, у него много было отваги и храбрости,—но онъ жалълъ бъжавшаго раба, не могъ убить израненнаго и обезоруженнаго врага: онъ не былъ чеченцемъ, и въ его саклъ поселился бы голодъ... И за то онъ отверженъ; отвержена и та, которая имъла несчастіе полюбить его! Что съ ними стало, намъ не интересно знать. Они должны погибнуть—это върно; но какъ погибнуть, что до того!.. Слъдовательно, поэму эту можно считать цълой и оконченной. Мысль ея видна и выражена вполиъ.

«Египетскія ночи»—въ одно и то же время и повъсть, писанная прозой, и поэма, писанная стихами. Повъсть прекрасная. Характеръ Чарскаго, русскаго поэта и свътскаго человъка, который знаеть цъну искусству и таланту и со всъмъ тъмъ стыдится ремесла своего; характеръ импровизатора, страстнаго, вдохновеннаго жреца искусства, униженнаго, низкопоклоннаго итальянца, жаднаго къ прибытку нищаго; характеръ нашего большого свъта, его странныя отношенія къ искусству,—все это выдер-

жано съ удивительной върностью, до мельчайшихъ подробностей, — до некрасивой дъвушки, по приказанію матери написавшей тему импровизатору. Но что сказать о поэмѣ—«Cleopatra ei suoi amanti»?.. Въ «Мѣдномъ Всадникѣ» поэть показаль намь величественный образь преобразователя Россіи и современный Петербургъ; въ «Галубѣ» перенесъ насъ въ среду кавказскихъ дикарей, чтобъ показать, что и тамъ есть человъческое достоинство, осужденное на трагическое страданіе: въ «Египетскихъ ночахъ» волшебнымъ жезломъ своей поэзіи онъ переносить насъ въ среду древняго римскаго міра, одряхлівшаго, утратившаго всь вірованія, всь надежды, холоднаго къ жизни и все еще жаждущаго наслажденій, за которыя охотно платить жизнью, какъ будто жизнь дешевле денегъ... Во всъхъ этихъ трехъ поэмахъ видимъ мы Пушкина, узнаемъ въ немъ ему только свойственные колорить и стиль; но ни въ одной изъ нихъ не повторяеть онъ себя,--напротивъ, въ каждой являетъ изумленному взору нашему совершенно новый міръ: «Мѣдный Всадникъ»—весь современная Русь, «Галубъ»---весь Кавказъ. «Египетскія ночи», это--воскресшій, подобно Помпев и Геркулануму, древній міръ на закать его жизни... О стихахъ импровизатора не говоримъ; это чудо искус-CTBa...

Три последнія означенныя нами поэмы въ художественномъ отношенін нензмеримо выше всёхъ прежнихъ поэмъ Пушкина. Въ нихъ виденъ вполне развившійся и выработавшійся художественный стиль, который долженъ быть принадлежностью всякаго великаго поэта. Что то глубоко грустное, но вмёсте и величаво спокойное лежитъ въ поэтическомъ колорите, разлитомъ на этихъ твореніяхъ. Въ одномъ изъ лучшихъ своихъ лирическихъ стихотвореній

поэть не даромъ сравниль печаль души своей съ виномъ, которое тъмъ кръпче, чъмъ старъе. Мы прибавимъ отъ себя, что вино чъмъ старъе, тъмъ не только кръпче, но и вкуснъе, и ароматнъе... Продолжая сравненіе, начатое самимъ же поэтомъ, скажемъ, что послъднія произведенія его, утративъ конфектную сладость первыхъ, пріобръли вкусъ и благовонную букетистость дорогого стараго вина...

«Анджело» составляеть переходь оть эпическихь поэмъ къ драматическимъ; по крайней мъръ діалогъ нграеть въ этой пьесъ большую роль. «Анджело» былъ принять публикой очень сухо, и подъломъ. Въ поэмъ видно какое-то усиліе на простоту, отчего простота его слога вышла какъ-то искусственна. Можно найти въ «Анджело» счастливыя выраженія, удачные стихи. если хотите, —много искусства, но искусства чисто техническаго, безъ вдохновенія, безъ вдохновенія, безъ вдохновенія, анта Пушкина. Больше о ней нечего сказать.

Теперь перейдемъ къ драматическимъ опытамъ Пушкина, которые онъ столь блистательно началъ своимъ «Борисомъ Годуновымъ». Драматическій элементь сильно пробивался и въ первыхъ поэмахъ его-«Бахчисарайскомъ Фонтанъ», «Цыганахъ» и «Полтавъ», такъ что по нимъ уже можно было видать, что онъ можеть пріобръсти такіе же успъхи и въ драматической поэзіи, какіе пріобрѣлъ уже въ лирической и эпической. Сцепа изъ «Бориса Годунова», напечатанная еще въ 1828 году, оправдала это ожиданіе. Въ 1829 году во второмъ томъ «Стихотвореній Александра Пушкина» была напечатана «Сцена изъ Фауста». Это былъ не переводъ какого-нибудь отрывка изъ знаменитой драматической поэмы Гёте, но варіація, разыграпная на ея тему. Многимъ эта сцена такъ понравилась, что они, не зная Гёте «Фауста», порѣшили, будто она лучше его. Дѣйствительно, эта сцена написана удивительно легкими и бойкими стихами, но между ею и Гётевымъ «Фаустомъ» нѣтъ ничего общаго, Она—не что иное, какъ развитіе и распространеніе мысли, выраженной Пушкинымъ въ его маленькомъ стихотвореніи «Демонъ». Этотъ демонъ былъ «довольно мелкій, изъ самыхъ нечиновныхъ». Опъ соблазиялъ однихъ юношей

Въ тѣ дни, когда имъ были новы Всѣ впечатлѣнья бытія.

Поэтому ему легко было подшучивать надъ ними, и они со страхомъ смотръли на него, ибо

Неистоцимой клеветою Онъ Провидънье искушалъ; Онъ звалъ прекрасное мечтою, Онъ вдохновенье презиралъ; Не върилъ онъ любви, свободъ; На жизнь насмъшливо глядълъ— И ничего во всей природъ Благословить онъ не хотълъ.

«Печальны, говорить Пушкинь, были мои встръчи съ нимъ»! Знакомое съ демономъ другого поэта, наше время съ улыбкой смотритъ на Пушкинскаго чертенка. И не диво: для кого существуеть истина, красота и благо, тъ не сомнъваются теперь въ нхъ существованіи: для кого же они не существують, тъ и не заботятся о нихъ. Но для первыхъ есть другой демонъ, и если они знали его,—

Ихъ умъ, бывало, возмущалъ Могучій образъ;—межъ иныхъ видѣній, Какъ џарь, нѣмой и гордый онъ сіялъ Такой волшебно-сладкой красотою, Что было страшно...

Это уже демонъ совствить другого рода: отрицать все для одного отрицанія и существующее стараться представлять не существующимъ--для него было бы слишкомъ пошлымъ занятіемъ, которое онъ охотно предоставляетъ мелкимъ бъсамъ дурного тона, дьявольской черни и сволочи. Самъ же онъ отрицаетъ для утвержденія, разрушаеть для созиданія; онъ наводить на человъка сомивние не въ дъйствигельнести истины, какъ истины; красоты, какъ красоты; блага, какъ блага, но какъ этой истины, этой красоты, этого блага. Онъ не говорить, что истина, красота, благо-призраки, порожденные больнымъ воображениемъ человъка; но говорить, что иногда не все то истина, красота и благо, что считають за красоту, истину и благо. Если-бъ онъ, этотъ демонъ отрицанія, не признаваль самъ истины, какъ истины, что противопоставиль бы онь ей? Во имя чего сталь бы онъ отрицать ея существование? Но онъ тъмъ и страшенъ, тъмъ и могущъ, что едва родить въ васъ сомивние въ томъ, что доселъ считали вы непреложной истиной, какъ уже кажеть вамъ издалека идеалъ новой истины. И пока эта новая истина для васъ только призракъ, мечта, предположение, догадка, предчувствіе, пока не сознали вы ея и не овладъли ею, вы-добыча этого демона, и должны узнать всъ муки пеудовлетвореннаго стремленія, всю попытку сомивнія, всв страданія безотраднаго существованія. Но въ сущности это преблагонамъренный демонъ; если онъ и губитъ иногда людей, если и дълаеть несчастными цълыя эпохи, то не иначе, какъ желая добра человъчеству и всегда выручая его. Это демонъ движенія, въчнаго обновленія, въчнаго возрожденія...

Этого демона Пушкинъ не зналъ и оттого такъ и заботился о родословныхъ вообще. Его

Мефистофель, въ «Сценъ изъ Фауста»,—все тоть же мелкій чертенокъ, котораго воспъль онъ въ молодости подъ громкимъ именемъ «Демона». Это просто-на-просто острякъ прошлаго стольтія, котораго скептицизмъ наводить теперь не разочарованіе, а зъвоту и хорошій сонъ. Фаусть Пушкина—не измученный неудовлетворенной жаждой знанія человъка, а какой-то пресытившійся гуляка, которому уже ничего въ горло нейдеть, ип homme blasé. Несмотря на то, пьеса эта написана ловко и бойко, и потому читается легко и съ удовольствіемъ.

«Пиръ во время чумы», отрывокъ изъ трагедіи Вильсона: «The city of the plague», принадлежить къ загадочнымъ произведеніямъ Пушкина. Всемъ известно, что «Скупой Рыцарь»--его оригинальное произведение, а онъ назвалъ его отрывкомъ изъ траги-комедіи Ченстона: «The caveteous Knigth», для того, какъ говорять, чтобъ посмотръть, какое дъйствіе произведеть на нашу публику это сочинение. Можеть быть и Вильсонь-родной брать Ченстону, хотя и есть слухи, что какъ Вильсонъ, такъ и пьеса его-факты не вымышленные. Какъ бы то ни было, но если пьеса Вильсона такъ же хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этоть Вильсонь написаль великое произведеніе. Можеть быть и то, что Пушкинь только воспользовался идеей, воспроизведя ее по своему, и у него вышла удивительная поэма, не отрывокъ, а цълое, оконченное произведение. Основная мысль—оргія во время чумы, оргія отчаянія, тымь болье ужасная, чымь болье Мысль поистинъ трагическая! И веселая. какъ много выразиль Пушкинъ въ этой маленькой поэмъ, какъ ръзко обрисованы въ ней характеры, сколько драматического движенія и жизни! Умилительная пъсня Мери, столь

наивная и нѣжная выраженіемъ, столь страшная содержаніемъ, производитъ на читателя невыразимое впечатлѣніе. Какъ много страшнаго смысла въ просьбъ предсъдателя оргіи спѣть эту пѣсню! Но пѣсня предсъдателя оргіи въ честь чумы—яркая картина гробового сладострастія, отчаяннаго веселья: въ ней слышится даже вдохновеніе несчастія и можеть быть преступленія сильной натуры... Такіе переводы, если они и близко вѣрны подлинникамъ, стоють орнгинальныхъ произведеній. Не потому ли на Жуковскаго у пасъ никто не смотрить, какъ на переводчика, хотя и всѣ знають, что лучшія его произведенія—переводы?

«Моцарть и Сальери»—цълая трагедія, глубокая, великая, ознаменованная печатью мощнаго генія, хотя и небольшая по объему. Ея идея-вопросъ о сущности и взаимныхъ отношеніяхъ таланта и генія. Есть организаціи несчастныя, недоконченныя, одаренныя сильнымъ талантомъ, пожираемыя сильной страстью къ искусству и къ славъ. Любя искусство для искусства, онв приносять ему въ жертву всю жизнь, всв радости, всв надежды свои; съ невъроятнымъ самоотверженіемъ предаются его изученію, готовы пойти въ рабство, закабалить себя на ивсколько леть какому-нибудь художнику, лишь бы онъ открылъ тайны своего искусства. Если такой человъкъ положительно бездаренъ и ограниченъ, изъ него выходитъ самодовольный Тредьяковскій, который и живеть, и умираеть съ убъжденіемъ, что онъ-великій геній. Но если это человъкъ дъйствительно съ талантомъ, а главное-съ замъчательнымъ умомъ, съ способностью глубоко чувствовать, понимать и ценить искусствоизъ него выходить Сальери. Для выраженія своей идеи Пушкинъ удачно выбралъ эти два типа. Изъ Сальери, какъ мало извъстнаго лица, онъ могъ сдълать, что ему угодно; но въ лицъ Моцарта онъ исторически удачно выбраль безпечнаго художника, «гуляку празднаго». У Сальери своя логика; на его сторонъ своего рода справедливость, парадоксальная въ отношении къ истинъ, но для него самого оправдываемая жгучими страданіями его страсти къ искусству, невозпагражденной славой. Изъ всъхъ болъзненныхъ стремленій, страстей, странностей самыя ужасныя ть, съ которыми родится человъкъ, которыя, какъ проклятіе, получиль онъ при рожденіи вмъсть съ своей кровью, своими нервами, своимъ мозгомъ. Такой человъкъ-всегда лицо трагическое; онь можеть быть отвратителень, ужасень, но не смъщонъ. Его страсть-родъ помъщательства при здравомъ состояніи разсудка. Сальери такъ уменъ, такъ любитъ музыку и такъ понимаеть ее, что сейчасъ понялъ, что Моцарть-геній, и что онъ, Сальери,-ничто передъ нимъ. Сальери былъ гордъ, благороденъ н никому не завидовалъ. Пріобрътенная имъ слава была счастіемъ его жизни; онъ шичего больше не требоваль у судьбы, -- вдругь и видить онъ «безумца, гуляку празднаго», на челъ котораго горить помазание свыше...

О небо!
Где-жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ—
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?.. О, Моцартъ, Моцартъ!

Моцарть является со всей простотой, веселостью, шутливостью, съ возможнымъ отсутствіемъ всѣхъ претензій, какъ геній, по своему простодушію неподозрѣвающій собственнаго величія или невидящій въ немъ ничего особеннаго. Онъ приводить съ собой къ Сальери слѣпого скрипача-нищаго и велить ему сыграть что-нибудь изъ Моцарта. Сальери въ бѣшенствѣ на эту профанацію высокаго искусства, Моцарть хохочеть, какъ шаловливый ребенокъ, потомъ играетъ для Сальери фантазію, набросанную имъ на бумагу въ безсонную ночь,—и Сальери восклицаеть въ ревнивомъ восторгѣ:

Ты, Моџартъ, богъ, и самъ того не знаешь, A знаю, n!..

Моцартъ (отвычает ему наивно): Ба! право? можетъ быть... Но божество мое проголодалось.

Замътъте: Моцартъ не только не отвергаетъ подносимаго ему другими титла генія, но п самъ называетъ себя геніемъ, вмѣстѣ съ тѣмъ называя геніемъ и Сальери. Въ этомъ видны удивительное добродушіе и безпечность: для Моцарта слово «геній» ни по чемъ; скажите ему, что онъ геній, — онъ преважно согласится съ этимъ: начинайте доказывать ему, что онъ вовсе не геній, —онъ согласится и съ этимъ, и въ обоихъ случаяхъ равно искренно. Въ лицъ Моцарта Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніальности, которая проявляеть себя безъ усилія, безъ разсчета на усиъхъ, нисколько не подозр'ввая своего величія. Нельзя сказать, чтобъ всв геніи были таковы; но такіе особенно невыносимы для талантовъ въ родъ Сальери. Какъ умъ, какъ сознаніе, Сальери гораздо выше Моцарта; но какъ сила, какъ непосредственная творческая сила, отъ инчто передъ нимъ... И потому самая простота Моцарта, его неспособность цанить самого себя еще больше раздражають Сальери. Онъ не тому завидуеть, что Моцарть выше его,—

превосходство онъ могъ бы вынести благородно, потому что онъ ничто передъ Моцартомъ, потому что Моцарть—геній, а таланть передъ геніемъ—ничто... И воть онъ твердо рашается отравить его. «Иначе»,—говорить онъ:—«мы вса погибли, мы—вса жрецы и служители музыки. И что пользы, если онъ останется еще жить? Вадь онъ не подыметь искусства еще выше? Вадь оно опять падеть посла его смерти?» Воть она, логика страстей!..

За объдомъ въ трактиръ Моцартъ случайно спросилъ Сальери, правда-ли, что Бомарше кого-то отравилъ? Какъ истинный итальянецъ, Сальери отвъчаетъ, что едва-ли, потому что Бомарше былъ слишкомъ смъщонъ для такого ремесла. Моцартъ дълаетъ при этомъ наивное

замъчаніе:

Онъ же геній, Како ты, да я. А геній и влодвиство— Двъ веци несовмъстныя. Не правда-ль?

Эта выходка ускорила рѣшимость Сальери. Здѣсь Пушкинъ поражаетъ васъ Шекспировскимъ знаніемъ человѣческаго сердца. Въ простодущныхъ словахъ Моцарта было соединено все жгучее и терзающее для раны, которой страдалъ Сальери. Онъ зналъ себя, какъ человѣка способнаго на злодѣйство, а между тѣмъ самъ геній говорить, что геній и злодѣйство несовмѣстны, и что слѣдовательно онъ, Сальери, не геній. А! такъ я не геній? Воть же тебѣ,—и ядъ брошенъ въ стаканъ генія... Но когда Моцартъ вынилъ, Сальери какъ бы съ смущеніемъ и ужасомъ восклицаеть:

Постой, постой!. ты выпиль!.. безъ меня?

Это опять истинно-драматическая черта! Но воть одна изъ тѣхъ смѣлыхъ, обнаруживающихъ глубочайшее знаніе человѣческаго сердца черть, которыя никогда не могутъ придти въ голову таланту, всегда живущему «плѣнной мысли раздраженьемъ», и на которыя онъ никогда не рѣшится, если-бъ онѣ и могли придти къ нему; это Сальери, съ умиленьемъ слушающій Requiem Моцарта и говорящій ему:

Эти слезы

Впервые лью: и больно, и пріятно, Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ, Какъ будто ножъ џѣлебный мнѣ отсѣкъ Страдавшій членъ! Другъ Моџартъ, эти слевы... Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Какъ поразительны эти слова своимъ характеромъ умиленія, какой-то даже нѣжностью къ Моцарту! «Другъ Моцарть»: видите ли, убійца Моцарта любить свою жертву, любить ее художественной половиной души своей, любить ее за то же самое, за что и ненавидить... Только великіе, геніальные поэты умѣютъ находить въ тайникахъ человѣческой натуры такія странныя повидимому противорѣчія, и изображать ихъ такъ, что они становятся намъ понятными безъ объясненій...

Последнія слова Сальери, когда, по уходе Моцарта остался онъ одинь, художественно округляють и замыкають въ самой себе сцену:

Ты заснешь Надолго, Моџартъ! Но уже-ль онъ правъ, И я не геній? Геній и злодвиство Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда: А Бонаротти? Или это сказка Тупой, безсмысленной толпы—и не былъ Убійцею создатель Ватикана?

Какая глубокая и поучительная трагедія! Какое огромное содержаніе и въ какой безконечно художественной формф! Но намъ предстонтъ переходить отъ одного чуда искусства къ другому, и тяжесть взятой нами на себя обязанности смущаетъ насъ своей несоразмърностью съ нашими силами. Ничего нътъ легче, какъ говорить о слабомъ произведеніи или открывать слабыя стороны хорошаго; ничего нътъ труднъе, какъ говорить о произведеніи, которое велико и въ цъломъ, и въ частяхъ! Къ такимъ принадлежатъ: «Моцартъ и Сальери» «Скупой Рыцарь», Каменный Гость» и «Русалка», о которыхъ, за исключеніемъ перваго, еще никъмъ изъ нашихъ журналистовъ и критиковъ

доселъ не сказано ни одного слова...

Нечего говорить объ идеѣ поэмы «Скупой Рыцарь»: она слишкомъ ясна и сама по себъ и по названію поэмы. Страсть скупости—ндея не новая, но геній умъеть и старое сдълать повыма. Идеаль скупца одинь, по типы его безконечно различны. Плюшкинъ Гоголя гадокъ, отвратителенъ, это-лицо комическое; Баронъ Пушкина ужасенъ-это лицо трагическое: Оба они страшно истинны. Это не то, что скупой Мольера-риторическое олицетвореніе скупости, карикатура, памфлеть. Нъть, это лица страшно истинныя, заставляющія содрогаться за человъческую природу. Оба опи пожираемы одной гнуспой страстью, и все-таки нисколько одинь на другого не похожи, потому что и тоть, н другой-не аллегорическое олицетворение выражаемой ими иден, но живыя лица, въ которыхъ общій порокъ выразился индивидуально, лично. Мы сказали, что скупой Пушкиналицо трагическое. Альберъ говорить жиду: когда мив будеть пятьдесять лвть, на что мив тогда и деньги?

Жидъ.

Деньги?—Деньги
Всегда, во всякій возрасть намь пригодны;
Но юноша вь нихь ицеть слугь проворныхь,
И не жалья шлеть туда, сюда;
Старикь же видить въ нихь друзей надежныхь,
И бережеть ихь, какъ зъницу ока.

Альберъ.

О! мой отеџъ не слугъ и не друзей Вънихъвидитъ, а господъ, и самъ имъ служитъ; И какъ же служитъ? какъ алысирскій рабъ. Какъ песъ цъпной! Въ нетопленной конуръ Живетъ, пъетъ воду, ъстъ сухія корки, Всю ночь не спитъ, все бъгаетъ да лаетъ.

Въ этомъ портретв мы видимъ лицо чисто комическое; но сойдемъ въ подвалъ, гдв этотъ скряга любуется своимъ золотомъ, и пусть поэть багровымъ заревомъ своего поэтическаго факела освътитъ намъ мрачныя бездны сердца своего героя: мы содрогнемся отъ трагическаго величія гнусной страсти скупости; мы увидимъ, что она естественна, что у ней есть своя логика. Любуясь своимъ золотомъ, старый баронъ восклицаетъ:

Что не подвластно мив!.. Какъ нѣкій демонъ Отселѣ править міромъ я могу; Лишь захочу—воздвигнутся чертоги; Въ великолѣпные мон сады Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою; И музы дань свою миѣ принесуть, И вольный геній миѣ поработится, И добродѣтель, и безсонный трудъ Смиренно будутъ ждать моей награды; Я свисну—и ко миъ послушно, робко Вползетъ окровавленное злодъйство, И руку будетъ миъ лизать, и въ очи

Смотрѣть, въ нихъ знакъ моей читая воли. Мнѣ все послушно, я же—пичему; Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ; Я знаю мощь мою: съ меня довольно Сего сознанья...

Ужасно, потому что истинно! Да, въ словахъ этого отверженца человъчества, къ несчастью, все истинно, кромѣ того, что не въ его волѣ пожелать многое изъ того, что могъ бы онъ выполнить. Въ этомъ и заключается наказаніе за порокъ скупости. Скупецъ раскрываеть всъ свои сундуки и зажигаеть (ужасное мотовство!) по свъчъ передъ каждымъ изъ нихъ. Это его сладострастіе, его оргія! При видъ освъщенныхъ грудъ золота онъ приходить въ сатанинскій восторгь и въ патетической рѣчи обнажаеть передъ нами страшныя тайны страшпъйшей изъ человъческихъ страстей. Золото-кумиръ этого человъка; онъ исполненъ къ нему поэтическаго чувства, говорить о немъ языкомъ благоговънія, служить ему, какъ преданный, усердный жрець! Расточить его наслъдство, по его мивнію, значить разбить священные сосуды, напонть грязь царскимъ елеемъ... Онъ смотрить еще на золото, какъ молодой, пылкій человіжь на женщину, которую онь страстно любить, обладание которой онъ купиль ценой страшнаго преступления и которая тымь дороже ему. Онъ хотыль бы спрятать ее отъ «недостойныхъ взоровъ», его ужасаетъ мысль, чтобы она не принадлежала кому-нибудь послѣ его смерти.

По выдержанности характеровъ (скряги, его сына, герцога, жида), по мастерскому расположеню, по страшной силъ навоса, по удивительнымъ стихамъ, по полнотъ и оконченности,—словомъ, по всему эта драма—огромное, великое произведение, вполнъ достойное генія

Шекспира.

Изъ міра среднихъ вѣковъ Западной Европы, изъ міра рыцарей и феодальныхъ рабовъ перейдемъ въ міръ древней Руси, міръ полуисторическій, міръ полу-сказочный. Говорять, будто «Русалка» была писана Пушкинымъ, какъ либретто для оперы. Если бы это было и правда, то хотя самъ Моцартъ написалъ бы музыку на эти слова,—опера не была бы выше своего либретто,—тогда какъ до сихъ поръ лучшія оперы писаны на глупъйшія и пошлъйшія слова... Но это предположеніе едва ли основательно. За нсключеніемъ двухъ хоровъ русалокъ и одной свадебной пъсни, да голоса невидимой русалки на свадебномъ пиру, вся пьеса писана пятистопнымъ ямбомъ, слишкомъ длиннымъ и одно-

образнымъ для пвнія.

Въ фантастической формъ этой поэмы скрыта самая простая мысль, разсказана самая обыкновенная, но темъ более ужасная исторія. Мельникъ, человъкъ не злой, не развратный, по слабый, сколько по любви къдочери, столько можеть быть и по страху къ княжескому могуществу, сквозь пальцы смотрълъ на связь своей дочери съ княземъ. Какъ человъкъ хладнокровный, какъ мужчина, онъ тотчасъ понялъ, почему посъщенія князя на его мельницу сдълались рѣже, и видя, что стараго ужъ не воротить, совътуетъ дочери воспользоваться хоть матеріальными выгодами этой связи. Но дочь-существо любящее и страстное, привязчивое, слъдовательно, обреченное на несчастіе и гибель, — и върить не хочеть, чтобъ ея любезный охладъль къ ней. Она говорить:

Онъ занятъ; мало-ль у него заботы? Въдь онъ не мельникъ; за него не станетъ Вода работать! Часто онъ твердитъ, Что всъхъ трудовъ его труды тяжеле.

Мельникъ.

Да, върь ему. Когда князья трудятся? И что ихъ трудъ? травить лисицъ и зайцевъ, Да пировать, да собирать сосъдей, Да подговаривать васъ, бъдныхъ дуръ. Онъ самъ работаетъ—куда какъ жалко!

Но слышится топоть коня—и бѣдная женещина все забыла. Она видить, что князь печалень, но не умѣеть, не можеть понять сразу, отчего такъ тревожить ее эта печаль. Онъ объясняется съ ней довольно осторожно, по тѣмъ не менѣе ясно: онъ женится на другой: онъ—князь, онъ не воленъ въ выборѣ невѣсты... Она оцѣпенѣла, а онъ, близорукій мужчина, радехонекъ, что дѣло обошлось безъ бури, не понимая, что эта тишина страшнѣе всякой бури,—и на полумертвую падѣваетъ онъ повязку и ожерелье, даетъ ей для отца мѣшокъ денегъ и хочетъ уйти...

Она.

Постой, тебъ сказать должна я— Не помню что.

Князь.

Припомни.

Она.

Для тебя
Я на все готова... Нѣтъ не то... Постой...
Нельзя, чтобы навѣки въ самомъ дѣлѣ
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердџемъ шевельнулся...

За этой страшной, трагической сценой слудуеть другая, не менъе ужасная. Подарки князя глубоко оскорбили несчастную. Она отдаеть отцу его мъшокъ съ деньгами.

Да, бишь, забыла я: тебъ отдать Велъль онь это серебро за то, Что быль хорошь ты до него, что дочку За нимь пускаль таскаться, что ее Держаль не строго... Впрокъ тебъ пойдеть Моя погибель!..

Мельникъ (въ слезахъ).

До чего я дожиль! Что Богъ привель услышать!

Бъднякъ въ немъ замеръ, проснулся отецъ... несчастная бросилась въ Днъпръ... Мы на свадьбъ, картина которой съ удивительной върностью передана поэтомъ во всемъ ея простодущіи старинныхъ русскихъ нравовъ. Хоръ дъвушекъ—прелесть... Вдругъ, среди наивнаго веселья, раздается фантастическій голосъ...

По камушкамъ, по желтому песочку
Пробъгала быстра ръчка;
Въ быстрой ръчкъ гуляютъ двъ рыбки,
Двъ рыбки, двъ малыя плотицы.
А слыхала-ль, ты, рыбка сестрица,
Про въсти-то наши про ръчныя?
Какъ вечоръ у насъ красна дъвица утопилась.
Утопая, милаго друга проклинала?

Общее смятеніе. Князь велить конюшему отыскать мельничиху; ея, разумфется, не нахолять...

Прошло двънадцать лътъ. Княгиня жалуется на охлаждение къ ней мужа; няня утъщаетъ ее, не подозръвая, что въ грубой и невъжественной простотъ ея добродушныхъ словъ скрывается ужасная, роковая истина:

Княгинюшка! мужчина, что пътутъ: Кури-куку, махъ, махъ, крыломъ—и прочь; А женщина—что бъдная насъдка: Сиди себъ да выводи цыплять. Пока женихъ—ужъ онъ не насидится, Ни пьетъ, ни ъстъ, глядитъ—не наглядится; Женился—и заботы настаютъ: То надобно сосъдей навъстить, То на охоту ъхать съ соколами, То на войну нелегкая несетъ, Туда, сюда—а дома не сидится.

Не есть ли это законная кара сильному полу за беззаконное рабство, въ которомъ онъ держить слабый полъ? Такъ по крайней мервможно думать по окончанію любовныхъ похожденій героя поэмы, этого русскаго донъ-Жуана... Наскучивъ женой, онъ вспомниль о прежней любви, раскаялся, какъ въ глупости, что бросилъ дочь мельника, не понимая, что она потому только стала ему мила, что ея нътъ съ нимъ. что его ужъ жена не мила ему...

Сцена на берегу Днъпра. Ночь. Раздается хоръ русалокъ, напоминающій своимъ фантастически-дикимъ павосомъ оргіи Valse infernal

изъ «Роберта Дьявола»:

Веселой толпою Съ глубокаго дна Мы ночью всплываемъ, Насъ грветъ луна. Любо намъ ночной порою Дно рвчное покидать, Любо вольной головою Высь рвчную разрвзать, Подавать другъ дружкв голосъ, Воздужъ звонкій раздражать, И зеленый влажный волосъ Въ немъ сущить и отряхать

Одна

Тише! птичка подъ кустами Встрепенулася во мглъ.

Другая.

Между мъсяцемъ и нами Кто-то ходитъ на землъ.

Этоть «кто-то»—князь, котораго влекуть къ этимъ мѣстамъ воспоминанія прежней счастливой любви. Вдругъ онъ встрѣчается съ отцомъ погубленной имъ дѣвушки.

Старикъ.

Здорово,

Здорово, зять!

Киязь.

Кто ты?

Старикъ.

Я здішній воронъ.

Князь.

Возможно-ль? это мельникъ!..

Старикъ.

Какой я мельникъ: Говорятъ тебѣ, Я воронъ, а не мельникъ. Чудный случай: Когда (ты помнишь?) бросилась она Въ рѣку, я побѣжалъ за нею слѣдомъ И съ той скалы спрыгнуть хотѣдъ, да вдругъ Почувствовалъ: два сильныя крыла Мнѣ выросли внезапно изъ подъ мышекъ И въ воздухѣ сдержали. Съ той поры То здѣсь, то тамъ летаю, то клюю Корову мертвую, то на могилѣ Сижу да каркаю.

Отосланная княземъ свита является опять къ нему, по приказанію обезпокоенной княгини. Это вниманіе со стороны уже нелюбимой имъ жены раздражаеть его, и досада его изли-

вается обыкновеннымъ въ такихъ случаяхъ восклицаніемъ, однимъ и темъ же съ техъ поръ, какъ стоитъ міръ, какъ существують въ немъ охладелые любовники и постоянныя любовницы, и наоборотъ:

Несносна

Ея заботливость! Иль я ребенокъ, Что шагу мив нельзя ступить безъ няньки?

Въ послъдней сценъ князь встръчается съ своей дочерью-русалкой, которая послана матерью уловить его... Какъ жаль, что эта пьеса не кончена! Хотя ея конецъ и понятенъ: князь долженъ погибнуть, увлеченный русалками на дно Дивпра. Но какими бы фантастическими красками, какими бы дивными образами все это было сказано у Пушкина-и все это погибло для насъ!.. «Русалка» въ особенности обнаруживаеть необыкновенную зрълость таланта Пушкина: великій таланть только въ эпоху полнаго своего развитія можеть въ фантастической сказкв высказывать столько обще-человъческаго, дъйствительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаешь читать совствиъ не сказку, а высокую трагедію...

Теперь мы приблизились къ перлу созданій Пушкина, къ богатьйшему, роскошньйшему алмазувь его поэтическомъ вънкъ... Для кого существуеть искусство, какъ искусство, въ его идеаль, въ его отвлеченной сущности, для того «Каменный Гость» не можеть не казаться, безъ всякаго сравненія, лучшимъ и высшимъ въ художественномъ отношеніи созданіемъ Пушкина... Какая дивная гармонія между идеей и формой! Какой стихъ, прозрачный, мягкій и упругій, какъ волна, благозвучный, какъ музыка! Какая кисть, широкая, смѣлая, какъ будто небрежная! Какая антично-благородная простота стиля! Какія роскошныя

картины волшебной страны, гдв ночь лимономъ и лавромъ пахнеть! Принимаясь перечитывать это чудное созданіе искусства, восклицаешь мысленно къ поэту:

Влагословенный край, плѣнительный предѣлъ! Тамъ лавры зыблются, тамъ апельсины зрѣютъ...

О, разскажи-жъ ты намъ, какъ жены тамъ умъютт

Съ любовью набожность умильно сочетать, Изъ-подъ мантильи знакъ условный подавать; Скажи, какъ падаетъ письмо изъ-за ръшетки, Какъ златомъ усыпленъ надзоръ ревнивой тетки;

Скажи, какъ въ двадџать лътъ любовникъ подъ окномъ Трепецетъ и кипитъ, окутанный плацемъ...

Такая тема не можеть пользоваться популярностью. Ее можно или понять глубоко, или вовсе не понять. Для непонимающихь она не имъеть ровно никакой цъны; для понимающихь невозможно любить ее безъ страсти, безъ энтузіазма. Но первыхъ много, послъднихъ мало, и потому она существуеть для немногихъ...

Герой ея — лицо миническое, испанскій фаусть. Идея донь-Жуана могла родиться только въ странть, гдт жить—значить любить и драться, а быть счастливымъ и великимъ—значить быть любимымъ и храбрымъ,—въ странть, гдт религіозность доходить до фанатизма, храбрость—до жестокости, любовь—до изступленія, гдт романическая настроенность дълаетъ героемъ и кавалера, и разбойника. Но донъ-Жуанъ, такой, какимъ является онъ у Пушкина,—не изступленный любовникъ, не мрачный дуэлистъ: онъ одаренъ встыть,

чтобъ сводить съ ума женщинъ и не знать никакихъ препятствій удовлетворенію своихъ желаній. Красавець собой, стройный, ловкій, онъ веселъ и остеръ, искрененъ и лживъ, страстенъ и холоденъ, уменъ и повъса, красноръчивъ и дерзокъ, храбръ, смълъ, отваженъ. Какъ во всякой высшей натуръ, въ немъ есть что-то импонирующее. Можеть быть это сила его воли, широкость и глубина его души. Для него жить-значить наслаждаться; посреди своихъ побъдъ, онъ сейчасъ готовъ умереть; умертвить же соперника въ честномъ бою и насладиться любовью въ присутствіи трупа, ему ровно ничего не значить. Онъ върить въ свою звъзду и потому на всякаго, кто вызоветь его, смотрить заранъе какъ на убитаго. Такіе люди опасны для женщинь и не знають, что такое неуспъхъ въ любви или волокитствъ. Женщина больше всего обожаеть въ мужчинъ силу, мужественность, могущество. Она любить, чтобъ онь быль съ ней не только нъжень, но и дерзокъ. Донъ-Жуанъ имъетъ въ себъ все это. Въ глазахъ женщины онъ левъ между мужчинами, не въ повъйшемъ, пошломъ значеніи этого слова, означающаго франта н модника, а въ смыслъ превосходства, храбрости и мужества.

Донъ-Жуанъ является ночью въ Мадритъ. Изъ его разговора съ слугой мы узнаемъ, что онъ былъ въ ссылкъ за дуэль и воротился тай-комъ. Онъ спрашиваетъ у Лепорелло, могутъ ли

узнать его?

Да, донъ-Жуана мудрено признать! Такихъ, какъ онъ, такая бездна!

Изъ этой грубой похвалы слуги видно ясно, что такое донъ-Жуанъ для всего Мадрита. Мъсто, въ которомъ они находились въ то время,

напоминаеть донь-Жуану женщину, которую онь, кажется, любиль больше другихъ,—и онъ говорить задумчиво:

Бъдная Инеза! Ея ужъ нътъ! Какъ я любилъ ее!

Чудную пріятность
Я находиль вь ся печальномь взорѣ
И помертвѣлыхь губкахь. Это странно,
Ты, кажется, ее не находиль
Красавиџей. И точно,—мало было
Въ ней истинно прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... такого взгляда
Ужь никогда я не встрѣчалъ... А голосъ
У ней быль тихъ и слабъ, какъ у больной;
А мужъ ся быль негодяй суровый—
Узналъ я поздно... Бѣдная Инеза!

Въ этихъ немногихъ стихахъ цвлый портреть женщины, вся исторія ея жизни... Самое восноминаніе о ней, столь полное любви и грусть, уже говоритъ, какова должна была быть эта женщина, которая, не будучи красавицей, умъла привязать къ себъ такого человъка. Но грусть восноминанія не долго занимаетъ донъжуана.

Лепорелло.

что-жъ? велъдъ за ней другія были.

Донъ-Жуанъ. Правда.

Лепоредло.

А живы будемъ, будуть и другія.

Донъ-Жуанъ.

И то.

На этотъ разъ онъ хочетъ итти къ Лаурѣ. Но является монахъ, и отъ него наши авантюристы узнають, что на монастырское кладбище сейчасъ должна придти донья-Анна, чтобъ плакать на могилѣ своего мужа, убитаго нашимъ героемъ. Донъ-Жуанъ успѣлъ замѣтить только ея узенькую ножку; но этого довольно для него, чтобъ рѣшиться узнать ее покороче; а пока

онь спешить къ Лауре.

Лаура—актриса, жрица искусства и наслажденія. Въ ней пътъ притворства и лицемърія; она вся наружу. Молодая и прекрасная, она не думаеть о будущемъ и живеть для настоящей минуты. Она вфчно окружена мужчинами и обходится съ ними безъ церемоній, иногда даже съ какимъ-то граціозномъ цинизмомъ. У ней гости; они въ восторгъ отъ ея игры въ этоть вечеръ: только одинъ между ними мраченъ. Это донъ-Карлосъ, у котораго донъ-Жуанъ убилъ брата. Она спъла пъсню («Я здъсь, Инезилья») и сказала, что эту пъсню сочинилъ «ея върный другъ, ея вътренный любовникъ» донъ-Жуанъ. Это имя приводить донъ-Карлоса въ бъщенство, и онъ ругаеть его безбожинкомъ и мерзавцемъ, а ее-дурой. Она грозить велъть слугамъ своимъ заръзать его; но онъ успокаивается, и они мирятся. Гости уходять и она говорить Карлосу:

Ты, бъшеный, останься у меня. Ты мнъ понравился; ты донъ-Жуана Напомнилъ мнъ, какъ выбранилъ меня И стиснулъ зубы съ скрежетомъ.

Оставшись съ ней, Карлосъ, вмѣсто лести и любезности, заводить мрачные разговоры; теперь ты молода, говорить онъ ей, окружена поклонниками, а лѣть черезъ шесть, когда глаза твои впадуть и сѣдина блеснеть въ косѣ, что тогда

съ тобой будеть? — Этоть человѣкъ тоже истый испанецъ, какъ и допъ-Жуанъ, только другимъ образомъ. Онъ мраченъ и въ молодости, мраченъ наединѣ съ прекрасной женщиной, которая сказала ему, что она его любитъ; къ старости же изъ него былъ бы готовъ отличный инквизиторъ, который съ полнымъ убѣжденіемъ и спокойной совѣстью жегъ бы еретиковъ и съ особеннымъ наслажденіемъ бичевалъ бы самого себя... Лаура въ старости сдѣлалась бы дуэньей и мастерски помогала бы ввѣренной ея бдительности женѣ проводить за носъ мужа, а можетъ быть пошла бы въ монастырь; но пока она не хочетъ слышать о вздорѣ—о будущемъ.

Является донъ-Жуанъ; Лаура въ радости бросается ему на шею; Карлосъ вызываеть его—

и падаетъ мертвый.

Донъ-Жуанъ.

Вставай, Лаура, кончено.

Лаура.

Что тамъ? Убитъ? Прекрасно! въ комнатъ моей! Что дълать мнъ теперь, повъса, дьяволъ! Куда я выброшу его?

Донь - Жуанъ.

Выть можеть, Онъ живъ еще!

Лаура.

Да! живъ! гляди, проклятый, Ты прямо въ сердџе ткнулъ—небось, не мимо. И кровь нейдетъ изъ треугольной ранки, А ужъ не дышитъ—каково?

Въ слъдующей сценъ донъ-Жуанъ въ монашеской рясъ уже разговариваетъ съ доньейАнной. Она просить его соединить молитвы съ ея молитвами.

Мив, мив молиться съ вами донна-Анна! Я не достоинъ участи такой. Я не дерзну порочными устами Мольбу святую вашу повторять; Я только издали съ благоговвиьемъ Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо, Вы кудри черныя на мраморъ блюдный Разсыплете—и мнится мив, что тайно Гробницу эту ангелъ посвтилъ; Въ смущенномъ сердив я не обрвтаю Тогда моленій. Я дивлюсь безмолвно И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ Согрътъ ея дыханіемъ небеснымъ И окропленъ любви ея слезами.

Что это-языкъ коварной лести, или голосъ сердца? Мы думаемъ, и то и другое вмъстъ. Отличіе людей такого рода, какъ донъ-Жуанъ, въ томъ и состоитъ, что они умъютъ быть искренно-страстными въ самой лжи и непритворно холодными въ самой страсти, когда это нужно. Донъ-Жуанъ распоряжается своими чувствами, какъ полководецъ солдатами: не онъ у нихъ, а они у него во власти и служатъ ему къ достижению цъли. Донья-Анна изумлена странностью такихъ рвчей въ устахъ монаха; но донъ-Жуанъ идетъ далѣе и съ изумительной дерзостью признается ей, что онъ не монахъ, но пока прикрывается вымышленнымъ именемъ. Сцена эта ведена съ непостижимымъ искусствомъ. Донья-Анна гонить его прочь, а между твмъ хочетъ знать, кто же опъ, и чего опъ требуетъ...

Смерти!

О, пусть умру сейчась у вашихъ ногъ, Пусть бъдный прахъ мой здъсь же похоронятъ.

Не подлѣ праха милаго для васъ, Не туть—не близко—далѣ гдѣ-нибудь, Тамъ—у дверей—у самаго порога, Чтобъ камня моего могли коснуться Вы легкою ногой или одеждой. Когда сюда, на этотъ гордый гробъ, Придете кудри наклонять и плакатъ...

Донья-Анна защищается все слабъе и слабъе; у ней вырывается кокетливый вопросъ: «И любите давно ужъ вы меня?» Самолюбіе ея затронуто—до сердца недалеко... Она назначила ему свиданіе у себя дома завтра вечеромъ...

Донья-Анна—такъ же истая испанка, какъ и Лаура, только въ другомъ родъ. Та—баядера европейскихъ обществъ, а эта—ихъ матрона, обязанная обществомъ быть лицемърной и пріученная къ лицемърству. Она дъвочка; посъщеніе монастырей, набожныя занятія и слезы надъ гробомъ мужа (суроваго старика, за котораго вышла насильно и котораго никогда не любила) суть единственная отрада, единственное утъщеніе ея, бъдной, безутъщной вдовы... Но она женщина, и притомъ южная; страсть у нея—дъло минуты, и ни позоръ общественнаго мнънія, ни лютая казнь не помъщають ей отдаться вполить тому, кто умъль заставить ее полюбить...

Донъ-Жуанъ въ восторгъ отъ своего успъха. Хоть онъ и привыкъ къ побъдамъ, но эту онъ считалъ труднъе, чъмъ оказалось, потому что донья-Анна возбудила въ немъ сильную страсть. Повъса въ радости своей велитъ Лепорелло звать статую командора къ доньъ-Аннъ на завтрашній вечеръ. Статуя киваетъ ему головой въ знакъ согласія; Лепорелло въ ужасъ. Донъ-Жуанъ самъ зоветь ее—и съ ужасомъ видитъ, что она кивнула и ему...

Но донъ-Жуанъ не такой человъкъ, чтобъ что-нибудь могло остановить его. Онъ у вдовы. Ръчн его страстны, нъжны, льстивы, вкрадчивы; искусно сумълъ онъ, возбудивъ ея женское любопытство, объявить доньъ-Аннъ собственное имя... Онъ хочетъ, чтобъ его любили для него самого, чтобъ его обнимала жена убитаго имъ мужа. Но она уже любить его, и его дерзость еще больше увлекаетъ ее. Не торонясь глупо, онъ проситъ на разставанье только одного холоднаго и мирнаго поцълуя—и получаетъ поцълуй... Но вотъ входитъ статуя, со словами: «Я на зовъ явился».

Донъ-Жуанъ. О, Боже! донна Анна!

Статуя.

Брось ее; Все кончено. Дрожишь ты, донъ-Жуанъ?

Донъ-Жуанъ.

Я? нътъ! я звалъ тебя, и радъ, что вижу.

Статуя.

Дай руку.

Донъ-Жуанъ.

Воть она... о, тяжело Пожатье каменной его десницы! Оставь меня, пусти, пусти мнъ руку!.. Я гибну—кончено—о, донна Анна!..

Онъ проваливается. Это фантастическое основание поэмы на вмъщательствъ статуи производить пепріятный эффекть, потому что не возбуждаеть того ужаса, который обязано бы возбуждать. Въ наше время статуй не боятся и внъшнихъ развязокъ, deus ex machina, не

любять; но Пушкинь быль связань преданіемь и оперой Моцарта, неразрывной съ образомъ донъ-Жуана. Дълать было нечего. А драма непремънно должна была разръшиться трагически-гибелью донъ-Жуана; иначе она была бы веселой повъстью-не больше, и была бы лишена идеи, лежащей въ ея основании. Что такое донъ-Жуанъ?--Каждый человъкъ, чтобъ жить не одной физической жизнью, но и нравственной вмъстъ, долженъ имъть въ жизни какой-нибудь интересь, что-нибудь въ родъ постоянной склонности, влеченія къ чему-нибудь. Иначе жизнь его будеть или не полна, нли пуста. Въ людяхъ высшей природы этотъ интересъ, эта склонность, это влечение проявляются какъ могущественная страсть, составляющая ихъ силу. Одинъ находить свою страсть, панось своей жизни въ наукъ, другой-въ некусствъ, третій - въ гражданской дъятельности, и т. д. Донъ-Жуанъ посвятилъ свою жизнь наслаждению любовью, не отдаваясь однакожъ ни одной женщинъ исключительно. Это путь ложный. Не говоря уже о томъ, что мужчинъ певозможно наполнить всю жизнь свою одной любовью, -его одностороннее стремление не могло не обратиться въ безправственную крайность, потому что для удовлетворенія ея онъ должень быль губить женщинъ по ихъ положению въ обществъ-и онъ сдълалъ себъ изъ этого ремесло. Оскорбленіе не условной, но истинно-правственной идеи всегда влечеть за собой наказаніе, разумъется, правственное же. Самымъ естественнымъ наказаніемъ донъ-Жуану могла бы быть истинная страсть къ женщинъ, которая или не раздъляла бы этой страсти, или сдълалась бы ея жертвой. Кажется, Пушкинъ это и думалъ сдълать: по крайней мъръ такъ заставляеть думать последнее, изъ глубины души вырвавшееся у донъ-Жуана восклицаніе: «О, донна-Анна!» когда его увлекаеть статуя; но эта статуя портить все дѣло, въ чемъ, какъ мы замѣтили выше, нашъ поэтъ не виновать нисколько.

Итакъ, несмотря на это, «Каменный Гость» въ художественномъ отношеніи есть лучшее созданіе Пушкина,—а это много, очень много!

«Сцены изъ рыцарскихъ временъ» представляють мъщанина, возгнушавщагося своимъ состояніемъ и желавшаго попасть въ благородные, а между тъмъ чуть пе попавщагося на висълицу. Такія исторіи случались въ средніе въка, и Пушкинъ мастерски изложилъ одну изъ нихъ въ формъ сценъ, писанныхъ прозой. Однакожъ эти сцены не имъютъ достоинства глубокой идеи, которую поэтъ скорье бы могъ найти въ борьбъ общинъ противъ феодаловъ... Впрочемъ въ этихъ сценахъ есть превосходная пъсия («Жилъ на свътъ рыцарь бъдный»), въ которой сказано больше, нежели во всей цълости этихъ сценъ.

Сказки Пушкина: «О царѣ Салтанѣ», «О мертвой царевнѣ и семи богатыряхъ», «О золотомъ пѣтушкѣ», «О купцѣ Кузьмѣ Остолопѣ и о работникѣ его Балдѣ» были плодомъ довольно ложнаго стремленія къ народности. Народныя сказки хороши и интересны такъ, какъ создала ихъ фантазія народа, безъ перемѣнъ, украшеній и передѣлокъ. Но «Сказка

о Рыбакъ и Рыбкъ», о которой мы не упомянули въ числъ прочихъ сказокъ, заслуживаетъ исключенія, потому что въ ней есть положительныя достоинства. Это не народная сказка: народу принадлежитъ только ея мысль, но выраженіе, разсказъ, стихъ, самый коло-

рить, все принадлежить поэту.

Повъсти въ прозъ Пушкина, хотя и далеко не могутъ равняться въ достоинствъ съ луч-

шими стихотворными его произведеніями даже перваго періода его дъятельности, однако тъмъ не менъе принадлежать къ замъчательнымъ произведеніямъ русской литературы. Первый его опыть въ этомъ родъ напечатанъ быль въ «Съверныхъ Цвътахъ» на 1829 годъ, подъ названіемъ: «IV глава изъ Историческаго Романа». Въ X томъ полнаго собранія его сочиненій напечатано шесть главъ и начало седьмой этого романа, подъ названіемъ «Арапъ Петра Великаго». Въ «Свверныхъ Цввтахъ» IV-я глава напечатана не вполнъ; но это едва ли не интереснъйшій отрывокъ изъ всъхъ семи главъ. Будь этотъ романъ конченъ такъ же хорошо, какъ начатъ, мы имъли бы превосходный историческій русскій романь, изображающій нравы величайшей эпохи русской исторіи. Поэтъ въ числъ дъйствующихъ лицъ своего романа выводить въ немъ на сцену и великаго преобразователя Россіи, во всей народной простотъ его пріемовъ и обычаевъ. Не понимаемъ, почему Пушкинъ не продолжалъ этого романа. Онъ нивлъ время кончить его, потому что IV-я глава написана имъ была еще прежде 1829 года. Эти семь главъ неоконченнаго романа, изъ которыхъ одна упредила всв историческіе романы Загоскина и Лажечникова, неизмъримо выше и лучше всякаго историческаго русскаго романа, порознь взятаго, п всъхъ ихъ, вмъстъ взятыхъ. Передъ ними, передъ этими семью главами неоконченнаго «Арапа Петра Великаго», бъдны и жалки повъсти Кукольника, содержание которыхъ взято изъ эпохи Петра Великаго и которыя все-таки не лишены достоинства. Но это вовсе не похвала «Арапу Петра Великаго»: великому небольшая честь быть выше пигмеевъ, -- а больше его у насъ не съ къмъ сравнивать.

Въ 1831 году вышли «Повъсти Бълкина»,

холодно принятыя публикой и еще холоднъе журналами. Дъйствительно, хотя и нельзя сказать, чтобъ въ нихъ уже вовсе не было ничего хорошаго, все-таки эти повъсти были недостойны пи таланта, ни имени Пушкина. Это что-то въ родъ повъстей Карамзина, съ той только разницей, что повъсти Карамзина имъли для своего времени великое значеніе, а повъсти Бълкина были ниже своего времени. Особенно жалка изъ нихъ одна—«Барышня крестьянка», пеправдоподобная, водевильная, представляющая помъщичью жизнь съ идиллической точки зрънія...

«Пиковая Дама»—собственно не повъсть, а мастерской разсказъ. Въ ней удивительно върно очерчена старая графиня, ея воспитанница, ихъ отношенія и сильный, но демонически-эгоистическій характеръ Германа. Собственно это не повъсть, а анекдотъ; для повъсти содержаніе «Пиковой Дамы» слишкомъ исключительно и случайно. Но разсказъ, повточительно и случайно. Но разсказъ, повточительно и

ряемъ, верхъ мастерства.

«Капитанская дочка»—нѣчто въ родѣ «Онъгина» въ прозъ. Поэть изображаеть въ ней нравы русскаго общества въ царствование Екатерины. Многія картины по вфрности, истинъ содержанія и мастерству изложенія—чудо совершенства. Таковы портреты отца и матери героя, его гувернера француза и въ особенности его дядьки изъ писарей, Савельича, этого русскаго Калеба, Зурина, Миронова и его жены, ихъ кума Пвана Игнатьевича, наконецъ, самого Пугачева, съ его «господами енералами»; таковы многія сцены, которыхъ за ихъ множествомъ, не находимъ пужнымъ пересчитывать. Ничтожный, безцвътный характеръ героя повъсти и его возлюбленной Марьи Ивановны и мелодраматическій характеръ Швабрина хотя принадлежать къ ръзкимъ недостаткамъ по-

въсти-однакожъ не мъщаютъ ей быть однимъ изъ замъчательныхъ произведеній русской ли-

тературы:

«Дубровскій»—pendant къ «Капитанской дочкъ». Въ обоихъ преобладаетъ павосъ помъщичьяго принципа, и молодой Дубровскій представленъАхилломъ между людьми этого рода,роль, которая решительно не удалась Гриневу, герою «Капитанской дочки». Но Дубровскій, несмотря на все мастерство, которое обнаружилъ авторъ въ его изображении, все-таки остался лицомъ мелодраматическимъ и не возбуждающимъ къ себъ участія. Вообще вся эта новъсть сильно отзывается мелодрамой. Но въ ней есть дивныя вещи. Старинный быть русскаго дворянства, въ лицъ Троекурова, изображенъ съ ужасающей вфрностью. Подъячіе и судопроизводство того времени тоже принадлежать къ блестящимъ сторонамъ повъсти. Превосходно очерчены также и холопы. Но всего лучше-характеръ героини, по преимуществу русской женщины. Уединенная жизнь и французскіе романы сильно развили въ ней не чувство, не страсти, а фантазію, и она считала себя дъйствительно героиней, готовой на всъ жертвы для того, кого полюбить. Покуда ей приходилось только играть въ романъ, она дълала возможныя безумства, но дошло до д'влаи она принялась за мораль и добродътель. Быть похищенной любовникомъ-разбойникомъ у алтаря, куда насильно притащили ее, чтобъ обвънчать съ развратнымъ старичишкой, -- казалось для нея очень «романическимъ», слъдовательно чрезвычайно заманчивымъ. НоДубровскій опоздаль, —и она втайнъ этому обрадовалась и разыграла роль върной жены, слъдовательно опять героини...

«Лътопись села Горохина»—шутка старая, милая и забавная, въ которой впрочемъ есть и серьезныя вещи, какъ напримъръ прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія...

«Кирджали»---мастерской разсказъ истиннаго

происшествія.

Объ «Исторіи Пугачевскаго Бунта» мы не будемь распространяться. Скажемъ только, что этоть историческій опыть—образцовое произведеніе и со стороны исторической, и со стороны слога. Въ послѣднемъ отношеніи Пушкинъ вполиѣ достигъ того, къ чему Карамзинъ только стремился. «Исторія Пугачевскаго Бунта» показываеть, что если-бъ онъ успѣлъ написать исторію Петра Великаго,—мы имѣли бы

великое историческое создание...

Въ журнальныхъ статьяхъ своихъ Пушкинъ отразился со всъми своими предразсудками; въ нихъ виденъ человъкъ, не чуждый образованности своего въка, но по какому-то странному упорству добровольно оставшійся при ндеяхъ Карамзина, очень почтенныхъ... для своего времени, которое давно прошло. По этому и по другимъ причинамъ многія изъ его журнальныхъ статей ниже всякой критики. Но ифкоторыя изъ нихъ во многихъ отношеніяхъ замъчательны; таковы напримъръ: «Ломоносовъ», «О Мильтонъ и Шатобріановомъ переводъ Потеряннаго рая», «Рославлевъ». Очень любопытны его «Отрывки: литературныя, критическія, грамматическія замізчанія»; въ нихъ онъ весь. Но полемическія его статьи-верхъ совершенства. Таковы: «Отрывокъ изъ Литературныхъ Лѣтописей» и «Торжество Дружбы, или Оправданный Александръ Апоимовичъ Орловъ» и «Нѣсколько словъ о мизинцѣ г. Булгарина и о прочемъ» *).

^{*)} Эти статьи не вощли въ полное собрание сочинений Пушкина,—въроятно для большей полноты...

Трудъ нашъ конченъ. О достоинствъ его или недостаткахъ судить публикъ; мы скажемъ только, что это еще первая попытка разобрать критически весь кругъ поэтической и литературной дъятельности одного изъ величайшихъ поэтовъ Россіи. Мы смотръли на его произведенія съ любовью, но безъ ослъпленія и предубъжденій въ его пользу или противъ него. Пусть другіе сдълають это лучше насъ: мы первые поспъщимъ отдать имъ должную дань

хвалы и поучиться у пихъ.

Заключаемъ. Пушкинъ былъ по преимуществу поэтъ-художникъ и больше ничъмъ не могь быть по своей натуръ. Онъ далъ намъ поэзію, какъ нскусство, какъ художество. П потому онъ навсегда останется великимъ, образцовымъ мастеромъ поэзіи, учителемъ искусства. Къ особеннымъ свойствамъ его поэзін принадлежить ея способность развивать въ людяхъ чувство изящнаго и чувство гуманности, разумъя подъ этимъ словомъ безконечное уважение къ достоинству человъка, какъ человъка. Несмотря на генеалогические свон предразсудки, Пушкинъ по самой натуръ своей быль существомъ любящимъ, симпатичнымъ, готовымъ отъ полноты сердца протянуть руку каждому, кто казался ему «человѣкомъ». Несмотря на его пылкость, способную доходить до крайности, при характеръ сильномъ и мощномъ, въ немъ было много дътски-кроткаго, мягкаго и нъжнаго. И все это отразилось въ его изящныхъ созданіяхъ. Придеть время, когда онъ будеть въ Россін поэтомъ классическимъ, по твореніямъ котораго будуть образовывать и развивать не только эстетическое, но и нравственное чувство...

Конечно, придеть время, когда потомство воздвигнеть ему въковъчный памятникъ: но тъмъ страннъе для его современниковъ, что они не имъють еще порядочнаго изданія его сочиненій... Скоро десять лъть минеть послъ траги ческой кончины нашего великаго поэта, а мы не имъемъ даже сноснаго собранія его твореній!.. Пора бы подумать объ этомъ.

--- 여아



